



ЮЖНОЕ СИЯНИЕ

ОДЕССКИЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ

2(8)'2013

Главный редактор
Станислав АЙДИНЯН

Выпускающий редактор
Сергей ГЛАВАЦКИЙ

Отдел поэзии
Людмила ШАРГА, Евгения БИЛЬЧЕНКО, Мария МАЛИНОВСКАЯ

Отдел прозы
Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, Татьяна ОРБАТОВА, Александр ЛЕОНТЬЕВ

Отдел критики
Алексей ТОРХОВ

Отдел литературоведения
Алёна ЯВОРСКАЯ

Общественный совет:
Евгений Голубовский (Одесса), Владимир Гутковский (Киев),
Олег Дрямин (Одесса), Олег Зайцев (Минск),
Кирилл Ковальджи (Москва), Татьяна Липгута (Одесса),
Марина Матвеева (Симферополь), Виктор Петров (Ростов-на-Дону),
Александр Петрушкин (Кыштым), Юрий Работин (Одесса),
Илья Рейдерман (Одесса), Анна Стреминская (Одесса),
Александр Хинт (Одесса), Евгений Черноиваненко (Одесса).

Издание журнала осуществляется при поддержке Одесского городского совета
в рамках программы «Сохранение и развитие русского языка в Одессе»

Свидетельство о регистрации: серия ОД № 1563-434-Р от 16.11.2011 г.
Учредитель – Общественная организация «Южнорусский Союз Писателей»

Е-mail редакции: auroa_australis@lenta.ru
Интернет-версия журнала: ursp.org

© «Южное Сияние», 2013

В НОМЕРЕ

ПОЭЗИЯ

Одесса: Екатерина Янишевская. Когда исчезло всё волшебство. Стихи	4
Одесса: Александр Хинг. Ловцы человек. Стихи	9
Одесса: Юлия Петрусевичюте. Сердце сада. Стихи	14
Одесса: Валерий Юхимов. Медузы муранская ваза. Стихи	16

«МЕГАФОН»

«Мы занимаемся прежде всего и по преимуществу литературой...» (интервью Сергея Главацкого с Юрием Михайликом)	20
---	----

ПОЭЗИЯ

Уфа: Егор Мирный. Ухаживать за другими растениями. Стихи	25
Ростов-на-Дону – Москва: Надя Делаланд. Вестибулярный снег. Стихи	31
Киев – Франкенталь: Михаил Юдовский. Тела и тени. Стихи	36
Кёльн: Ольга Олгерт. «Женщине, играющей с цветком бессмертия...». Стихи	41

ПРОЗА

Одесса: Александр Леонтьев. Клоун Солнца. Повесть	46
--	----

ПОЭЗИЯ

Одесса: Илья Рейдерман. Молчанье между слов. Стихи	84
Одесса: Катя Чудненко. На одном конце пространства. Стихи	88
Одесса: Тина Арьсеньева. Что бусы, что вериги. Стихи	92
Одесса: Евгений Мучник. В информационном поле. Стихи	96

ПРОЗА

Москва: Фёдор Гаврин. Лягушонок, Старый Жаб и жук Филька. Сказка	100
---	-----

ПОЭЗИЯ

Ташкент: Вячеслав Карижинский. Забывтых звезд нательный оберег. Стихи	112
Вологда: Ната Сучкова. Серый дым и белый дым. Стихи	117
Москва – Ялта: Лев Болдов. У самого синего моря. Стихи	121
Симферополь: Марина Матвеева. Отпеванье матушки-планеты. Стихи	127

ПЕРЕВОДЫ

Ян Столярчик. Книжные переводы творчества Тадеуша Ружевича. <i>Вступительная статья</i>	132
Вроцлав: Тадеуш Ружевич. Стихотворения (переводы с польского Владимира Штокмана)	135

ПРОЗА

Москва: Андрей Краевский. Джеймс Бонд начала XX века. <i>Очерк</i>	140
Одесса: Вероника Коваль. Шкатулка с секретом. <i>Рассказ</i>	153
Москва: Сергей Ильницкий. Рейнкарнация Пригова. <i>Рассказы</i>	157

«ДРУЖБА ЖУРНАЛОВ»

Минск: Анатолий Аврутин. В служении русскому слову <i>(о литературно-художественном журнале «Новая Немига Литературная»)</i>	160
Херсон – Синдей: Наталия Крофтс. На развалинах Трои. <i>Стихи</i>	162
Борисов: Людмила Клочко. Между ливнями... <i>Стихи</i>	164
Минск: Ольга Маркитанова. Слюда в пещере. <i>Стихи</i>	166
Брюссель: Александр Мельник. Светлый источник любви. <i>Стихи</i>	167
Гомель – Одесса: Мария Малиновская. Методіа. <i>Стихи</i>	169

«ФОНОГРАФ»

Одесса: Евгений Окс. Одесские воспоминания. <i>Мемуарные очерки</i>	175
Одесса: Евгения Окс. Стихотворения	179
Одесса: Алёна Яворская. «Я Адалис. Вы обо мне не слышали?». <i>Статья</i>	181
Одесса: Евгений Окс. Муза Чёрного моря. <i>Мемуарный очерк</i>	184
Одесса: Аледина Адалис. Стихотворения и проза	186

«ЛИТМУЗЕЙ»

Одесса: Л.В. Берловская. Владимир Нарбут в Одессе. <i>Статья</i>	191
Тирасполь: Роман Кожухаров. «Муза-совесть» Владимира Нарбута. <i>Статья</i>	196

«ШКАФ»

Москва: Александр Люсый. Медийный Бохес с незаржавевший шашкой Бабеля. <i>Отрывок из книги</i>	206
--	-----

ЕКАТЕРИНА ЯНИШЕВСКАЯ

КОГДА ИСЧЕЗЛО ВСЁ ВОЛШЕБСТВО

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ КЛЕРКА

где-то совам качать тёмно-синюю колыбель ветров
старый кодак коленями подпирать полусонному казаку
ехать голому принцу в станицу петра-одного или ста петров
проводнице считать рафинад отворовывать по куску

где-то ждать николаям-угодникам воскресения моряков
дичью падать древлянам в муэрте копьё полян
и куннице хазарке сновать меж осок пробираемой сквозняком
и гнедым перейти на галоп чтоб взбодрилась сипун-земля

где-то кельтам жечь хворост плясать у костра и впадать в экстаз
мне бы гладить ладонью тебя по груди восемнадцать часов подряд
а ремарку писать и писать бы о нас о тех самых нас
которым не совершить безумств —
нас которые «...больший яд»

мой внутренний взрослый насупившийся тяжёлый
сопел на меня, а я слушала хендрикса на диване
и вокруг меня наступило русское лето — колокола и пчёлы
жарче всяких египтов чернее любых ливанов

мой внутренний взрослый давно устроился в офис главным
написал двадцать писем разослал по различным инстанциям
а я жду его в дачном доме с резными зелёными ставнями
на последнем квартале дальней-предальной станции

мой внутренний взрослый отслужит в армии и орден получит
удостоится мемориальной доски на длинной спокойной аллее
а я спрячу лицо в ладошках подожду удобного случая
поиграть в чехарду да поспорить, кому из нас веселее

пока он шлёт мне со всех фронтов эти крепкие толстые папиросы
пока воюет там с этими перечницами пепельницами солонками
я складываю из бумаги белых журавликов взрослому
чтоб оттянуть момент своей похоронки



КУСТО

я утащу тебя на своё русалочье дно где слова больше не нужны
мы поселимся в батискафе гуру по имени жак-ив кусто
там познаешь мой сокровенный страх увидеть тёмную сторону у луны
проснуться в городе где нет катастроф переспать с женщиной лет за сто

мы умрём в один день — так сказал мой знакомый гарсон
обслуживающий кальмаров на затонувших пароходах
а ещё он сказал что ты спрятал в карман нелегальный миелофон
он уже барахлит — вот что сделала с ним вода

представляешь мурены мне чешут что ты приплывёшь к любой
кто мормышкой покормит со скользкой как линь руки
вот дурёхи мурены. ты мой психотропный морской ковбой
никому не отдам эти сладкие плавники

а тут ещё феодал кусто поучает что время идёт метать супер-икру
так бы осенью сделал в своём эскимосском иглу
любой счастливый осётр
я ему говорю перестань жак ты умер ты мёртв мёртв мёртв
ты сел на рыбу-иглу

канатоходец сегодня сорвётся
в пропасть вниз головой
в обходные пути в закопанные колодцы
и это давненько не новость ни для кого
кроме канатоходца

он чётко знает. сорвётся — и ему разъяснят, что это —
невыполнение условий его контракта
и он не получит обещанный отпуск на целое лето
и свою дневную зарплату

толпа скупает билеты обычного много дороже
они хотят увидеть его голым холодным белым
канатоходец не замечает оживленья на постных рожах
он молча делает своё дело

МАКОВЕЙ

так хорошо здесь сожгли уже весь тростник
путь к деревне свободен в ярчайшую из ночей
я хочу ещё
я себе завела плечо чтобы кто-то к нему приник
я себе завела плечо...

я несла через воду брод. решето в воде.
в сите пару мальков беззатейная мелюзга
на прощание не целовал — быть большой беде
на прощание не приласкал...

по пути расплескались подчистую вскормленные мальки
и я сгорбилась как крестраж на тяжелый гроб
я себе завела две маленькие руки
чтобы лодочкой их сложить дав отпить сироп...

у крестьян атмосфера что нужно то спасы то маковой
кличут есть пироги с абрикосом пока ещё горячо
так хорошо здесь смотри какое плечо
как удобно лежать на нём глупой башке твоей



ты говоришь что песни мои никому не в кайф, за них не отдадут ни одного копыя
они страшнее чем держать на руках нелюбимую дочь пока она лопочет агу
но эти песни – всё что умею я
лучшее что я могу

ты говоришь что в моих словах нет чудес их легко найдёшь в словаре любом
и даже девочка-хиппи сумеет сплести косичку из сказанных мной слов
но разве я роняю слова как биг-бены – приевшееся бим-бом
под хвосты лошадей желваки ослов

ты говоришь что я не умею летать но я умею. Проверь
толкни меня вниз я оседлаю смерш ветер просто неласковый жеребец
передо мной открывается каждого сердца бронированная дверь
но сколько пало нас храбрых в болотах чужих сердец

КАМЕНЬ

ты ещё можешь куда-нибудь да успеть
записать себя в миссию возможно попасть под амнистию
ты знаешь от взрослых: без разницы. просто жизнь или просто смерть
настоящий этап обозначим «уборка листьев»

и наверное не имеет значения что в бразилии исчезающие племена
перепутанно прячутся в просеке тёмно-зелёной чащи
как не имеет значения и то, что твоя вина
в малом остатке в тебе абсолютного настоящего

ты ещё можешь куда-нибудь да успеть: к камнепадам и призрачным городам
увидеть deus ex machina северную корею
но ты останешься здесь наблюдать как течёт под тебя вода
и никуда не успеешь

береги любовь василисы как голый завтрак четвёртый угол
кусочки мела выданные в роддоме ведь нужен кальций
береги любовь василисы сегодня-завтра пока догорает древесный уголь
эту горькую кармакому кисейную нежность пальцев

береги любовь василисы она трепещет как жерех
на леске созвездий, изловленная ладоною
пока не настало время эпилогов и эпикризов
и в кладовке под запись ещё не берут аммоний

василиса работает ночным кассиром и пахнет псиной
у василисы есть пионерский галстук, но нет билетов
береги любовь василисы пиши курсивом даты на чеках
не жди никогда ответа

когда ты уходила я нашёл в твоём сундуке загнивающий запад и скорбный запах
фотографий на которых любовь едва просвечивала сквозь красок летнее буйство
твой нашейный платок а на нём пару капель слюны вперемешку с глоточком граппа
в этот день мы нагнули мир. мы назвали себя искусством.

когда ты уходила ну ты понимаешь о чём я все эти колебания и амплитуды
пожалуй уйду пожалуй останусь и лёгкий обморок на лестничной клетке
я так хотел рассказать как нашёл в сундуке у тебя сколы бабушкиной посуды
и совершенно неженские книги и две рыночные барсетки



а ещё одну нерабочую компьютерную мышку
морской бой в который не играли ни разу
пособие как правильно целовать в подмышки
как говорить надёжные фразы

когда ты уходила я понял как мало мы друг о друге знали. поверь мне, слишком
меньше чем мёртвые знакомы с вынужденным попутчиком вниз по течению стикса
и не сдерживаемый ничем, наконец-таки выкинул из сундука все твоё сокровенное барахлишко
и залез в него сам. вот ведь чудо, что я туда поместился

ЦЕНА

прошло сто два полка. но ты держался
в тебя стреляли градом. ты держался
тебя никак не взять на дурака

все уезжали к морю. ты остался
все улетали к небу, ты остался
в конце концов сдержал сто два полка

тебя ругали матом ты мужался
тебя пахали трактором мужался
ломали – говорил я не из тех

смотрели страшным взглядом не боялся
рычали диким тигром не боялся
и с чаем грыз в прикуску едкий смех

и жгли тебя огнями – был спокоен
водою заливали был спокоен
и никогда не прикрывал рукой оскал

и вдруг заметил на щеке былинку
коварную внезапную былинку
противную занятную заразу
колени подкосились как-то сразу
и ты упал.

МОРЯ

в принципе некуда незачем отступить
чайник кем-то поставлен и знай себе сам сипит
кроме окон найдёшь в этой комнате только расстеленную кровать
хочешь выпей немного а хочешь ложись и спи

но к утру ты поймёшь что подъедены натрием провода
телефон никогда никогда больше не зазвонит
нет ни дома ни комнаты – сплошь леденеющая вода
моряки тебе машут платками с большой земли

ночью всё разломалось на мелкие части кровать тебе как корма
и берёт набекрень и вестей не дождётся твой Бог
ведь на мокрой бумаге нельзя написать письма
правда больно стекает чернилами между строк

а вы замечали как просто молиться за тех
кто не совершил ещё ни одного дурного поступка
как удачно прощать чужой первородный грех
с любым моряком в тихой белой радиорубке



как удобно любить тех кто умеет отвечать на любовь молча
кто не говорит наперекор ни одного проклятья
как сытно кормят щенков кашей волчьей мёртвой сволочью
а глаза нелюбимых всегда мягче лабораторной платины

а вы не замечали что можно всю жизнь накрутить на большой как локон
промотать быстро до самых титров по обыкновению курсивом
и когда придёт смерть заглянуть в её русскую волоокость
наконец-то ты здесь. спасибо.

когда исчезло всё волшебство спустили борзых на королевских лис
неожиданно замер весёлый парк разлетелась октябрьская листва
я видела человека в жёлтом на краю подоконника смотрящего прямо вниз
в этом городе меня держат только твои слова

когда исчезло всё волшебство в зоосад перестали пускать живых
дефицитным товаром оказался не морфий а мыльные пузыри
я не знаю, что нужно от меня тем, кто обратился ко мне на вы

в этом городе меня держат только твои слова.
говори

АЛЕКСАНДР ХИНТ

ЛОВЦЫ ЧЕЛОВЕКОВ

цирк никуда не уехал, клоун живёт за углом
бледный директор катает детей на седом спаниеле
львы, куропатки, лебеди, лошадь с отбитым крылом
все успевают в парк, на летящие карусели

пряча в лексемы песка раскалённое «не угадал»
кода желает забыться в теле пролога
вместо сегодня и завтра – вчера умрёт никогда
четыре времени Бога

ФРАНСУА

Летучая звезда в казённом небе пишет
по мокрой пелене сползающего мрака.
Маячит новый день, ни для кого не лишний –
улыбчив как слепой, приветлив как собака.

Поститься на пиру, блаженствовать в остроге
куда бы ни вело виллоновы дороги.

Зовите хоть луной, но в полночь не сажайте,
не наливайте пруд вмерзающим по локоть.
О чём, то бишь, на той раздолбанной скрижали?
Насилие и честь. Прощение и похоть.

На кончике судьбы терпение костлявой
рифмует стебелёк и кошелёк раззявы.

Святая пустота, хоть покати шарами,
но всякий на ветру светящаяся кегля.
Находчив человек: венец его исканий
огонь и колесо. И подвесная петля.

Безумная звезда, единственная льгота
выращивать цветы под каждым эшафотом.

В кармане немота. Для дочки брадобрея
парчовая тесьма, обрезок палимпсеста,
два запасных пера. Да, желтоватой тенью
монетка палачу, чтоб делал всё быстрее.



небосвод себя запоминает
 расстоянием, точками птиц
 кенотафы живут именами
 из морщин появляются лица
 у альбомов, лазурью иконной
 продлевается лён шелестя
 или лёд, или эта ладонь
 только фон для головки гвоздя

Всех даров – на рассвете отпущен лоскут
 серо-ватного неба.
 Что ж так низко над площадью птицы идут?
 Начинается лето,
 начинается зрелых лугов ворожба,
 невозможных, безбрежных.
 Если тело мужское узнать не судьба,
 хоть мужские одежды.

Утомительно долго молчал кардинал,
 избегая ответа:
 «Будет женское платье тебе», – обещал –
 «ярко-жёлтого цвета».

Новый клинышек вбит, снова низко летит,
 и другой, вперемешку,
 на земле продолжается старый гамбит,
 королевство за пешку.
 Пешка стояла целой доски – купола
 дружно пели осанну.
 Знаешь, в Реймском соборе сама ты была
 королевою, Жанна,
 вспомни ветреный стяг, как звенело в костях
 до самой сердцевины.
 А сейчас среди сотен убийц и бродяг
 ты узнаешь дофина?

Вот теперь и смотри: это твой Эверест
 и священное миро;
 это подпись крестьянки – из хвороста крест
 и бумажная митра;
 это то, что придёт на конце головни,
 это дёсны твои
 языком размыкаемы: eī, eī,
 lama savathani;
 этой, ныне и присно, осветится ночь
 хворостиной, лучиной –
 если ты ещё есть, принимай свою дочь
 как тогда принял сына –
 это падают ниц прихожане, легли
 на базарной брусчатке.

Над Руаном всё утро летят журавли,
 кто куда, без оглядки.



наотмашь дольше, чем насквозь
янтарь моложе антиквара
война напоминает гвоздь
вбиваемый одним ударом

взамен обеда смотришь в лес
в лесу тепло от этих взглядов
но крест, которого не снести
теплее того, что за оградой

МАЯКОВСКИЙ В КОНЦЕ 20-Х

В клубе прокуренном, где в тот вечер ни яблоку,
ни сэру Ньютону ничего не светило,
с книгой на подпись девушка тихо стояла и
густо краснела. Светило смачно базило:

«Вы молодец. Ведь, обычно, суют для этого
облако, флейту, гораздо реже – про это.
Вы же ведёте себя хорошо. Подытожим,
нате: «Царице Тамаре Петровне, от Демона».
Может, проводите тень старика по проспекту?»
Молча кивает. Мурашки бегут по коже.

Слабо дифференцируя радость и горе,
ключья апреля переходили на личности.
«Странно, ведь я никогда не была на море...»
Кинематограф люблю до неприличности...»
Выйдя из божьей коровки, головки булавки,
быстро перерастая себя, трёхмерного,
мир, как послушная крыса на задних лапках,
перемещался за камерой Дзиги Вертова.

«Бог услышал меня, это Он. Значит надо
меньше болтать и попробовать зацепиться...»
А он йерихонски гудел во весь голос: «И что?
Пусть Вы – заурядный инструктор типичного стада,
что же Вам теперь, навсегда застрелиться?
Шутка», – и ветер шарил в его пальто.

Мусор гонялся за ветром на соревновании
по загрязненью пространства. Чистый четверг,
(нужно название...) граждане шли из бани.
(это занятно...) Свечи мерцали в руке.

«...значит, почти две недели держаться на восемь
тощих рублей... у Татьяны вещичка из зайца,
ну и везёт же корове! Связи в Мосторге»

«... пусть суетятся Асеев, Кирсанов и Ося.
ЛЕФ, Ромул, РЕФ – третий римский цирк продолжается.
Я сменовеховец... Лиля будет в восторге»

Чёрное небо молчало с чужого голоса,
супрематистски храня однородность; отныне
время стремилось к первоначалу хроноса –
там его ждал просроченный хаос. Ночные
звуки старого города были лужёными,
напоминая бездонный колодец и маятник,
где обитали иссякшие ангелы с жёнами,
рядом – голодные души людей, и какая-то,



лѣжа на правом плече, твердила: «Несносный,
что Вы молчите?», – но, не различая слов
ѣжился, чувствуя, как непрерывно старится:
«Если Г-дь испепелит девяносто
девять процентов ненужных бездарных стихов,
что ж, от меня хотя бы слово останется?»

На всех перекрёстках извозчик дремал на козлах.
Телега привычно тащила ворованный воздух
в ту сторону, где начиналась Страстная пятница.

два ангела, как стюардессы
неслышно сквозят меж людьми
собой унаследуя место
у храма толпятся они
так послевоенные дети
терзают слепой алфавит
он тоже неистов, несметен
и тоже стоит на крови

LAZARUS RESURRECTIO

То ли ангел роняет кольцо, то ли жил
натяженья не выдержит арфа,
на лице проступает лицо, дребезжит:
где рука? что такое «мар-фа»?
У стены еле слышно желтеет диван,
навсегда благодарен кому-то,
и, когда ни взгляни на синий экран –
на стекле тридцать две минуты.

Гугалиновый луч пропускает листву,
узловатые пальцы мигрени
досылают затвор – то ли знак, то ли звук –
пеленать восковое время,
но царапают имя! так бредит спина
флюорографией мачты Улисса,
так застигнутый светом враспloch экспонат
отражает другие лица.

В перепонку иглою войдѣт «выйди вон»,
погружая суставы в колени,
то ли кожа вибрирует, то ли хитон,
то ли пепельно, то ли пелены,
то ли сдавленный саваном стон изнутри
расширяет отверстие лаза –
и во тьме босиком по стеклу, если крик
призовѣт, не опознан, не назван.

То ли снова – в луну головою с моста,
в леденящее месиво света,
получая за так, словно небо с листа,
тихий ужас аплодисментов.



течь забывая дождь, и забывать зачем
небо каких кровей тянет на дно венеций
на языке начал сказано: ни ключей
ни запасных дверей в клинике мягкого сердца

разве не ты прощал пропасть темней на шаг
за воровство прыжка звук обдирая по кромке
что удержало ртуть на острие ножа
то ли чужая душа, то ли твои потёмки

В отражение неба легко проникает отсутствие птиц
и вода рассыхается медленным хлебом кают.
Там сирены ведут на закланье пинкфлойдову песню, Улисс.
Там сирены поют.

Если мера забвения – море, вода не бывает другой.
Помнишь имя дороги? Нигде. Отложеное мелодий
в позвоночнике мачты, хрипят сочленения: время что кровь,
уходя – не уходит...

А волна резонирует, плаваясь по самое дно
до горящего воска, истерики нотного стана,
до чешуйки бельканто скользит нисходящее *до*,
полустон, полу-Ганат,

и сирены свивают влечение – кажется, сон
не придётся прожить до утра: из последнего зренья собран,
горизонт расплетает ковёр, или небо стирает узор
до границ горизонта,

в тонкий план узнавания; теплопроводная нить
между слепком весла и сиреновой темой потери
растворить расстояние-соль, расстояние-облако лить,
разжимая артерии,

чтобы просто услышать спиной: та вода умерла.
Только чёрная пена осядет в кильватере солнца,
и бездомное новое время молчит, как стрела
о двенадцати кольцах.

ЮЛИЯ ПЕТРУСЕВИЧЮТЕ

СЕРДЦЕ САДА

И обагрённых листьев полумаски
В кровавом карнавале ноября
Срывает ветер, медного рубля
Не пожалев за лужу красной краски.

И небо в красных брызгах, и сады,
И в горьком дыме тот же красный призыв,
На мокрых тротуарах пляшет призрак
И оставляет красные следы.

Так сладко стынет сердце на ветру,
Когда ночная гостья в подворотню
Проходит не спеша, как нож под ребра,
По коченевшему впотьмах двору.

Окончен маскарад на пустырях,
Дымятся кучи златотканой рвани,
И мы с тобой идём под фонарями,
И не хотим висеть на фонарях.

День был белым, как молоко,
Над рекой текли облака,
И молочной стала река,
Мне хватило бы и глотка.
Стыли зубы от стали льда
И рябиной хрустели всласть.
Конь и всадник, одна напасть:
Красный сок стекал изо рта
На промёрзший до звона снег,
Как с разорванной нитки бус,
А во рту был солёный вкус
Молока из подземных рек.

Солнечным мёдом течёт колокольная плоть.
Яблочной медью наполнен расплавленный сад.
Спелого праздника сладкие гроздья висят.
Золото жжётся в ладони – зерна не смолоть.
Колется скрытый в руке, в кулаке уголёк,
хрупкое лакомство, чёрная косточка дня.
Здесь, на весёлой земле, где не будет меня,
Яблоко в тёплой груди отогрей между строк.



И сердце сада лопнуло в руках,
И сок потёк с ладони на запястье.
Широкий лист к порезу лип, как пластырь,
За домом притаился узкий страх.

Взгляд тёмных окон обещал беду,
И кто-то ждал за дверью терпеливо,
Что я достану ключ из сердцевины,
Открою дверь и всё-таки войду.

Немного радости и горстью зачерпнёшь,
Неси к губам и пей одним глотком.
Ведром дырявым, частым решетом
На скорую удачу сеет дождь.

Над мокрыми полями сладкий дым,
В земной груди уже печётся хлеб,
Горячей коркой дышит, жадно слеп,
К утру прозреет глазом золотым.

Так он стоял на самой грани мира,
И равно видел тот и этот свет.
У ног река потоком тёмных лет
Смывала с губ и рук остатки пира,

Обрывки смысла, слов живую ртуть,
И шарики тепла с остывших пальцев.
А неба тяжкий свод едва касался
Сведённых плеч, и не давал вдохнуть.

А про нас статьи не писаны
И законы не придуманы
Не построены цейхгаузы
Не поставлены диагнозы
Мы давным-давно расстреляны
В наших бабушках и дедушках
Мы давным-давно посажены
В землю на четыре сажени
Нас уже на свете не было
Мы убиты до рождения
Не осталось фотографии
И ни строчки биографии
Наши дети иллюзорные
Собирают из конструктора
Своё тело и сознание
Сюрреально-виртуальное

А над морем идёт дождь
Прилипают песок к щеке
И песчинка на языке —
То, что ты с собой унесёшь.

ВАЛЕРИЙ ЮХИМОВ

МЕДУЗЫ МУРАНСКАЯ ВАЗА

где пращур пещерный жирафа чертил утончённо
рубиллом по камню в окрестностях чада,
чтоб каменной лодкой отплыть со своим зоосадам —
ты спишь и не слышишь, вода прибывает. под чёрной

завесой чачвана над чёрной водой, в промежутке,
костра проступало мазком светотени на стенах
письмо и сплетаясь с корнями растений,
казалось арабскою вязью, когда бы не жуткий

славянский акцент в синодальном прочтении касры.
ты спишь и не слышишь, вода подступает в тумане,
по сходням торопятся львы — не москва ли за нами,
и smoke on the water три раза взрезается красным.

вода прибывает и дождь расцветает над молом
эзоповой фразой и взгляд карантина в наркозе,
как дождь, близорук, и надрывно кричит пароходик —
ты спишь и не слышишь, и кофе паршиво помолот.

начало положил водопровод. покуда
боги оставались на местах, кто стал бы замечать,
что варварам назначена вульгата и ссуда
на устройство водовода, и пенсии орлиная печать
за выслугу агтилле. vox populi,
избравшего варраву как предтечу рыжебородого,
достиг и наших во поле
краёв с берёзою, что некому суродовать.
они уже расселись за столом,
и дом не твой и речи безобразны,
их собственных певцов стремительный надлом,
стремительный, и оттого — заразный.



всего лишь комок биомассы,
 выросшей на хилых костях,
 что выполз на берег талассы
 и там засиделся в гостях
 отмеренный датами прочерк
 с короткою тенью на юг,
 неотличимый от прочих
 тире и дефисов вокруг.

продукт языка, воплощённый
 цепочкой обрывистых слов,
 к нему возвращается чёрным
 штрихом, как в шеколду засов,
 как лязгает в раме затворной
 серифом засечковый шрифт —
 сизифа коринфского ордер
 и старого замка лафит.

что камень заталкивать в гору,
 что воду таскать в решете
 учения анаксагора
 о первопричинной тщете —
 пустое, как множество смыслов,
 как чаша, которая на
 другой стороне коромысла
 уравновесит меня.

дождь разворачивался в роман,
 идя третий день кряду.
 греки намокли, охрип тимпан,
 приказав трое осаду.
 обложило. читать — не спать,
 страницы пухнут от влаги в трюме конском,
 слепому бояну псалом слагать —
 как у стен илионских...

дождь даждь нам днесь, джошуа, море слёз
 хлещет волнами в танце иродиады
 так, что голову потерять, как сказал бы делёз,
 в симулякре этой аркады.
 день восьмой, дождь стоит стеной —
 что он делал восьмого дня?
 курва-девка сидит за стеной
 и никак не разжечь огня.

нет позвонить мариин, и все дела,
 скажет — в четыре, в десять — паром одесский,
 что ему дождь, потому как идут дела
 на ришельевской.
 аве, мария, салют, мария, шолом,
 как хороши папиросы попова salve,
 ночь впереди, утром уходит паром,
 и пишет дождь о доблести и славе...



в этом языке было лишь прошедшее время.
 без планов продаж, прогноза погоды и любви до гроба.
 в особенности с последним, карандаш выпадает из рук и молчат оба.
 и вчерашний счёт вывешивается в гареме.

с настоящим временем тоже были проблемы.
 Впрочем, какие проблемы с отсутствующим временем.
 да и слова такого не было, все деяния и намерения
 были фактом, исключаящим пролегомены.

процветали хронисты. к гадалкам куда податься.
 руководили контекст и врождённое чувство слова.
 если ей говорили, что, дескать, прекрасна снова,
 она понимала, что значит пора отжаться.

жизнь была простой, так как сбудется только то, что было.
 как цыплятга осенью, как «гоп!» после прыжка –
 парашют всегда открывался, а если нет – то не прыгай, пока
 не стало им счастье, вырубленное в камне зубилом.

и от счастья такого горбясь в настоящем и будущем временах,
 сослагательно распирала гордость подвздошь
 и перфектно снашивались к сроку подошвы,
 и судом грозился монах.

в накинутаю тюле в окне голосила ущербная,
 словно признала жильца в воскресение вербное,
 ночь на излёте дорожкой по водам затихшим
 водит иглой затупившейся слишком
 в правописании, шорох и плеск – откровение книги морфея,
 море приходит за податью, нам оставляя морфемы,
 словно расписки, на мокром песке в воскресенье.
 тюлевый занавес тронул сквозняк светотенью.

когда усталая судомойка
 изогнувшись, сгребает остатки в бачок,
 только шевелились усы богомольца
 и слону слатывал нервный дьячок.
 сие нового времени есть картина,
 в новом свете, сказал бы ньютон,
 когда тени плетут паутину,
 которою наблюдатель опутан.
 взгляд скользит вдоль диагонали,
 к центру масс возвращаясь снова,
 по которому засандалил
 опорный, выпущенный в основу.
 так проспект, где снует человечество,
 обрывается площадью водосбора,
 куда сносят ручьи изречества
 в отложения под собором.

вояжируя из А в Б (вояж, вояж!) и обратно,
 вектор пути, испытанный многократно,
 ставит точку в ведомости – нулевое сальдо,
 вспоминаешь покрытую, в свое время, асфальтом



недурного качества, приятную во всех отношениях или во многих; в порядке личного утешения — дороги требуют меньше ухода и платы; сожжению подлежат мосты, но не их продолжение.

ККК

медузы муранская ваза в ознобе
сучила корнями, взбираясь к поверхности, барух спиноза
стекло шлифовал, сквозь него в отражение гляделась
сестра её, лыбидь, которой молочную зрелость
украсил народный орнамент на аверсе кратером оспы, в затменьё —
как будто засижено мухами блюдце с вареньем.

на свет отражённый всплывает полночная стража,
на встречу с еленой куинджи спешит с каравалжо,
на мутном стекле расцветают набухшие жилы,
всё выше и выше стремится народец служивый,
всё тянется к свету, не зная, что свет обжигает,
когда через выпуклость линзы его пропускают.

щербатость монеты бледнеет и тихая ночь вырастает молитвой,
астроном прицел поправляет — двоится звезда, хотя пишется слитно,
как мост сабанеева многоопорный, как старость
тускнеющей бронзы, в которой горгоны двоится картавость,
кариатид на бульваре, фиакров, французских романов,
которые не пережил, ставший фельдманом, бывший романов.

от кратера к кратеру краткой походкой крадётся избушка, скрывая
двух гусениц птичьи следы, там из моря дождей выплывает
склянка мутного стекла из-под импортного пива,
там зелёная тоска как сосновая доска на заборе сиротливом,
там в болоте снов хрустальных гусь раскинулся, sic transit,
вновь дрожит сирени куст в переулке старика костанди.

СЕЙВОЙЯ

брюссель прирастал кружевами, в своём огороде
растя поголовье в жабо, вот откуда парадный фламандский портрет
неизвестного, чтоб не сличили случайно, что вроде
и шея длинна, но при взгляде на шею согласия нет,
как ни сядут глядеть — на поверку выходит мавроди.
неизвестный брюнет —

уточнит скрупулезный аптекарь сыского приказа, —
карбонарий возможно, предтеча смутьянов и прочих бомбил,
сочинитель тлетворных романов, рассадник и он же, разносчик заразы,
и т.д. и т.п., тот что виллам войну объявил,
в картотеке проходит по делу транскрипции с кличкой полимераза.
цирюльник севил

точил инструмент, напевая про сказки савойского леса,
про музыку сосен, про то, что и выпить не грех, коли так,
так сладко шекочет спуманте при слове одесса,
когда наполняется нищцы граненый маяк.
и шею втянул кучерявый наследник савойской принцессы.
редактор маньяк

главу усекал за главой, шла работа над новым романом,
где шапки и головы, словно капуста, летели долой,
в котором царь ирод последовал за иоанном,
а хунвейбины прошли по рассаде великой стеной
и плакала маша, когда вырубали бурьяны...
и мячик катился и шарик летел голубой.

«МЕГАФОН»

«МЫ ЗАНИМАЕМСЯ ПРЕЖДЕ ВСЕГО И ПО ПРЕИМУЩЕСТВУ ЛИТЕРАТУРОЙ...»

21 мая сего года в Одесском литературном музее в рамках Одесского Международного литературного фестиваля состоялась презентация поэтического сборника «Глаголы настоящего времени», вместившего в себя стихотворные подборки двадцати пяти авторов, как живших ранее, в 80-х гг. XX-ого века, так и живущих поныне, уже в XXI-м веке, в Одессе. Составителем книги стал писатель, автор 15 книг стихов и 5 книг прозы, в прошлом – руководитель литературной студии «Круг», в 1993 году переехавший из Одессы в Сидней (Австралия). История издания этого сборника имеет глубокие корни, но обо всё по порядку...

Вот что пишет автор идеи издания сборника и его редактор Валерий Юхимов: *«Подготовленная нами и вышедшая в свет книга “Глаголы настоящего времени” изначально несёт отпечаток мемориальности. Мне, как инициатору этой затеи, это было понятно с самого начала, в силу принципа формирования авторского состава – “двадцать лет спустя” нашей же книжки “Вольный город”, вышедшей в 1991 г. К авторам “Вольного города” добавились несколько имён, членов клуба, не вошедших в первый сборник по разным техническим причинам. Совершенно очевидно, что за прошедшие двадцать лет поэтическое сообщество клуба “Круг”, как “сад расходящихся тропок”, разошлось и разъехалось, и в географическом измерении (что для составления книги есть лишь вопрос технический), и, собственно, в литературном. С этой точки зрения перед составителем сборника стояла непростая задача – при заданном составе участников и представленных ими текстов обеспечить тот уровень требовательности, который предъявлялся ранее на клубных собраниях.*

Мемориальность, если так можно выразиться, книги заключается в том, что у большинства её авторов давно изданы собственные книжки и она сама по себе не является значимой вехой в их литературном послужном списке. Скорее, это бесполозная попытка напомнить дичающему с каждым годом городу о редчайшем случае, параде планет – одновременном существовании и сближении в конце 80-х добрых двух десятков хороших и очень, поэтов, захваченных полем тяготения и попавших в орбиту руководителя клуба “Круг” Юрия Михайлика.

Конечно, в ходе подготовки первичного, избыточного корпуса текстов, который передавался составителю для последующей работы, не обходилось без трений. Нужно было согласовать первоначальный объём предложения от каждого автора, списочный состав участников, а для этого – формулу участия. Всё это – средствами facebook, охватывая несколько континентов. Начав эту подготовительную работу в августе-сентябре 2012 г., мы смогли к новому году сформировать объём текстов по 700 строк от каждого из авторов и передать их Ю.Н. Михайлику для последующей работы по отбору. Ещё через два месяца согласований окончательный текст сборника был составлен и в конце марта мы определились с издательством. По результатам переговоров Издательский дом Дмитрия Бураго (Киев) сумел предложить в совокупности лучшие условия, так что заказ на изготовление был размещён там и началась редакторская работа. Отдельные слова благодарности в адрес художественного редактора и иллюстратора книги, Лики Бессоновой, безвозмездно проделавшей большую работу по вычитке и правке вёрстки, разработке обложки и иллюстраций. В мае, к Одесскому международному литературному фестивалю, тираж был готов, и книжка на фестивале презентована.

Вся эта затея не состоялась бы без участия одного важного для всех нас и объединяющего нас, авторов книги, человека, Юрия Николаевича Михайлика. Эта книга – наша благодарность ему за потраченное на нас время, за образец служения нашему общему делу – поэзии».

Сегодня составитель книги Юрий Николаевич Михайлик отвечает на вопросы Сергея Главацкого.

С.Г.: Юрий Николаевич, для нового поколения одесских литераторов, для наших читателей по всему миру, которые могут не знать о клубе «Круг», немного об истории его создания, атмосфере...

Ю.М.: С начала семидесятых и до конца девяностых литературных кружков, студий, клубов в Одессе существовало много – постоянно действовала литстудия при отделении Союза писателей, возникали студии при различных Дворцах и Домах культуры – от медработников до студентов, при редакциях газет – в том числе многотиражных, при вузах, практически везде, где предоставляли помещение и соглашались платить (очень немного) руководителю. Изредка на страницах местных



газет появлялись так называемые «литературные странички» – обычно со стихами авторов той или иной студии, устраивались литературные вечера, на них выступали совсем начинающие или уже как бы и начавшие авторы. Мне кажется, что Одесса в этом смысле ничем не отличалась от иных советских провинциальных центров – пишущих множество, уровень написанного, в основном, весьма низок, но авторам, естественно, хотелось успеха, признания, аплодисментов...

Вот в этой атмосфере и образовался «Круг». Точной даты я не помню, надо у Оли Ильницкой спросить, она была одним из инициаторов.

В Одессе при обкоме комсомола существовало объединение молодёжных клубов (ОМК) – со множеством различных сообществ и собраний по интересам, и однажды там возникла идея создания ещё и клуба молодых литераторов. К самой этой идее я никакого отношения не имел. Просто пришли молодые поэты – три, по-моему, человека и спросили меня – согласился ли бы я руководить подобным клубом (у меня был некоторый опыт – в семидесятых я пару лет вёл литературную студию при Дворце студентов, там было несколько способных людей, иные из них не оставили литературных занятий до сегодняшнего дня). Вскоре меня пригласил Михаил Бочаров – он был все эти годы руководителем ОМК – и сделал мне официальное предложение, я согласился, и продолжалось лет двенадцать, а то и больше, вплоть до моего отъезда из Одессы в 1993 году.

Чем отличался, на мой взгляд, «Круг» от других студий и кружков? С самого начала мы договорились о некоторых правилах.

В поэзии, как известно, верхних пределов нет. А вот нижний – имеется. То есть, существует известная степень владения словом, умения мыслить и выражать свои мысли, с которых как бы можно начинать литературную учёбу. Ниже нижнего предела – это занятие бессмысленное.

Здесь требуется уточнение. И я, и, насколько я помню, члены клуба, знали, что невозможно научить человека быть поэтом. Но мы знали и другое – если человек поэт, то, чтобы проявиться, состояться, стать им в подлинной мере, он может и должен научиться всему, что необходимо. И задача клуба была простой – всем вместе вырабатывать общие критерии, строжайшие, высшие, единственно возможные для стихов. Это означало жестокую требовательность к себе и друг к другу. Такая требовательность да ещё в молодом коллективе поэтов – амбициозных, гордых, самолюбивых – возможна была только тогда, когда все не просто знали, но и ощущали внутри себя, что их любят, что в них заинтересованы, что самые жестокие слова говорятся потому, что в них верят. Вот это и было двойной задачей клуба – строгий первоначальный отбор, чтобы возник некоторый уровень отношения к делу, понимания его важности. И чтобы члены клуба знали – они нужны друг другу, они интересны и важны друг для друга. Ну, и для их руководителя, конечно. Именно эта атмосфера взаимной нужности, доверия, заинтересованности и сделала «Круг» тем, чем он был довольно долгие годы.

Все вместе мы решили, что приём в клуб будет производиться так – желающий вступить читает несколько стихотворений, небольшой рассказ или отрывок большой прозы, затем члены клуба голосуют. Вопрос решается простым большинством. Если кандидат не набирает большинства, он не принят и может позже повторить попытку – но уже с иными своими произведениями. Если набирает, за руководителем клуба остаётся право отклонить его кандидатуру без объяснения причин. Этот пункт всегда существовал, но использовался, по-моему, лишь однажды. Но зато руководитель не имел права настаивать на приеме, если кандидат не собрал большинства голосов.

Я сразу предупредил, что организация публичных выступлений, публикаций и прочая в сферу деятельности клуба не входит – это личные дела каждого. Мы занимаемся прежде всего и по преимуществу литературой. Потому учились писать, судить о написанном, строгость суждений определялась нашим отношением друг к другу. Не сразу, не мгновенно, но всё же выработались и чувство литературного братства, и понимание, чем продиктована взаимная строгость. Я думаю, что бывали и обиды, но где-то совсем уж внутри. Ибо все были заинтересованы друг в друге. «Круг» и впрямь был своим кругом – больше никому всерьёз эти люди не были нужны. Некоторые из членов клуба были уровнем повыше, иные – чуть ниже, но со временем стремление преодолеть свои нынешние литературные возможности стало общим, важнейшим, и стихи, и проза пошли покруче, помощнее. Позначительнее. И всё это время в клуб приходили новые люди – кого-то привлекала наша компания, кто-то хотел проверить свои силы...

С годами ситуация чуть сдвинулась, и я сам уже не так строго соблюдал правило клуба – и несколько раз рекомендовал что-то в те немногие журналы, которые вдруг стали интересоваться нашими делами. Так появились первые личные публикации в столичных журналах. Потом, уже в перестройку, ОМК предложило оплатить издание сборника клуба в местном издательстве. Книга была собрана, иллюстрирована портретами авторов (очень красивых), я написал к ней предисловие, Вместе мы придумали название – «Вольный город». Всё это происходило в 1990 году. Вышла книга в начале девяносто первого. А в девяносто третьем я уехал в Австралию.

Клуб существовал и без меня. Руководили им Анна Сон и Валерий Юхимов (а где-то задолго до этого я оставил клуб, рекомендовав ему в руководители поэта Илью Рейдермана, но там дело как-то не заладилось, и мне спустя пару месяцев пришлось вернуться. Вернулся с радостью).

Я жил в Австралии, и время от времени почта приносила книжечки – первые, а потом и вторые, и третьи книги бывших членов клуба. Я отвечал редко – берёт сердце.

И вот – двадцать с лишним лет спустя – написал мне Валерий Юхимов, что инициативная группа собирает книгу стихов бывших членов «Круга» и просит меня быть её составителем и автором предис-

словия – как когда-то. Подготовленная рукопись с помощью киевского издателя Дмитрия Бураго, Всемирного Клуба Одесситов, Евгения Голубовского и спонсоров – Руслана Боделана и Евгения Демченка вышла в свет и была представлена в Литературном музее во время Фестиваля в Одессе. Та часть авторов, которая в это время находилась в Одессе, выступала на презентации. Вот и всё.

С.Г.: Спустя двадцать с лишним лет, совпали ли ваши предположения о творческом потенциале членов клуба с их последующей реализацией?

Ю.М.: Мне кажется, я написал об этом в предисловии. Но можно и повторить. Я и тогда знал, что некоторые члены клуба станут настоящими литераторами (это, кстати, относится не только к поэтам, я высоко ценю прозу Сергея Четверткова, Вадима Ярмолинца, Юрия Невежина. Жаль, но сборник прозы выпустить клубу не удалось). Налицо были дарование, требовательность к себе, чувство слова и, конечно, характер, вера в свой дар. Через двадцать лет оказалось, что их не пять-шесть человек, что протуберанец куда шире и мощнее. Так мне представляется сегодня, и, конечно, я этому рад, ибо я любил их всех и желал им творческих удач, что чаще всего вовсе не означает успехов житейских и личных.

С.Г.: Насколько повлияла позиция составителя книги и его личные критерии и предпочтения на свод текстов книги?

Ю.М.: Я, наверное, очень надоедал членам клуба постоянным повторением того, что всё мною сказанное – моё личное, субъективное мнение, что никто и никогда не уполномочивал меня говорить от лица русской поэзии или русской литературы. Если члены клуба и прислушивались к тому, что я думаю и говорю, то – как мне кажется – прежде всего, потому, что это было им интересно, ну и ещё немного потому что я «дольше вашего рифмы строгал» по слову Маяковского. Очень часто мы спорили (подозреваю, что иногда они меня специально поддразнивали, вызывали на спор).

Всё, что я говорю и пишу, – в том числе и эти строки – глубоко субъективно, продиктовано личным пониманием, личным опытом, в том числе и усвоенным опытом предшественников и тех, кого я считаю своими учителями. Но иначе и быть не может.

Быть поэтом – обладать собственным видением и пониманием мира, единственным, уникальным взглядом – никто и никогда никого не научит. Этому человек может только выучиться только сам. На мой взгляд, никто в литературе не имеет права сказать – «это мой ученик». Зато каждый литератор может назвать тех, кого он полагает своими учителями. У хороших литераторов учителей много.

Я думаю, что авторы этой книги, приглашая меня в составители, хорошо помнили шутливую клубную формулу: «Это моё собачье мнение». Так что мои личные критерии и предпочтения, конечно, повлияли – и не могли не повлиять – на отбор корпуса книги. Но критерии и предпочтения относительно стихов, а не относительно авторов...

Может быть, в одном случае я был чрезвычайно субъективен, но знаю, что члены «Круга» поймут меня и простят. Я говорю о стихах Елены Гассий. Она была нашей всеобщей любимицей, принадлежала к известному в Одессе литературному клану Гордонов, хотя никогда не говорила об этом, её уже нет с нами, и стихи в этом сборнике не были отобраны ею, они – то, что удалось собрать родным и друзьям. Она – единственная, чьё имя я хочу здесь выделить по понятной причине. А помню и люблю всех.

С.Г.: С какими трудностями столкнулись Вы в работе по составлению книги?

Ю.М.: С обычными и самыми главными при оценке стихов. В глубине каждого настоящего стихотворения лежат некоторые глубоко личные переживания поэта, иногда они выводятся на свет божий, иногда остаются под спудом, но определяют тон и вектор энергетических напряжений в стихотворении. Редактор, составитель не всегда в состоянии уловить, ощутить этот подземный ток напряжения. И тут возникают разногласия между автором и составителем...

С.Г.: Присутствует ли объединяющее начало (голос, интонация) у авторов книги, которое можно было бы называть «южно-русской школой». Если да, то кто из авторов книги наиболее отвечает определению «южно-русская школа»?

Ю.М.: Вот уж не берусь давать определения. «Южно-русская школа» возникла как определение преимущественно для художников. «Юго-Запад» придумал, если не ошибаюсь, Виктор Борисович Шкловский. Он ещё много чего напридумывал – в том числе так называемый «гамбургский счёт». Для тех, кто не знает – будто бы борцы ездили с цирками по миру и боролись, расписав заранее, кто где кого победит. Но раз в год собирались в Гамбурге и там боролись всерьёз, устанавливая подлинную иерархию – кто лучший.

На мой взгляд, в искусстве, в том числе и в поэзии, все конкурсы и состязания – занятия для парикмахеров. Кто первый, кто лауреат, кто дипломант, кто кому и чему король? Как написано было



когда-то в детской книжке Льва Кассиля – «А если слон на кита налезет, кто кого соборет?». Нет в поэзии чинов, нет таблицы о рангах, которую так любили советские люди. Настоящий поэт приходит, и оказывается, что его место в литературе свободно. Был бы у него свой голос, было бы своё – незаёмное – видение и понимание мира. А поэтическое расписание поездов очень нужно тем, кто боится прочесть лишнюю книжку, кто так занят обустройством собственного существования, что ему нужно сразу сообщить, кто самый первый и какую главную книгу надо прочесть, где все уже сказано...

Я не стал бы ставить южно-русский штамп на стихи поэтов бывшего «Круга». Да, есть нечто объединяющее. Что это – определить не берусь. Может быть – Одесса? Тёплый горьковатый ветер Леванта, долетающий с опозданием до приморской степи? Наверное, это так, хотя у каждого Одесса своя, непохожая, совсем другая...

С.Г.: В чём особенности голосов авторов «Глаголов настоящего времени», каковы определяющие черты их творчества?

Ю.М.: В двух словах – горькая любовь. Точнее, горькая нежность. Естественно – выраженная каждым по-своему.

С.Г.: Слышите ли Вы в творчестве своих студийцев своё влияние, кто наиболее близок к Вашему видению мира?

Ю.М.: Нет, не думаю, что в творчестве бывших членов клуба ощутимо моё влияние. Великая русская поэзия очень богата замечательными именами – и всем известными, хрестоматийными, и полузабытыми, но не ставшими от этого менее значительными. А есть ещё и мировая поэзия. Так что авторам есть, под чьими влияниями быть, да и на кого самим уже оказывать влияние. Конечно, все они близки мне, но не взглядами и творческой манерой, а просто жизнью, судьбой, мы съели вместе не один пуд соли. Они, конечно, иные, но ведь так и должно быть...

С.Г.: Захотели бы Вы и смогли бы найти отдельные слова-пожелания каждому автору книги, составленной Вами, или считаете это лишним?

Ю.М.: Только одно общее пожелание. Мне думается, что в мире идут, как всегда, противоположные множественные процессы. Один из них – одичание. Происходит резкое снижение критериев, со всех сторон подступает разливанное море пошлости, массовой культуры в её победительном агрессивном невежестве. Держитесь, дорогие. Победить одичание нельзя, но стоять против него до конца – необходимо. У нас нет выбора.

С.Г.: В своём предисловии к книге Вы пишете, что Ваши студийцы «стали поэтами», т.е. «настоящее» превзошло ожидаемое Вами. Каков, по Вашему мнению, потенциал современной поэтической Одессы? Считаете ли Вы, что молодые писатели, оставаясь в Одессе, обречены на забвение? Изменилась ли ситуация в этом отношении?

Ю.М.: Конечно, по моему мнению, одновременное появление двух-трёх десятков настоящих поэтов – в культурной истории города важное событие. А может быть, не только города. И я рад, что имею к этому некоторое – не самое главное и не решающее – отношение. Но – доля им досталась лихая. Не берусь судить, что пережили, через что прошли те, кто остался в Одессе, в Москве, в Петербурге, в Киеве, думаю, что догадываюсь о судьбах эмигрантов. Они отвергли прежнюю официальную советскую поэтику задолго до её исчезновения, но и новой поэтике – постмодернистской или постпост иронико-издевательской или эпатажно-полуматерной, разухабисто-рэповой – они тоже не пришли. Опять-таки, что делать? Когда-то наши земляки шутили – делать нечего – придется стоять насмерть.

И последняя часть вопроса – о потенциале современной поэтической Одессы и её обреченности на забвение.

Я не могу говорить о потенциале – меня уже двадцать лет как нет в моём городе. Но я в него верю. Я знаю имена поэтов следующего за моим поколения, в том числе и тех, кто собирался в «Круге». Они интересно и современно работают. Никогда Одесса не была бедна молодыми дарованиями, уверен, что они есть сегодня и будут завтра. Конечно, я могу назвать несколько имён поэтов, которых я знаю, читал – Тина Арсеньева, Юлия Петрусевичоге, боюсь ошибиться с именем, хотя когда-то мы были знакомы. Мне любопытно, что делают, скажем, Александр Семькин, Влада Ильинская, Александр Хинт, Екатерина Янишевская, Ксения Александрова. Перечисления такого рода опасны – ты всегда можешь пропустить какое-то значимое имя. Убеждён, что это перечисление должно быть куда длиннее, и тут уж вина не поэтов, а моя собственная.

Наш город за время существования пять или шесть раз менялся разительно, менял не только фенотип, но и генотип, становился совсем иным. И всё время оставался собой. В том числе и по уровню поэтических дарований – есть о ком помнить, есть о ком вспоминать, есть на кого надеяться...



Что же касается забвения, на которое обречены даже самые лучшие провинциальные поэты...

В столицах шум, кипят витии, идёт журнальная война, а там, во глубине России, там вековая тишина. Конечно, это существовало ещё до начала империи — в столицах — шум. И литературный также. И столичные власти определяют официальный, а столичные же салоны — неофициальный статус литератора. Психология меняется медленнее всего, в том числе и имперская психология. Нашим странам (когда-то бывшим одной страной) предстоит ещё преодолеть и комплексы столичного превосходства, при котором поэты живут не столько в истории, сколько в географии, а известность их творчества зависит от расстояния до приличного литературного журнала, и комплексы провинциальной неполноценности, когда ощущаешь себя позабытым-позаброшенным с молодых юных лет (а есть еще и поэты, удачно и умело совмещающие оба комплекса).

Я не люблю интернет, он напоминает мне забор, на котором плохие мальчишки пишут глупости, но — может быть, именно интернету суждено со временем перевести географию в историю. Надежды на это у меня мало, но нужно же на что-то надеяться...

Заканчивая это интервью (вопросы кончились, патронов больше нет), я хочу поблагодарить Одессу. В сборнике, если я не ошибаюсь, представлены семь стран мира, начиная с Австралии (на А) или заканчивая ею, ибо дальше уже тысячелетние льды. В промежутке же — Украина, Россия, Израиль, Соединенные Штаты Америки, Германия, Бельгия. Но, по существу, в этой книге живёт один город — наш общий, наш единственный, очень разный, непохожий у каждого, и всё-таки один. Именно он двадцать с лишним лет назад выпустил книгу «Вольный город», со страниц которой вошли в литературу двадцать пять новых поэтических имен, именно здесь родилась идея подобного сборника тех же, но зрелых уже поэтов. Спасибо нашему вольному городу.

Беседу вёл Сергей Главацкий

ЕГОР МИРНЫЙ

УХАЖИВАТЬ ЗА ДРУГИМИ РАСТЕНИЯМИ

ОТМЕЛЬ

выплываешь на отмель и ждёшь рыбака,
дурака, двойника, хоть какого-то света.
море, так себе море, в четыре глотка,
фиолетовое.

небо, вот оно небо, что есть оно, что
никогда не бывало, как жизни и смерти.
на прибрежной лужайке жара, бадминтон,
бадминтонные дети.

так неслышно кричат, но кричат и о чём:
о себе, о жаре, о последней надежде;
превращаются в рой улетающих пчёл,
и ничто их не держит,

и никто им не нужен. лишь боль да пыльца,
что за болью бывает, горят безотчётно.
и уже невозможно, нельзя отрицать
слустки жёлтого в чёрном.

и уже очевидно, что отмель твоя —
это тень божьей длани на тельце пчелином.
ты послушай, как ясно они говорят,
словно трогают глину,

ты пощупай их говор, белёный, сухой;
под язык положи, облизни, успокойся.
наугад — это нежность, на вкус — это соль,
на поверку — колосья

тишины, высоты, нелюбви, бытия,
что невинно мерцает на кончике жала.
до конечного улья не все долетят,
превратившись в пожары,
в цветы и пожары.

НА ЗАОБЛАЧНОЙ СТАНЦИИ

после меня ничего не останется,
после меня совершится потоп.
матовый свет на заоблачной станции,
голый простор,

воздух былого, что угли за пазухой.
кто-то бесплотный виски мне сожмёт,
станут о жизни подробно рассказывать,
но без имён,

словно о музыке без композиторов
или о небе, не знающем птиц.
вдоль голосов этих, тёмных, пронзительных,
буду идти

в белую мглу, где свободой очерчено
то, до чего не касается взгляд,
дальше, чем всё, что имеет значение,
дальше, чем ад.

детством пахнёт и любовями рыжими,
слово, теплея, вздохнёт чуть вольней,
станет беззвучным, но чутким и слышимым,
будто во мне.

так полоса из живого молчания
перечеркнёт и надежду, и страх,
чтоб отпустить за пределы отчаянья –
дальше, чем рай.

ВРЕМЯ ЦВЕТОВ

было время цветов, питающихся цветами,
каждый новый день начинался с того, что не заканчивался вечер.
молчаливая соня от горластых горничных в тайне
выращивала жемчуг
в ушных раковинах своей младшей сестры,
которая видела только соню и которую видела только соня.
они могли целыми сутками друг на друга смотреть,
пока не становилось больно.
их анемичная, свет износившая мать
в прошлом – летала /яблочная фея в отставке/,
в настоящем – варила из жемчуга едкую мазь,
выводила у сони сердечные бородавки.
папы не было дома, и не было дома у них,
всё происходило на фоне пульсирующей акации.
соня знала наперечёт предстоящие дни,
записывала их на кассету и прокручивала у себя на пальце,
в плотоядном тумане собирала по косточкам тех,
кто лежал там с откушенными головами, с небесами проломленными,
кто до них не дошёл, кто не очень-то и хотел.
было время кузнечиков, насаженных на соломинки.

СТЕКЛО

там, где память была, теперь
всё чугун да зима, зима.
оставляешь себя в стекле
любоваться на дольний март,

на сучёные тишь да гладь,
на прибудные абы как,
на индейца Иная Блажь,
что снимает со смерти скальп,



на манерные фонари,
что ведут напрямик в Аид.
зажигашь, чтоб прикурить,
а стекло на тебе горит,

но недолго: седой Гудзон
сквозь тебя утекает вверх,
и на пепельное лицо
родниковый ложится свет.

КАФЕЛЬ

он ударился головой об ванну, поскользнувшись на мокром кафеле,
и на ясном лице его образовалась прореха –
Ева шепчет Адаму, глядя на мёртвое тело Авеля:
«я не помню этого человека».
и целует, целует в глаза спящего Каина,
который вдруг просыпается на лоне природы
в грозовой темноте, где божественные мелькания
светлячков, а большего не происходит,
потому что Бог захлопывает книжку и ложится спать,
двери захлопывает и ложится спать около
маленького Адама, которому завтра рано вставать.
Адам в глубоком бреду, обжигаясь, трогает
крестик, проступающий на груди, «я не знаю этих людей», –
жарко бормочет он, и платье венчалное
вспыхивает на Еве. Каин пыгается ходить по воде,
у него почти получается.

ПШЕНО

мне кажется, что всё предрешено.
войдёт звезда и рухнет у порога.
недожитое время, как пшено
рассыплется, и мы увидим Бога.

но не увидят нас, о том забудь,
сейчас гляди над зрением чуть выше:
свисает птица – у неё в зобу
растущий взор твой деревянно вышит.

выпытываешь нежность, чтобы в ней,
срезая глубину, избыток смерти
хранить как вывих памяти, вполне
осолоневшей. вкопанные дети

тебя тревожат, не дают поесть
спокойно. в отсыревшей груди спичек
холодный умирающий поэт
тебе в лицо клюкой горячей тычет,

в глаза не попадая. гнётся текст
в любую гибель, выпрямляясь в темя.
потешный ангел в огненном гнезде
смеётся и потеет.

ЗАЛОГ

запомни что ты была
шарахалась по округе
наткнувшись на зеркала
назад заводила руки



тянулась к речной воде
к её простоте и роскоши
запомни слепящий день
и в память забитый колышек

какой красоты залог
давала ты удивлённая
вступая в кустарник слов
молитвенник для влюблённого

где смерть молода свежа
где в душах Господь купается
так плотью не дорожат
и сердцем не откупаются

так правдою не кривят
не выдержав напряжения
когда возникает связь
похожая на крушение

и ахнув сбегает вниз
развратницей обнажённой
любовь как заблудший свист
от прошлого отражённый

ЛОРА ПАЛМЕР

дала подвижку тёмная плита.
до фобос-грунта достучался марс.
ломами в перья, косточкой в металл,
снегами в март.

простая сказка на четыре сна,
прошай, послушай, света будет впрок,
февральский воздух можно долго гнать
всем поперёк.

выходит, было, было – не прошло,
лысеют горы, сыплется кора,
на жизни ставя жирный эпилог,
потом – антракт.

а в голове шевелится трава,
бегут стежки, сужается ковёр.
и лора палмер, кажется, жива,
но не живёт.

КАЁМОЧКА

голая суть, голубая каёмочка,
горы и горы зимы.
спит на тарелочке сытая рюмочка,
сыплется жареный жмых.

вас покусали, а нам показалось, что
мило, светло, хорошо.
маленький, хватит, не дуйся, не балуйся,
прячься в скуластый мешок.



уголь по хате, пшено на завалинке,
тёплая пыль под глаза,
чёрная смерть — не испачкайся, маленький —
будет о чём рассказать

деду, соседу, сестрице затюканной,
всем не вернувшимся им,
что за озябшими досыта днонами
каждый подолгу любим.

тонкая тьма, золотое сечение
жизни и семечка дня.
так распускают себя по течению,
так забирают меня.

ДЕЛЬФИНЫ

смирившись с тем, что «влюблён» — это статус, а молоко бывает птичьим,
пересмотрев в сотый раз «Бездну» и другие любимые фильмы,
погружаешься в пучину фантастического безразличия,
а там — дельфины.

и так они ластятся к тебе, так пробуют тебя на запах,
словно выясняют, сколько в тебе рассеяно пылицы света,
а ты не помнишь себя от счастья, потому что не будет уже никакого «завтра»,
будет — вера

в то, что нет ничего разумного, есть только смерть и танцы,
не захочется больше выяснять, какими чувствами ты болен:
чувствам бесполезно сообщать, как они называются,
болезням — тем более.

дельфины подбрасывают тебя в тёплый космос, курлычат что-то, наверное, радуются.
привыкаешь к невесомости, к мягким плавникам, а вдалеке сквозь рыхлый пар виднеются
твои детские книжки, утонувший брат, любимая девушка под капельницей,
фабрика Уолта Диснея.

ДОЛИНА ПРОЩЕНИЯ

они слушают музыку так словно музыки нет
сквозь неё проходя и не чувствуя режущих кромок
поднимают глаза и врезаются в будущий снег
остаются как есть: корабли в семантической коме

это с ними стрекочет земля не признавшая соль
нависают светила пугая несбыточным светом
выгребая золу истощаются в колкий песок
чтоб хрустеть вне себя под собой о себе беспредметно

пережиток реки внедорожное здесь но без нас
переходное лето к тому что уже наступило
обступило и ждёт небеса высыхают до дна
а на дне залежалой звезде облака греют спину

поджигая тростник превращаюсь в болотистый лес
где живое не трожь неживое ау между делом
и горят города жарким пухом больных тополей
студенистым огнём всепрощения солнечно-белым

НА СТЕКЛЯННОМ СТУЛЕ

сидишь на стеклянном стуле и называешь это бессмертием.
 другой бы назвал попроще: бессонницей или оставил бы без названия.
 осмысливать собственное существование становится делом третьим.
 это словно играть с Богом на раздевание

и неожиданно выиграть, а потом
 вспоминать, кто же был твой соперник, оглядываясь растерянно.
 пока жизнь не раскрылась и нет повода думать, что она цветок,
 можно ухаживать за другими растениями.

на стеклянном стуле на заснеженной поляне под открытым замёрзшим небом
 сидишь, будто веришь в то, что небо открытое, а стул стеклянный.
 если вдруг спросят тебя о тех, кто захоронен в тишине твоего снега,
 сменить поляну.

так вот сидишь, сидишь и начинает порой казаться,
 что будущее тебя потеряло, а прошлого никогда и не было.
 все печали этого мира умечаешь в паре абзацев,
 заполненных пробелами.

долго дышишь на небо, пока на нём не проявляются
 надписи самого глубинного содержания,
 чтобы их прочитывать,
 прикладываешь к небу ладони, и на твоих пальцах
 отпечатывается пустота.

теперь-то и ты понимаешь, что даже те, кто не спит — давно уснули,
 что в этом гипнотическом мерном гуле
 не спать невозможно.
 вот проснутся они, а ты сидишь на стеклянном стуле,
 просто сидишь на стеклянном стуле
 и улыбаешься.

ЖИВАЯ

прости меня — я жив
 тебя живой не помню
 рукой лишённой жил
 перебираешь комья
 замёрзшей темноты
 и пальцы багровеют
 огромные цветы
 над нами тяжелеют
 скажи в последний раз
 колодезное слово
 нас вынесет за край
 бессмертия любого
 нас вынесет на свет
 как боль твоя отвесный
 и кто из нас мертвей
 тот выживет наверно

НАДЯ ДЕЛАЛАНД

ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ СНЕГ

Смеющихся громко, бегущих под ливнем,
смеющихся тихо и прячущих слёзы,
совсем одиноких, безумно счастливых,
больных и здоровых, смешных и серьёзных,
кричащих с балкона, поющих под домом,
роняющих папки с листами доклада,
стоящих у лестницы, пьющих боржом,
нарзаном измученных, тех, что украдкой
смотрели и тех, что не прятали взгляда,
идущих не в ногу и рядом бегущих,
правдивых и этих — скрывающих правду,
и лгущих, и мало и многоимущих,
летающих, ползающих, земноводных,
рыб, раков, тельцов, козерогов и прочих
живых и умерших, все их переводы
и подлинники, и подстрочник,
дорогу в ромашках, когов, попугаев,
настольные лампы, детей, стариков и
тритонов, спаси, сохрани, не ругай их,
им больно.

расписывайся, ручка, расходишь,
перед прыжком бери разбег убогий
и, тарахтя костями, падай ввысь,
сбивая планку боком.
след оставляй фантомный бытия,
валяя шарик в жале, проступая
на том конце сознания, где я
уже не я — другая,
молчащая, и выгнув хребет,
застывшая в камерке тёмно-гулкой,
соединяй, веди меня к себе
с любой прогулки.
синхронизируй ритмы, раздувай
огонь дыханья, жар сердечной чакры,
кого и что захочешь — каравай,
но не кончайся.
раскопегарь моторику и слух,
вонзи язык чернильный в табуретку,
продрав тетрадь. бывает на старух
оно, хоть — редко.

последний раз чтоб осень удалась
лицом листа краснеющего — в корни
утробу чернозёма не прокормишь
сверкая пятками в крольчинный лаз
протиснуться и падать и рождаться
высоким звуком (уха не коснись!)
высокородный главное — проснись
и помни кто ты прежде чем раздаться
в утробе эха расплескав куски
последний раз — внимательно и честно
всмотришься в октябрь и восемь опрокинь
который кот уже за хвост строки
тяну тебя зачем-то

Вестибулярный снег осваивает круг,
пощупав за лицо узбека от лопаты,
он кружится вовсю и презирает труд,
ложится и лежит, идёт и будет падать.
В блестящей толчее почти не разобрать,
как нёбный язычок дрожит из подворотни,
не бойся, я своя, и ко всему добра,
пусть это не пароль, зато бесповоротно.
Шарф скроет или нет, как здесь пустует речь,
шепча и бормоча, тарашась воровато.
Ребячество — вот так идти, лететь и лечь,
и навзничь на сугроб. Так вроде — старовата.
Вся оптика моя — смотреть сквозь микроскоп
снежинки на простор, с которым нужно слиться,
кружиться головой, удариться виском,
проспендить выходной на даче с мёртвой птицей
за изгородью. Вот, проснувшись лет шести,
я снова от неё перо найду в кровати,
снег тужится забыть, и память — замести
весь ужас небытия. Мы складывали в вату
стеклянные шары и шишки, мишуру,
гирлянды и звезду, и прятали коробки.
Так глупо, если снег, и если я умру,
но, если снег, то как всё правильно и просто.

ограда прилипает и в воде
губами видно холодно наверно
октябрь? не понимаю. это где?
вопрос примерный
в дожде крошечном тишь когда болит
в окошко горло превращаясь в смотрит
кто говорит: на ноль нельзя *delite* —
de mortis
летающий аут жёлт и невесом
в нём шорох шелест парашют и запах
всё падает налево через сон
выходит в завтра
подробности догадок и стыда
я знаю кто ты почему ты голый
а) больно б) не больно ерунда
и с) другое



ошеломлённые они стекают вдоль
и лица пламени качаются тенями
не выгоняй меня привратник здесь мой дом
и долгих улиц повороты между нами
уже прошли уже свернулись и болят
в сутулых сочленениях и рифмах
здесь вход туда тут выход на поля
огромной распахнувшейся молитвы
калитка ввысь земной остаток дня
чай недопитый сонный всхлип соломы
меня чуть-чуть не прогоняй меня
из моего единственного дома

спать на полу подсунув под висок
комочек одежды пол у нас дощатый
и освещенье с той наискосок
иконы понимания и счастья

возьми с собой в дорогу этот хлеб
(и это тело) я взяла в дорогу
пришла пора вернуть вернуться нет
пройти по кругу подойти к порогу

и разойдутся стены фокус вдруг
сменив пойму что их и не бывало
что я всегда могла принять вокруг
влюбленность сине-жаркого провала

входи и плачь в наш деревенский храм
намокнут доски потемнеют лики
такое тело выбрал тот кто храбр
он так – так даже больше – был велик он

вода в купели вздрагивая спит
и ждёт ребенка брат крестился взрослым
танцуют приподнявшись на носки
большие прихожане в каплях воска
поет старуха с голосом воды
оконный прорубь движется и тает
снег оставляет мокрые следы
монах склонившись долго их читает

Человеческим словом, глаголом божественным речь,
именуя растения, всякую тварную живность,
округляя углы, чтобы целым сбересть, остересть
от падения дитячко. Стой! Голова закружилась,
потеряла его, потеряла, ищи-не ищи,
как найду – позвоню, напишу, напишу и приеду,
это слово... в повешенной трубке мышенок пищит,
у него его нету. Ещё: у него его нету.
Равновесные дни, не столкнешь до того ничего,
не запомнишь и не отличишь близнецов друг от друга,
безъязыко во сне ожидания видеть его
и протягивать руки. Пиши: и протягивать руки.
Ни мужское, ни женское, ни на каком языке,
пренебрёгшее формой, принявшее всякую форму,
иногда промелькнёт в проходящей гудящей строке,
в проносящемся поезде узнанной вдруг незнакомкой.



Так живи в немоте, так и мыкайся в муке, в му-му-
му-му-муке, топя неизведанный отблеск глагола.
Только радости было: что, если не мне – никому
не достанется мой бессловесно распахнутый голос.

ВСЁ ЕЩЁ

1.

Ну, вот и всё – кофейная весна,
сердечная простуда в ствол и корни,
а форточку внезапно распахни –
и кружатся по комнате снежинки,
но в тёплом неприметном закутке
окно во тьму, и огненное шоу
с бумажными платочками, и смех,
и бег вослед гигантскими скачками
смеющемуся поезду со мной
трёх девушек, и недорасставанье,
и всё ещё, ну вот и всё – ещё.

2.

объёмное пространство снегопада
кружись кружись теряйся голова
сквози сквозь тело снежная ограда
прощай зима нет это я не вам
облизанная снегом в нос и щёки
уже почти приученная жить
во времени в его коварном счёте
весна растёт и дышит и дрожит

3.

В той ещё кружке с Кузьминок прозрачной
снег продолжает идти напролом,
тёмными бликами вскользь обозначен
ломаный выпуклый вогнутый дом.
Я продолжаюсь. Глазами и светом
встречен прощальный порхающий всхлип.
Снегом по стёклам – легко и бесследно
кем-то смонтирован крошечный клип
жизни и смерти. Бессмертья и смерти.
Жизни и вечности, кружечный штамп,
зеркало слабое, свет на просвете,
буква на кончике карандаша.
Пишем наклонно, пунктиром по крышам,
смазав движением чёткость руки,
неба и выше, поднялись и пишем,
ходим и пишем му-ки му-зы-ки.

Так бы и плакала, оплакивая все мёртвое –
бедное мёртвое, бывшее ведь живое,
тело всего лишь... плоть, что была обёрткой
или тюрьмою, и выпустила на волю.

Бедное мёртвое, гумус, печальный обморок
мира, все повидавшего, кроме смерти,
маленький голубь, что же ты? Где ты? Он ли ты?
Синий, сиреневый в грудь, розовато-серый



в шею, молчишь, смиренню переученный.
Странное мёртвое, недосказать как тихо
ждушее окончания новой участи –
участи всех, кого-то произрастивших.

Ходит, беседует, душ принимает, словно бы
и не умрёт, наивное, идиотское,
бедное, будет мёртвое – куклой сломанной,
празднует бедный родственник и господствует.

Свергнутое, завёрнутое, прошедшее,
стусок прожитого, отпрыск непрожитого.
Только сними со смерти все украшения –
бедное мёртвое. Смерть ничего не стоит.

Нищее мёртвое, спящее, настоящее,
маленькое пустое – возьми да выбрось.
Старое платье, штопанный мятый плащик и
что-то ещё... поглаживанье, привычка.

Пасмурный молчаливый вечер.
Набрать в рот воды, раздуть облака,
и так сидеть, косясь на мелких ласточек,
падающих по небу.
Гора, гора, я – гора, гора,
говорят они, дразнятся, начинают плакать,
чтобы я плюнула, чтобы я выплюнула
и ответила – это я гора,
я – гром и молния,
и всё засверкало и ожило,
и перестало ломить кости под перьями,
и они бы прижались к горе
и стали ее частью.
Так сбывается всё, что скажешь.

МИХАИЛ ЮДОВСКИЙ

ТЕЛА И ТЕНИ

БРЕЙГЕЛЬ

В непросторных, но жарко натопленных хижинах,
Где уютный огонь, подружившись с камином,
Процарапывал контур фигур обездвиженных
На расплывшемся сумраке нежным кармином,
И от скуки заигрывал с угварью кухонной,
И крахмальную скатерть поглаживал робко,
И бока щекотал котелку меднобрюхому,
Где, ворочаясь сонно, ворчала похлёбка –
В этих хижинах всё, от краёв подлокотника
До проёма окна с неприкрытою ставней,
Ожидало, застыв, возвращенья охотника,
Что ушёл за добычей. А, может быть, стал ей.

Времена осыпались, белели и снежили,
Восхвалялись землёй, небесами радели
И казались куда благодатнее, нежели
В неприглядной жестокости были на деле,
Разорjali дотла непокорные вотчины,
Малевали свой лик на священных иконах
И по снегу прошлись отпечатками волчьими,
Расписавшись в не менее волчьих законах.

В молчаливом лесу, где январское зодчество
Обнажает борьбу между светом и тенью,
Понимаешь, насколько сродни одиночество
Осознанию, бесстрашию и благословению.
Забываются те, для кого ты стараешься
И по снегу шагаешь с заточенной жердью,
Словно ею черту провести собираешься
Между собственной жизнью и чьєю-то смертью.
Вечный голод и холод роднят тебя с городом
И на этой дороге, суровой и длинной,
То представишь лису на плаще твоём воротом,
То оленя тушёной в котле олениной.

Из-за дальних холмов надвигаются сумерки,
Проникая под сердце зимою и тьмою.
Возвращаться с пустою охотничьей сумкою
Всё равно что по свету скитаться с сумою.
Ты спускаешься долу, следами уродуя
Этот снежный покров, этот саван Господен,
Из пустынного мира с жестокой свободою
В обитаемый мир, где никто не свободен.
Поднимаются хижины бурями пятнами
Валит дым из трубы с величавою спесью.

И неясно, под кровлю вернуться обратно ли
Или мимо пройти и шагнуть в поднебесье.



САВОНАРОЛА

Похоже, все пути ведут из Рима.
 Порочна этих троп витиеватость.
 Непредсказуемость порочней вдвое.
 Когда в душе твоей необорима
 Слепая вера в собственную святость,
 Легко возненавидеть всё живое.

Когда внутри себя ты слышишь голос,
 Когда, укрывшись под клубами дыма,
 Столетье источает запах серы,
 Людская жизнь – не более, чем волос,
 Которым испытать необходимо
 Отточенность и беспощадность веры.

Несложно возомнить себя пророком,
 Разглядывая собственную руку
 И видя в ней Господнюю десницу.
 Страшней порока лишь борец с пороком,
 Готовый этот мир хлестать, как суку,
 Посмешую в часовне оцenenиться.

Что может быть опасней и лукавей,
 Чем, оскорбясь вселенским разнотравьем,
 Выпалывать сочтённое излишним?
 Сжигаемое на костре тщеславий
 Ничтожно по сравнению с тщеславьем
 Себя осознавать судьёю ближним.

От собственного пламени сгорая,
 С высоким отреченьем страстотерпца
 И гордым равнодушием к наградам,
 От построения земного рая
 Не в состояньи отказать сердце,
 Пока земля не делается адом.

ФЛАМАНДСКАЯ ЖИВОПИСЬ

Полотна фламандцев – иконы обжорства и пьянства,
 Пока в эти земли ещё не пришло протестантство
 С расчётливой скупостью, скукой и тесной моралью,
 Скрутившее время на пару с пространством спиралью.
 Но лица, как прежде, глядятся шутивно и внешне
 И, кажется, пастор похож на трактирщика внешне,
 И строгий молитвенник, набранный мелко и тонко,
 Он держит в руках, словно жирную ногу ягнёнка.
 Немного смущённо глядится его прихожанин,
 Как храм и трактир, перепутавший «proosten» и «amen»,
 И скалит свой рот, краснорожий весёлый тупица,
 И кружкою пива готов от греха откупиться.
 А где-то камины дымят, и кирпичные зданья
 Вонзаются острыми крышами в плоть мирозданья,
 И Бог весть откуда, предчувствуя отдых и негу,
 Охотник шагает домой по скрипящему снегу.



ФРОСТ: ЗИМНЕЕ ОДИНОЧЕСТВО

Зима торопиться обычно не любит. Зима,
Надев сапоги и грубо вязаный свитер,
Неспешно обходит поля и заходит в дома
Как фермер степенный, как хмурый общинный пресвитер,
Напомнить о том, что не худо б дрова запаста,
Расчистить от снега тропу от калитки до двери,
И в сельскую церковь придя на молитву к шести,
Вернуться домой к немудрёной, но сытной вечере.

... Мне нравилась с детства красивая пропись зимы.
Орудя сжатым меж красными пальцами мелом,
Она не строчила по белому чёрным псалмы,
Но строчки стихов выводила по чёрному белым.
Едва прочитав их, я мог рассказать наизусть –
Конечно, не стих, и не строчку стиха, и не слово –
Я мог пересказывать светлую зимнюю грусть,
И радость, и странное чувство чего-то иного.
Казалось, вселенная спит у меня за стеной,
С утра на лежанке спросонья ворочаясь сладко.
И мир, бесконечно огромный в сравненьи со мной,
Неведомо как помещался во мне без остатка.

Зима повзрослела со мною на пару. Она,
В железную кружку плеснув кипятка и заварки,
Сидит вечерами за грубым столом у окна
И смотрит, как падает снег, исправляя помарки
Записанных начерно, прожитых начерно лет.
И ждёт одинокого гостя, почти обеспотев
И, верно, забыв, что вовне одиночества нет,
Поскольку оно примостилось на стуле напротив.

УИТМЕН

Космос состоит из травы, из капель
Росы, прилипающей по утрам к траве,
Из жужжания ос, из острой, как скальпель,
Линии горизонта, полоснувшей по синеве
И отделившей небо от океана,
Из кружева пены, из солёных брызг
Из брани, вылетевшей из уст капитана
И взметнувшейся вверх, как обелиск,
Из отчаянья рыбаков, изнурённых греблей,
Потерявших в сумерках свет маяка.

Космос состоит из подрубленных стеблей
Золотистого сахарного тростника,
Из кипящих котлов, в которых варится ужин,
Из надрезанных морщинами рук и лбов.
Космос состоит из белых жемчужин
Пота на чёрных спинах рабов,
Из обносившихся человеческих оболочек,
Сваленных вместе под цепи на ток.

Космос состоит из перечёркнутых строчек,
По которым бежит электрический ток,
Высекая дух из мёртвого вещества,
Стискивая судорогой буквы в слово
И сжимая судорогой в песнь слова.
Ибо близится, близится время песен,
Выстраданное, выношенное в борьбе.
Ибо космос так же велик, как тесен.
Ибо каждая песнь – это песнь о себе.



Когда ты поёшь о прибрежном песке
 Ты поёшь о себе.
 Когда ты поёшь о вселенской тоске
 Ты поёшь о себе.
 Когда ты поёшь о простом рыбаке, о забитом рабе,
 Ты поёшь о себе,
 Непонятною песней несом.

Лишь когда ты поёшь о себе,
 Ты поёшь обо всём.

ДЖОН УИЛМОТ

Скоморох, перекатная голь —
 Человек обречён поневоле,
 Выбирая случайную роль,
 Становится заложником роли.

Ты, наверное, душу продашь
 Заодно с оболочкою тленной
 За блистательный твой эпатаж
 И попойку с размахом Вселенной.

Заключен сатанинский подвох
 В этих игрищах и панихидах,
 Будто сделав единственный вдох,
 Ты не можешь решиться на выдох.

И в родной, и в чужой стороне
 Привыкаешь к отсутствию речи.
 Если истины нету в вине,
 Может, истина в чём-то покрепче?

Вещество, расточив существо,
 Достигает предела, нищая,
 Совращая неважно кого
 И неважно зачем совращая.

И растратить остатки спеша,
 Ты уходишь в последнюю битву,
 Неумелой молитвой греша
 И грехом искупая молитву.

ФРАНСУА ВИЙОН

Зодчий строит красивый собор,
 Вокруг собора ставит забор,
 Чтобы, покончив с собором,
 Потом умереть под забором.
 Поэт разбивает божественный сад
 И каждую пядь превращает в ад.
 Поэту не надо сада.
 Что же поэту надо?

Нищий встает в несусветную рань
 И собирает с прохожих дань.
 Будет доволен нищий
 Дешёвым вином и пищей.
 Поэт разбивает по новой сад
 И каждую пядь превращает в ад.
 Поэту не надо ада,
 Но мало поэту сада.



Вор уходит на дело в ночи,
Вор подбирает к замку ключи.
Вору велит обычай
Охотиться за добычей.
Поэт разбивает по новой сад
И каждую пядь превращает в ад.
Поэту не надо ада.
Поэту не надо сада.
Он сам, бедняга, понять бы рад,
Что же поэту надо?

Пьяница ходит гулять в трактир,
Который ему заменяет мир.
В самом глухом трактире
Ничуть не тесней, чем в мире.
Поэт разбивает по новой сад
И каждую пядь превращает в ад.
Поэту не надо ада,
Поэту не надо сада
Он там невпопад и здесь невпопад,
Ему ничего не надо
Настолько, что он уже, кажется, рад
Петле или порции яда.

Послушай, поэт, ты давно не юнец.
Пора, наконец, положив конец
Бесплодным с собой разговорам,
Стать пьяницей, нищим, вором.
Пора прекратить бессмысленный спор,
И с зодчим на пару достроить собор,
И с ним умереть под забором...

Чужого совета послушаться рад,
Поэт разбивает божественный сад,
Который он пядь за пядью
С усердьем таким превращает в ад,
Что, кажется, небо, синяя над
Макушками преданных небу чад,
Любовь отдает исчадью.

ОЛЬГА ОЛГЕРТ

«ЖЕНЩИНЕ, ИГРАЮЩЕЙ С ЦВЕТКОМ БЕССМЕРТИЯ...»

Зарумянился вечер,
И ветер притих,
И слышался голос продрогшего неба:
Все дожди — от печалей, печалей людских,
Все метели — от сердца, что плачет под снегом.

Опустился закат на листву тополей,
И сказала природа, по солнцу тоскуя:
Все цветы, что когда-то росли на земле —
Появились на свет от людских поцелуев.

И, рождённый вселенной в далёких мирах,
Вышел в небо рассвет, тишиной окольцован.
Так и я появилась вчера — из ребра
Твоего первобытного, нежного Слова.

Здесь стражи печалей вдоль неба стоят,
И голос летящего мая простужен,
Но я улыбаюсь — планета твоя
Меня над безвременьем ласково кружит.

И нет побережья для наших морей,
И наших ветров имена неизменны,
Смотри — я стою у раскрытых дверей
Твоей обновлённой, упругой вселенной,

Чьи травы, насытившись солнцем, шумят,
Одевшись с утра в изумрудные платья,
И я одеваюсь — с макушки до пят
В твои, освящённые летом, объятия.

Где движутся звёзды, упавшие днём
В дома, чьи сердца — от рожденья — наивны,
И липы молчат, укрощённые сном,
Но ты говори мне, прошу — говори мне...

И всё-таки мы выдумали дождь
 Над миром, огнедышащим и жарким,
 Где бог с утра расклеивает марки
 В альбомах бытия, а ты идёшь
 По улице сомнений и ветров,
 Где прячутся за окнами раздумий
 Глаза и голоса стеклянных мумий,
 Забывших про печаль и про любовь.

И всё-таки мы выдумали жизнь,
 Что просится за окнами погреться,
 И в дверь стучит, но, кажется, что в сердце
 Стучатся в полнолуние миражи.

Но кто, ответь мне, выдумал мечту
 В пространстве тополиных колыбельных,
 Где слышатся каноны Пахельбеля,
 И грозы приручают темноту,
 Раскачивая в небе лунный дом,
 Где мы с тобой уверовать смогли бы
 В июньскую фантазию Делиба,
 О том, что лето жизни – за окном.

И женщине, играющей с цветком
 Бессмертия, забвение не страшно...
 Сорвётся с неба вечер, невесом,
 И майский бог в жасминовой рубашке
 Покажется поющим мотыльком.

Продлится в небе яблоневый твист,
 И тихий свист разбуженных каштанов,
 Что кронами в душе моей срослись,
 Чьи свечи зажигает неустанно
 С весенней ветки сорванная мысль.

И мы с тобой, балконные цветы,
 Сражаемся за маковое поле
 Мечты своей, летящей с высоты
 Прозрения, и, крылья обезболив,
 Раздав в театрах снов места и роли,
 Летим на лунный свет из темноты.

Чтоб там разлить одно из лучших вин,
 Бродивших в чашах слов который вечер...
 Мы – тени разлучённых половин,
 Которым от весны укрыться нечем,
 Поверишь? – жизнь сама идёт навстречу
 Двум путникам, узнавшим о любви.

А если зарницы однажды подслушать,
 И гордо стоять на рассветной арене,
 И прятать свою говорящую душу
 В лиловые кудри поющей сирени,



Влюбляться в одну из синичьих симфоний,
И лампой фонарной гореть в полнакала,
И знать, что июньские сны пеларгоний
Сбываются в ночь на Ивана Купала,

В попытке творить подражая Хаййаму,
Читать полупшёпотом Оле Лукоие,
И жить, отправляя весне телеграммы,
И петь на полынном и пахнуть левкоем.

Плести вдохновенье из веток бамбука,
И в духе Платона воспитывать сердце,
И вдруг – раствориться в мерцающих звуках
Небесного, самого нежного скерцо.

Я влюблена. И речь моя слышна
На тысячи весенних километров.
Не прячь сегодня голову от ветра,
Моя зеленоглазая страна.

Мне всё идёт:
Печали не всерьёз,
Каштанов простодушные манеры,
И волосы смеющейся Венеры,
И платья зацелованных берёз,

Я – влюблена. И сделать первый шаг
Мне нужно, невзирая на приметы,
И вот уже – к тебе,
Поспорив с ветром,
На цыпочках идёт моя душа.

Встречай её – идущую в бреду,
Листающую ночь заворожённо,
Весну, переодетую мадонной,
Грозу,
Улитку,
Ласточку,
Звезду.

Старцы блаженны, а прочие – влюблены,
Знаю, дождёшься под снегом свою весну.
Пусть, растерявшись под взглядом немой луны,
Запахи счастья тебе не дадут уснуть.

Сколько в небесных озёрах подводных ям? –
Не сосчитаешь,
Ты лучше земли коснись,
Где, подражая доверчивым голубям,
Запахи лета слетаются на карниз,

Где, убегая, смеясь, от цепных оков,
Прошлые мысли от новых на полпути.
Ты удивишься, как быстро и как легко
Запахи солнца научат тебя светить.



Застынет мгновенье росой у глаз,
 Откроется сущность его земная.
 И тот, кто однажды тебя предаст,
 Об этом, наверно, и сам не знает.
 И путь предсказаний тебе знаком,
 Где эра цветений дожди заменит,
 Где солнце – оранжевый гордый гном –
 Готово вступить в полосу затмений.
 Срываются в пропасть его лучи,
 В ночную прохладу упав с разбега,
 И небо – минутной тоской горчит,
 И ты открываешь другое небо.

А там, за очерченной небом стеной,
 Пространство печальников пахнет войной,
 И полночь вполголоса спорит со мной,
 И нет окончания спорам,

На улицах – всходят предчувствия астр,
 И борются тени – религий и рас,
 И мой оппонент – невысок и глазаст,
 Решает кроссворд ре-минора.

И тонет в агрессии тающий мир,
 И те, что когда-то казались людьми,
 Вгрызаются хищно в украденный миг,
 Где сильные – тащат убогих

В костры разночтений, пропахших золой.
 И в небо взлетает стрела за стрелой,
 И кажется – там, над усталой землёй
 Над нами – сражаются боги.

Людам – зрелищ, тебе – короны
 Не хватает в пыли дорог.
 В мире, слышишь? – светло от звона
 Шпор на крыльях твоих сапог.

Где сбывались свиданья с бездной,
 Чей рассудок тоской увит,
 Если завтра она исчезнет,
 С кем поспоришь ты о любви?

Где, взлетая за птичьей стаей,
 Прорастает туман в слова.
 Если к вечеру он растает,
 С кем останешься воевать?

В тишине, где печаль на лицах,
 В королевстве прочтённых книг,
 Если жизнь за тебя сразится,
 Чем заплатишь за этот миг?

В полнолуние, где в сердце ночи
 Колосится полынь-трава,
 Если я поменяю почерк,
 Как узнаешь, что я – жива?



А знаешь, я живу не в той стране,
 Вдали от притяжения земного,
 И греет лишь единственное Слово,
 К рождению подаренное мне,
 Где бьются подмосковные ветра
 В окно моей готической квартиры,
 И я ищу Москву на карте мира,
 Мне кажется, что я её сестра,
 Живущая в мерцающей дали, —
 Тоскующее огненное сердце,
 А мне бы русским говором согреться,
 И к северу задумчивой земли
 Идти, поставив небо на весы,
 Считая в небе солнечные лица,
 И стать не перелётной — певчей птицей
 В деревьях среднерусской полосы.

АНТВЕРПЕН

Мой Антверпен похож на рыбу,
 Уплывающую в туман...
 Мы с тобою вдвоём могли бы
 Жить в любой из далёких стран,
 Верить солнечной Ориноко,
 И читать по ночам тростник.
 Видишь, солнце идёт с востока, —
 Я иду по страницам книг.
 Возвращаюсь в твою весну и
 Открываю в ночи миры:
 Питер Брейгель опять рисует
 Рыбу, съевшую сотни рыб.
 Там, у сердца судовой верфи
 Ждёт удачу свою рыбак...
 Уплывает во тьму Антверпен,
 Сжав кварталы домов в кулак,
 Где выходят на волю волны,
 Безрассудство моё встречать.
 Нарисуй мне иную полночь, —
 Я поверю её речам,
 Где весной, на меня похожей,
 Бредит питерский твой корвет.
 Нарисуй мне волну — и, может,
 Я пойду по твоей волне.

Но пока ты раскрасишь желанья, паром уйдёт.
 И рассыплотся будни мельканьем земных сюжетов,
 И слетят с облаков отраженья земных высот,
 Опаядая небесной пылью на дома поэтов.

Переменит обличье растущий в туманы лес,
 И на лицах землян зарумянится к ночи радость,
 И вернётся к полуночи Шуман с немых небес —
 Дирижировать жизнью рассветов, цветов и радуг.

АЛЕКСАНДР ЛЕОНТЬЕВ

КЛОУН СОЛНЦА повесть

ПРОЛОГ

Летит, летит паутина, опутывая всё серебристыми нитями, деревья стоят, как замороженные. Медленно, величаво течёт река, струится, рябит на плесах, бежит к морю.

Вдоль реки бежит мальчик, лесная тропинка мелькает между высокими клёнами, раз, раз – накатывает с шумом кровь к сердцу, раз, раз – стучат босые ступни о курящуюся пыль под ногами.

На дальнем берегу под багряно-жёлтыми кронами сидит на корточках мужик, курит, иногда при-встаёт, чтобы проверить, хорошо ли натянута леска, щурится, закрываясь ладонью от солнца.

Длинные, размытые, янтарные тени деревьев плещутся в реке, наклонились чуть ивы, кое-где вспорхнет птица или вдруг пролетит бабочка. Синева неба ясная, спокойная, ветер доносит из садов запах пахоты и напоённых солнцем плодов.

Лесная тропинка мелькает между деревьями, мелькает перед глазами...

Раз, раз – стучат ноги о прохладную пыль, горят ступни, раз, раз – перепрыгивает мальчик ветки и сухой валежник...

Вот он остановился, и, отдышавшись, присел на поваленный бурей ствол акации.

На мелководье, у самого берега, мальчик заметил уток-нырков, уточку и селезня, и рядом с ними целый выводок утят, которые отщипывали кусочки водорослей с длинных стеблей травы, иногда вдруг взлетали, пробуя силу крыльев, пронеслись несколько метров над рекой, и с радостным плеском приводнялись, окатывая друг друга брызгами. Вот скользнул между камышами уж, охотясь за лягушками, которых там была тьма-тьмуца, бугристых, большешапых, буро-зелёных, пучеглазых, вот показалась над водой его острая голова с жёлтыми точками на затылке, и, извиваясь долгим телом, он стремительно поплыл дальше, распутывая утят.

Из-за реки подул ветер, зашелестел с сухим треском камыш, и пахнуло осенью, а мальчик всё смотрел, как мальки ходят стайками у корней в прозрачной воде.

Вдалеке, на самой середине реки, всплеснул сом; это заметил и рыбак, он ещё раз проверил, как натянута леска, и правильно ли установлены колокольчики на донке.

В глубине леса послышалось кукование «ку-ку, ку-ку», кукушка куковала долго, очень долго, несколько раз мальчик сбивался со счёта, и, подумав, что, наверняка, это к его долгой жизни, улыбнулся.

А тем временем мама-утка, выйдя на берег, чистила пёрышки своему малышу, а папа-селезень кружился в воде, зорко высматривая камышового кота, которые ещё водились в плавнях.

Рыбак, наконец, поймал крупную рыбу и, довольный уловом, бросил её в садок.

Предзакатное солнце золотило верхушки деревьев, рядом, на цветах кашки, важный шмель деловито зарывался в пыльцу, отпугивая берущих вечерний взятки пчёл, и так ласково пригревало августовское солнце, и так мирно бархатисто гудели пчёлы, что мальчик вновь заулыбался.

– Тим! – неожиданно раздалось в тишине и сумраке леса.

Мальчик повернулся и долго всматривался в смутные тени между деревьями.

– Вот ты где!

Из-за кустов, споткнувшись о колючую плеть ежевики, появилась нескладная девочка-подросток. Выгоревшие волосы её ерошил ветер.

– Вера? Ты что, следишь за мной? – поднялся он, отряхивая шорты.

– Вот ещё, – отвернулась она, покраснев. – Все ужинать собираются, а тебя всё нет.

– А-а, ну идём... – бросил он, равнодушно скользнув по ней взглядом, и побрёл прямо через кустарник к лагерю, где уже разводили костры.

Девочка задумчиво смотрела ему вслед.

«Странно, почему мне так плохо и хорошо, когда я вижу его, и ещё я всё время думаю о нём, думаю постоянно, так, что аж ноет сердце».

Девочка смутилась, пытаясь разобраться в новых мыслях и чувствах, которые вдруг нахлынули на неё.



Ей хотелось поделиться хоть с кем-то своими переживаниями, но она так боялась, что над ней будут смеяться.

Смахнув с лица серебристую паутину, она встряхнула короткими кудрями и решительно зашагала вслед за ним к стоянке.

Двухместные и четырёхместные палатки стояли полукругом на поляне между клёнами, на лёгкой зыби покачивалась моторная лодка, байдарки лежали под обрывом, у самой реки.

Солнце закатывалось за холмы, которые розовели на горизонте, а потом вдруг последний луч погас, птичий щебет смолк, и сумрак стал прятаться под деревья.

Ребята уже давно натаскали хворост, разожгли костры, и разогрели жаркое в походных котелках.

Ночь опустилась на землю быстро и неожиданно, и лиц почти не было видно в темноте, но вот костры разгорелись сильнее, и тьма отступила.

Тим уселся возле костра, и тренер насыпал ему в миску целый половник жаркого, которое отдавало пряным дымком.

Переход в тот день был долгий, ребята проголодались и ели с удовольствием.

Все шутили, вспоминали школу, и говорили о том, что кончаются последние деньки, когда можно повеселиться.

Угли рассыпались, с тихим шорохом, потрескивали сучья и ветки.

Тим смотрел сквозь огонь на струящееся расплавленное олово реки, которая сияла в свете луны и звёзд.

«Наверняка, это больше не повторится», — думал он, глядя на лица друзей в отблесках костра.

На рассвете река сверкала в оранжевых лучах солнца, и приходилось жмуриться, когда они на байдарках пересекали фарватер.

Весь день они шли против течения, тренер всячески подбадривал их, а иногда, обогнув группу на моторке, шёл впереди на малом ходу, чтобы они могли отдохнуть, пристроившись на волне в отработке.

Когда солнце, перевалив экватор, зависло огненным красным шаром над противоположным лесистым берегом, они совсем выбились из сил, — и тогда вдали показался белый город, сверкая куполами Воскресенского собора.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Только под вечер Тимофей оказался во дворе, который прилегал к их дому; в деревянной беседке сидели мальчишки и играли в карты. Он остановился возле берёзы, которую они посадили с отцом, и провёл ладонью по гладкой коре дерева. Мелкая листва зашелестела, и на асфальт полетело несколько жёлтых листьев.

Из-под детской горки навстречу ему выбежала, виляя хвостом, клокастая, стареющая собака Фимка, у которой слезились глаза и пожелтели зубы, но которая каждый год исправно одаривала мир потомством, — вот и сейчас за ней выкатилось несколько пушистых комочков, совсем недавно открывших глаза и увидевших мир. Тим часто их подкармливал, и поэтому ни Фимка, ни щенки его совсем не боялись, но Фимка привчала Тима не только за кормёжку, но и по старой дружбе, помня ещё то время, когда они вместе ночевали в деревянной горке (Тиму тогда было лет девять, а Фимке в три раза меньше). В ту осень ушёл отец, и мама возвращалась с работы очень поздно, и сидела у окна, перебирая фотографии, и Тим однажды не выдержал её молчания и не вернулся домой. . .

С радостным урчанием Фимка бросилась ему в ноги, он зажал её умную морду между колен, потрепал бутристый загривок за ушами, и она от удовольствия мелко-мелко завиляла хвостом.

— Чего ты её постоянно чешешь? У нее ж вон, какой лишай на спине! — заметил с ехидцей, проходя мимо, дядя Егор, охранник с автомобильной стоянки, которого задевало, что только к Тиму собака бросалась с такой искренней радостью.

— Это не лишай, а подпалины, — отозвался Тим, улыбаясь.

— Да-а, — протянул дядя Егор, — запаршивела, а когда-то была масть, даром что ли за ней до сих пор кобели гоняются, вон опять приплод принесла, — примирительно добавил он, вытирая затылок платком.

— Напомни матери, что пора платить за стоянку, — добавил он.

— Ладно, скажу.

Тим поднялся, оттолкнув Фимку, которая бежала за ним до самого дома, путаясь под ногами и преданно заглядывая в глаза.

Ведро с грохотом полетело в колодец, со звоном ударилось о воду, кувыркнулось, и, зачерпнув воды, замерло, мигая серебристыми звёздами.



Утолив жажду, Тим поставил ведро на сруб и огляделся.

Теперь их дом со всех сторон, как подковой, окружали высотки.

Дом был необычный: цоколь был выложен из белого пильного камня, а стены первого и второго этажа — из красного кирпича, мансарда была выполнена по проекту отца, а плоская крыша с загнутыми краями напоминала китайскую пагоду.

Когда-то здесь стоял деревянный терем, который построил ещё прадед Тима; на первом этаже в зале висела на стене фотография, на которой прадед был в форме железнодорожника: худощавый, прямой, с открытым лицом и ясным взглядом чуть изумлённых глаз.

Он помнил, как отец сказал однажды: «Хорошо было бы жить тогда и рисовать такие красивые лица». На что бабушка, которая, по её словам, пострадала от прежней власти, хоть и дослужилась до высоких чинов, отрезала:

— Вот и рисовал бы лагерников с красивыми лицами в Воркуте.

Отец не спорил, с бабой Шурой лучше было не связываться.

Она много такого рассказывала, во что Тим верил с трудом: уж слишком отличался мир, в котором жили его предки, от мира сегодняшнего.

Да, их дом всегда выделялся среди прочих, которые хозяева продали без сожалений, — а они свой отстояли.

Хотя, чего только не предпринимала строительная компания, чтобы завладеть им: и сваливала мусор у ворот, и перекрывала воду, и кипятила смолу с подветренной стороны, так что дым залетал в окна, но не тут-то было: бабушка, которая последние годы тихо грустила на пенсии, обретая новую цель в жизни, развила такую бурную деятельность, что им даже дали разрешение в мэрии на ещё один водоотвод, чего не удавалось добиться и в лучшие времена, когда был жив дед Тима.

Дом возвышался над рекой, с тыльной стороны его к реке сбегал крутой склон, поросший кустарником, а из окон мансарды летом были видны жёлтые отмели, на которые набегала пенная волна. Зимой, когда река замерзала, на ней колко искрился зеленоватый, как медь, лёд. Вдаль, по правую руку тянулся парк, усаженный липами, каштанами, орехами, голубыми елями и тополями, а на горизонте виднелся речной порт.

Двор был огорожен высоким забором, с кирпичными фигурными столбами, украшенными барельефами; летом его укрывали раскидистые кроны фруктовых деревьев, но зимой, когда листва облетала, и замёрзшие ветви звенели на холодном ветру, для жильцов верхних этажей весь двор был виден, как на ладони. Сад за последние годы так разросся, что ветви деревьев свисали через забор, и соседская ребятня с удовольствием лакомялась яблоками и сливами.

Тим заметил, что пока он отсутствовал, сливы уже осыпались, но ветви яблонь упруго клонились к земле, отягощённые сочными, сладкими плодами; в лучах вечернего солнца ярко сияла роса на траве, а по углам двора тихо стояли высокие сосны, на которых круглый год трещали вокруг своих гнёзд сороки.

Казалось, осень чуть дохнула, а деревья уже расцвели яркими красками.

«Как на картинах отца», — подумал Тимофей, вспомнив, что отец больше всего любил рисовать осень, находя особую прелесть в её огненно-рыжей красе.

— А-а, — вернулся! — Раздался за спиной возглас, и лягнула железная калитка. У входа стояла бабушка.

— Смотри, загорел как, а! Ну, чего улыбаешься, лучше бы помог бы...

Бабушка передала ему сумки, достала из ящика матерчатые перчатки, совок, и стала окучивать георгины, которые росли вдоль гравийной дорожки.

Шагая по хрустящему гравию, Тим подумал, что зря мама пригласила жить бабушку вместе с ними.

Бросив сумки с продуктами в зале, он поднялся в спальню; внимание его привлекла девочка, которая стояла на балконе соседней десятиэтажки.

В этот момент к подъезду с шумом и треском подъехал фургон с мебелью, сдал назад, и выворотил бордюр; из «Вольво», которое сопровождало фургон, хлопнув дверцей, выскочила женщина, в жёлтом сарафане, и накинулась на водителя:

— У тебя что повылезало! Боже, куда мы попали! — воскликнула она, озираясь по сторонам.

«Тоже мне царица-кикимора!» — подумал Тим, но его внимание вновь привлекла девочка, которая, помахав рукой, крикнула с балкона: «Мама!»

Ей пришлось встать на цыпочки, чтобы опереться о перила высокой лоджии, а потом она вдруг развернулась, взмахнула рукой, и сделала шаг в сторону Тима, как балерина.

— Артистка, — усмехнулся он, больше приоткрыл окно, и тут вдруг до него донеслось пение.

Девочка пела английскую балладу. Голос её отражался от высоких стен, как в рукотворном театре, где сводом служило небо, она так увлеклась пением, что совсем не замечала, что за ней наблюдают, улыбка не сходила с её лица, и Тим почувствовал, что вот сейчас она уйдёт, и волшебство кончится.

Только раз в жизни он испытал такое чувство, когда собирал с родителями в лесу грибы, и столкнулся с оленем. Он столкнулся с ним нос к носу; и олень, и он сам не успели сперва осознать, что случилось, и замерли на мгновение, разглядывая друг друга, и Тим успел рассмотреть его бархатистый нос, и влажные подрагивающие губы, и ветвистые рога. Олень грациозно поднял голову, и мелко



подрагивая кротким пушистым хвостом, прядал ушами, прислушиваясь к звукам, идущим из глубины леса; Тима он совсем не боялся, и продолжал спокойно жевать мох, который в изобилии рос в подлеске. На всю жизнь Тим запомнил этот «олений» взгляд, в нём не было испуга или изумления, в нём была спокойная грация красоты, и чистота, и готовность к прыжку и полёту.

Хрустнул рядом сучок.

– Тим, ты где? – раздался тогда вблизи голос мамы, и олень, насторожившись, гордо, с достоинством шагнул в росистый туман.

Неожиданно девочка, продолжая петь, обернулась, на мгновение их взгляды встретились, а потом она резко оборвала пение, фыркнула, и вышла с балкона, громко хлопнув дверью.

Именно тогда он заметил у ворот Веру, она сделала ему знак рукой, чтобы он спустился.

«Ну чего ей опять?» – удивился он.

– Выйди, дело есть! – позвала она, махнув рукой.

Они учились вместе с первого класса ещё на микрорайоне, а потом в один год перевелись в новую школу, и Верка всегда была рядом, где они только вместе не лазили.

Конопушки весело прыгали у неё на лице, и выгоревшие волосы летом оттеняли загар, но больше ничего примечательного в ней не было, она была такая, как все девчонки, пожалуй, только не дулась так, как другие, и всё время пропадала с мальчишками, а куклы – это было не для неё.

Тим привык к ней и относился, как к чему-то обычному, постоянному, тому, что всегда рядом.

«Вера? А, Вера...» – небрежно отзывался он, когда кто-нибудь из приятелей спрашивал о ней.

Правда, за последний год кое-что изменилось, непонятно почему, но иногда он испытывал странное томление в её присутствии, и это его и волновало, и будоражило, и требовало какого-то выхода, но какого, он ещё и сам не знал.

– Отец приехал, – произнесла Вера с придыханием, когда он спустился. – Подарок тебе привёз.

– Какой подарок?

– Идём, сейчас сам увидишь.

Когда они ехали в лифте, Тим вдруг почувствовал, как его потянуло к ней, но девочка смотрела на него ясно и открыто, её глаза сияли, и волна притяжения вмиг его отпустила.

Лифт поднимался очень медленно, и они не проронили ни слова, каждый думая о своём.

– А, привет, переплётчик! – протянул ему руку отец Веры и приветливо улыбнулся.

Этот прозвище он ему дал за то, что мальчик однажды собрал у них журналы «Вокруг света» и переплёл в мастерской за свои деньги, и теперь «подшивка» стояла в гостиной на видном месте, за стеклом старинной горки из красного дерева.

В гостиной, под антресолями, в нишах стенки были расставлены статуэтки, лежали всякие безделушки из цветного стекла и слоновой кости, скребки, наконечники копий, но всё это, на взгляд Тима, не представляло особой ценности, за исключением, конечно, монет.

Но то, что отец Веры показал Тиму на этот раз, стоило потраченного времени: маска была редчайшая, сделана из эбенового дерева, с особой раскраской. Это была ритуальная маска мага дождя – подобные маски находили французские исследователи в Судане, на границе Сахары.

– Откуда она у вас, дядя Андрей? – спросил Тим, рассматривая, как заворожённый, маску.

– Выменял у одного вождя на патроны.

– На патроны?

– Ну, у них там гражданская война, и мы помогали повстанцам.

– А-а, – протянул Тим.

Он продолжал с интересом вертеть маску в руках, а потом вдруг попросил Веру: «Примерь, пожалуйста».

Она приложила маску к лицу, и сквозь прорези в маске блеснули её глаза.

Только сейчас Тим впервые заметил, что глаза у неё – изумрудного цвета с золотистыми крапинками на радужной оболочке. Выгоревшие, светло-русые, белые, как крыло голубя, волосы, изумруд глаз и пастельно-коричневые тона маски с яркими разводами золота и охры, – всё это создавало удивительное впечатление.

Но самое замечательное было то, что ему показалось, будто маска вдруг ожила, исчезла её магическая суровость, её губы ожили и расплылись в полуулыбке.

Тим стянул с себя наваждение и восторженно протянул:

– Ве-ещь!

– Или? – подмигнул ему отец Веры. – Бери, дарю, тебе привёз специально.

Вскоре они сидели уже на кухне, и Тим с удовольствием жевал шербет, пахлаву и рахат-лукум, слушая рассказы дяди Андрея о жизни в Африке, маска лежала у него на коленях, но почему-то перед внутренним взором у него была не белая пустыня с песками, шатрами и караванами, а новый образ Веры.

Неожиданно у него зазвонил мобильный телефон.

– Тимофей, ты где!? Завтра же первое сентября! – без предисловий начала мама.

– Да, да, сейчас иду, – сказал он, поднимаясь.

– Вера, завтра же в школу!



– Ой, точно! Я совсем забыла, – прикоснулась пальцами к вискам Вера.

– Заходи, здесь тебе всегда рады! – положил ему руку на плечо дядя Андрей, когда Тимофей обулся.

– Доченька, – нежно притянул он Веру за плечи, когда за Тимом захлопнулась дверь. – Какая ты у меня уже взрослая... я тебя так люблю!

– И я тебя, папа, – прижалась она к нему, ощущая покой и умиротворение.

– Явился, не запылел! – услышал с порога Тим возглас бабушки, которая раскачивалась в кресле-качалке. Она приподняла голову, и Тим заметил, что она вновь сделала себе клубничную маску.

Бабушка наотрез отказывалась стареть, одевалась с шиком, красила волосы хной, и, по её словам, за ней приударяли ещё вполне состоятельные мужчины.

Своими нарядами она затмевала даже маму, хотя сделать это было несложно, мама в последние годы перестала обращать внимание на себя, в офис ездила в одном и том же деловом костюме, а по городу, в магазин, или к приятелям – в простенькой блузке, джинсах и сандалиях.

Мама была задумчива – прежде они всегда проводили последний вечер августа в семейном кругу, вместе с отцом; домработницу, тётю Настю отпускали, и готовили ужин сами, отец очень вкусно готовил мясо по-французски.

– Привет! – обронил Тим, заметив маму у плиты.

Повинуясь невольному порыву, он подошёл к ней и поцеловал её в щеку.

И та почувствовала в его робком поцелуе теплоту и нежность, и по привычке, сама поцеловала его сначала в затылок, а потом слева, за ухом, уткнувшись носом в рыжие вихры, которые пахли юношеским потом и морем, почему-то именно морем.

У него всегда, с раннего детства, волосы пахли морем: сначала тем особым, пронзительно-нежным запахом, которым пахнут волосики грудничков, а потом, лет с трёх, – именно характерным запахом йода, соли и водорослей.

– Привет, сынуля! Как ты загорел! – отодвинулась она.

Тим ловко закинул себе в рот кусок сухаря.

– Погоди, аппетит перебеёшь... – улыбаясь, мама слегка оттолкнула его.

Потом, когда они сидели на веранде и пили чай в сумерках, слушая, как затихает пение птиц, Тим вновь заметил девочку на балконе соседнего дома: она повесила на верёвку полотенце, привстав на цыпочки, и на мгновение задержалась, окинув взглядом двор. Тим попытался представить, кто она, и сколько ей лет, но когда он думал о ней, у него всё плыло перед глазами, и вытеснялось образом Веры в маске.

Это было странно, потому что он никогда прежде о Vere так много не думал.

И ужин, и весь вечер проходили спокойно и мирно, говорили мало, и каждый думал о своём. Бабушка, искося, с интересом поглядывая на него, удерживалась от замечаний. Мама была молчалива, задумчиво потягивая банановый ликёр. Но тень какого-то изменения уже коснулась их, впорхнула в их дом, как большая ночная бабочка, и, осыпая пыльцу с крыльев, начала носиться вокруг лампы.

На город давно опустились сумерки, но веранду по-прежнему освещала только одна лампа, и лица их постепенно таяли в полутьме, и они сидели тихо, не произнося ни слова, будто опасаясь спугнуть тишину.

Вскоре двери веранды перестали звенеть от шагов, бабушка похрапывала в шезлонге, пение птиц стихло, и тонкий серп молодого месяца закачался тихо в звёздном небе.

Тим задремал и медленно погрузился в тёплую воду сна. И вновь ему привиделась ночь, когда дедушка будил его на его первую рыбалку, и он с трудом продирает глаза, и, поёживаясь от холода, одевался, и шёл во тьме вслед за дедом к реке, которая маслянисто поблескивала в ночи.

Была весна, река разлилась, и когда они шли на лодке вдоль берега, было слышно, как с бульканьем отваливаются пласты земли, и рушатся песчаные наносы, а ошалевшая от весны рыба выпрыгивала из-под лодки.

Сидя на корме, Тим невольно опустил руку в воду и удивился, насколько она была тёплая; дедушка улыбался ему, налегая на вёсла.

Сперва они решили порыбачить в лагуне, укрытой вербами, но рыба ушла через протоку, и тогда они вновь направились к мысу, где рос камыш. На востоке медленно вставало солнце, и розовые блики дробились на воде, солнце было такое легкое, воздушное... и Тим смотрел на него, пока не поплыли радужные круги перед глазами, а потом отвернулся, наблюдая, как вода за кормой струилась, как расплавленное стекло, и почему-то спросил:

– Дед, скажи, а умирать больно?

И дедушка опустил вёсла, и не знал, что и ответить.

– Все зависит от того, как живёт человек, понимаешь?

– Нет, – взглянул на него Тим.

– Если человек живёт, как велит ему сердце, тогда смерть – это красивая белая кобылица, которая переносит тебя с одного берега реки на другой.



– Кобылица...

– Конь, кобылица, неважно... А если человек всю жизнь обманывает себя, обижает людей, тогда он тонет в этой реке, лошадь сбрасывает его. Однако, какие странные мысли приходят тебе в голову!

Но Тим уже не слушал его – он смотрел на розовые блики на воде, на оранжевый туман над рекой; плескалась волна о берег, река обдавала их шумом, сиянием, и ветром, но он не замечал ничего, он только видел себя на белом коне, с длинной золотистой гривой, который в долгом, умопомрачительно-долгом прыжке переносил его на себе через водяную бездну.

Как и всегда, в том году первое сентября пришло быстро и неожиданно.

У входа, перед зданием школы носилась с радостным визгом малышня, но вскоре всех стали сгонять на линейку, на которой выпускники должны были поздравлять первоклашек, а те с изумлённо-восторженными лицами дарить им цветы.

– Подымим? – предложил Тиму Митяй Селезнёв, необычайно шустрый и проворный для своей комплекции увалень, которого мало кто привечал, и каждый норовил дать ему под дых, «за плохо посмотрел», хотя он и играл в классе роль запасного шута, но Тим водился с ним из принципа, потому что противно, когда все на одного, и даже вступился за него пару раз.

– Ну, идём, – кивнул он.

Возле трансформаторной будки курили одиннадцатиклассники и ребята из параллельного 10-Б; несколько шпингалетов стояли на атасе, выглядывая из-за угла.

Все важно пускали кольца дыма и даже не взглянули на них, когда они подошли.

Но не успел Митяй достать из пачки сигарету, как вихрастый мальёк из 3-А, бросился ему в ноги, и с глазами полными ужаса прошептал: «Завуч! Вера Николаевна!».

В тот же миг завуч, а по совместительству учитель химии, возникла как из-под земли.

В сером балахоне с накрахмаленным воротничком, она наводила тоску, и вызывала у ребят то характерное чувство, которое испытываешь, когда нужно идти в зубной кабинет.

– Вот вы где, голубчики! Мало того, что курите, так еще общий сбор игнорируете! – несколько раз клацнула она своей акульей челюстью, – А ты, Ведянин, – бросила она робкому и бледному мальчику в очках с роговой оправой, – на медаль и не надейся, – уж я позабочусь.

– Вера Николаевна, – начал было хныкать тот, пряча за спиной окурок.

Но завуч резко оборвала его нытьё:

– Марш все на линейку! Живо!

Тим переглянулся с Митяем, и, вздохнув, они поплелись за остальными.

Когда они подходили, классная, вместо «здравствуйте», зашипела на них, как змея, тараша глаза, которые у неё от природы и так выскакивали из орбит.

Тим стал во второй ряд, подмигнул своему приятелю, футболисту Вовке Белову, который стоял в ряду слева от него, потом отодвинул локтем Кравца Олега, ловчилу, по кличке Крава, и приготовился слушать выступления, которые обычно по такому случаю выдают у микрофона учителя, заслуженные перцы, приехавшие на дутых Мерседесах, и директор, по кличке «черепа», у которого кожа так обтягивала лошадиное лицо, что, казалось, могла лопнуть в любой момент от напряжения, когда он кланялся и улыбался своим бывшим ученикам-богатеям.

Чтобы хоть как-то развлечься, Тим стал подбивать коленкой Селезнёва. Возникла потасовка, и классная шикнула на них.

В это время ещё один тип, вырядившийся отчего-то в чёрный костюм, брызгая слюной, восторженно распинаялся о бизнесе мусорщика, и вдруг его так понесло, что директор, почуяв неладное, стал делать знаки завучу, чтобы та остановила его.

С изумлением переглядывались молодые мамы и бабушки, держа за потные ладонки первоклашек, но парень, видать, совсем в раж вошёл, с упоением расписывая красоту городской свалки.

Наконец завуч, которая непосредственно отвечала за порядок и воспитательную работу, всё-таки вырвала у него микрофон, и, ощерившись, гаркнула:

– В первый раз – в первый класс! Дорогие мои! Ура!

А потом сунула микрофон директору, который, не уловив её намерений, невыносимо занудным голосом затянул околесицу про школьные достижения.

Именно в этот момент, оторвав взгляд от новых кроссовок, которые он обул, несмотря на протесты бабушки, Тим вдруг заметил её, ту девочку, которая пела на балконе. Она стояла вместе с их классом, рядом с Зинкой Сенцовой, первой сплетницей, которая всё обо всех знала, и с которой нужно было всегда держать язык за зубами.

Вслед за директором выступал ещё один лысый дядька, член местного дворянского собрания, он сыпал фразами типа «аристократия духа» и всё такое, но его уже никто не слушал, а тем более Тим, который исподволь наблюдал за новенькой.

Всё в ней было ладно: и ступня, и точёная лодыжка, изящный свод округлого бедра, и дальше-дальше... и нежный изгиб плеча, и лёгкий пушок на шее, и маленький прямой нос. Как зачарованный, он смотрел на неё, и вдруг кто-то толкнул его локтем, да так больно, прямо под ребра.



– Не спи, замерзнёшь! – ослабился Крава.

Передние зубы лопаткой делали его похожим на кролика. За глаза его в классе так и называли – «кролик» – ещё и потому, что он вечно жевал что-то, всегда был голодный.

– Да иди уже! – подтолкнул он Тима ко входу.

С шумом, гогогом и визгом школа медленно втягивалась в вестибюль, где паркет горел под слоем нового лака; пахло свежей краской, но ничто не могло заглушить запах хлорки из туалетов.

Протиснувшись к окну, Тимофей шлёпнулся на своё место, и бросил Светке Глобовой, волейболистке с большими руками, которая ещё вымахала за лето:

– Привет! Как ты?

– Всё супер!

– Понял.

За окном шелестел серебристой листвой тополь, макушка которого возвышалась над школой и была на уровне соборной колокольни.

Тим любил наблюдать, как течёт жизнь среди ветвей тополя: тогда и мысли у него выстраивались в стройный ряд, и на душе становилось спокойно и хорошо.

Вдалеке, за парком, золотилась долина реки. В речном порту сновали, пыхтя, буксиры. Иногда по уграм на ветвях трещали сороки, иногда ствол долбил дятел, и дробное эхо разносилось на весь школьный двор, сбивая с панталыку учителей, которым стук мешал сосредоточиться.

На тополе текла особая жизнь, которая была частью жизни Тима, его тайной. Конечно, когда в феврале, среди голых ветвей прыгало странное существо, белка-альбинос, которая ещё не успела сменить шубку, или когда, она, уже с пушистым рыжим хвостом, тащила в зубах бельчонка, спасая его от ворон в конце мая, это было развлечением для всего класса. Тополь рос вместе с Тимом, за пять лет вырос почти на этаж.

«Вот, – думал Тим иногда – в дереве течёт сок жизни, а во мне кровь жизни. Сок – кровь, разного цвета, но суть одна. И все мы зависим от солнца, амёбы, растения, люди, все мы – одно, целое и такое разное...»

Он не заметил, как вошла классный руководитель, Зоя Карловна, и, совершив ритуальное действие, все, с шумом, поднялись и вновь уселись.

«Карла» или «Карлуша», как её называли подхалимы-отличники сияла, как новый пятак, спровадив наконец, сына и невестку, которые в июле неожиданно свалились на её голову из Канады, и выпыгали всё, что было нажито непосильным учительским трудом, на лечение зубов. Пришлось ей, скрепя сердце, распечатать конверты, в которых, с любовью сложенные, хранились заморские денежки с портретом доброго дядюшки Бенджамин Франклина. «Ничего, скоро День учителя, да и на учебные пособия деньги надо уже собирать», – думала она, внутренне улыбаясь, и эта мысль согревала её сердце, и смутная полуулыбка теплилась у неё в уголках губ.

По случаю праздника, Карлуша навесила на себя всё фамильное золото: перстни, кольца, серёжки, и, счастливая, сияла, как рождественская ёлка, увешанная побрякушками. Но главная причина для радости была другая, – новая ученица, на родителей которой у Карлы были особые виды.

– Дорогие ребята, позвольте представить вам Виталину Ветрову, дочь бывшего посла в Венесуэле. Виточкин папа назначен губернатором в нашу область, и Вита будет учиться вместе с вами в нашем лицее.

Девочка стояла спокойно и с интересом разглядывала «зал», держалась просто и без ужимок.

Тим вспомнил брезгливую мину её матери и невольно поёжился.

– Ни фигя себе, жесьть! – присвистнул Селезнёв.

– Дмитрий! Пожалуйста, проявляйте сдержанность! – поджав губы, осадила его Зоя Карловна.

– Это для нас большая честь! – приподнялся и, усмехнувшись, развёл руками Юрка Куницын, смазливый, напомаженный тип, которому делали маникюр в салонах ещё с первого класса. Сын банкира, он был у Карлы любимчиком.

– Юрочка, ну зачем вы так, – нахмурилась она.

– А можно я буду тебя называть не Витой, а Аллой, – вновь подал голос Селезнёв, ему прощались многие выходки в отсутствие дружка Сявы, или Саввы, который не вернулся ещё от тётушки из Германии. Обычно они шутовали вдвоём. Их ещё иногда звали Добчинский и Бобчинский. Правда, в отличие от Саввы, которого называли в честь Саввы Морозова, миллионера, мецената и самоубийцы, Митяй слыл парнем с заскоками.

– Не вопрос, а тебя я тогда буду называть Сова, можно?

Девчонка оказалась не промах.

Митяй, с поглупевшим видом, примолк, захолопал ресницами, а Тим только сейчас заметил, что он действительно похож на сову, со своими жёлтыми глазами на плоском, как блин лице; и все тотчас заметили это, и класс грохнул, даже девочки, которые сперва настороженно встретили новенькую, даже Карла довольно хмыкнула.

И сразу Вита стала своей.

И Тим порадовался за неё, и огорчился, заметив, как лизнул по ней Куницын своим масляным



взглядом, и как благосклонно она оставила его реплику без ответа, и ещё больше проникся презрением к «парикмахеру», как он про себя называл его.

– Виточка, садись, пожалуйста, за третью парту, вот свободное место, – улыбнулась Карла новенькой.

– Зоя Карловна, здесь же Савва сидит, – возмущился было Митяй.

– А ты, сова, не гуди, – поддел его Васька Лысай, приятель Куницына, во всём ему подражающий.

Ростом он был невысок, угреват, и всегда действовал исподтишка.

– Угомонись, Селезнёв, – строго сказала Карла, – без тебя разберёмся.

– Ага, конечно, – пробурчал обиженно Митяй.

Девочка, высоко держа голову, прошагала к парте, за которой сидела тихая, как мышь, зубрила и отличница, ясноокая Лиза Яровская, которая всегда надевала водолазки, или обтягивающие блузки, чтобы подчеркнуть своё единственное достоинство – высокую грудь. Та, с готовностью, подскочила, посторонилась, и Вита заняла место возле окна. Когда она подходила, Тим намеренно отвернулся, и странный вопрос возник у него – «Интересно, что ей снилось там, в Венесуэле? И слышала ли она что-нибудь о последнем императоре ацтеков, Монтесуме Втором?».

В этот момент в класс не вошла, а, как всегда, влетела запыхавшаяся Вера. У неё была такая манера – не входить, а врываться в класс, что очень раздражало Карлу. Одетая она была в свои обычные джинсы и кроссовки, праздничной на ней была только белая футболка – и всё.

– Ох, Зочка Карловна, разрешите! Я отцу завтрак готовила, он только вчера из командировки вернулся.

Карла, не сумев скрыть недовольства, поморщилась и сухо произнесла:

– Вера, ты бы, для разнообразия, хоть первого сентября придумала что-то новенькое.

– Ну, извините, пожалуйста, я...

– Садись уже! – оборвала ее Карла.

Ей, конечно, не понравилось, когда пять лет назад ей на шею повесили это ярмо, нищенку и растяпу Веру Солнцева, у которой ничего за душой, кроме красивой фамилии не было, правда, директор её специально вызвал и проинформировал, что у девочки были покровители в штабе округа, и она смирилась, подумав: «Что делать, зато ведь можно, в случае чего, всегда сказать, вот, мол, смотрите, у нас учатся все слои населения, для нас все равны...»

Вера стремительно пронеслась по проходу, громко швырнула сумку на последнюю парту, подпихнула Витьку Зотова, который и сейчас зубрил английские слова в словаре, а что ещё ему было делать? Наверняка, натерпелся в детском саду ещё за свои уши-локаторы, которые росли у него лопухами абсолютно перпендикулярно черепу.

– Хай! – тихо бросила она Витьке, но тот только буркнул что-то в ответ, отодвинулся, и вновь уткнулся в словарь.

Сам не зная почему, Тимофей оглянулся, и Вера улыбнулась ему, но он не ответил, а невольно стал сосредоточенно разглядывать Ветрову.

И Вере отчего-то взгрустнулось, когда она заметила, как Тим смотрит на новенькую.

А Тим и хотел, но не мог оторвать взгляд от Виты.

Волосы у девочки были зачесаны наверх, и, обнажая длинную шею, лежали на голове тугим узлом, в ушах поблескивали сережки. Лёгкий терпкий запах духов и ещё чего-то неуловимого, душистого, пряного окутывал его, и ему вдруг захотелось поцеловать её в затылок, как целовала его иногда мама, и он вздрогнул, резко отодвинулся, и придавил пальцы Ритке Смелявской, организатору и сборщику податей.

– Ай, осторожней! – воскликнула та.

– Риточка, что случилось?! – воззрилась на неё Карла.

– Да Тимофей меня чуть не покалечил, – дула та на палец, чувствуя, как боль дёргает под ногтем.

– В голову ему видать опять что-то стукнуло, – съязвил Куницын, который недолюбливал Тима, – не мог забыть, как однажды тот при всех расквасил ему нос.

Причины-то особой для стычки не было. Просто, как-то в пятом классе, по науськиванию Юрки, мальчишки хотели сбросить котёнка по водосточной трубе, им было интересно посмотреть, что будет. Для котёнка могло всё кончиться хорошо, а могло и плохо, но Тим не позволил, вот Юрка на него и наехал, и Тим врезал ему всего два раза, один раз под дых, да ещё в нос попал, правда, кто ж мог предположить, что у Юрки такой слабый нос, кровинки потом было на снегу столько, что техничка, тетя Муся орала на всю школу: «Спасите! Убивают!». Она долго ещё потом охала и скрежетала лопатой, пока не счистила снег до асфальта. Юрку на носилках отнесли в медпункт пожарной части, через дорогу, хотя он вполне и сам мог идти, а Тима заперли в кабинете завуча. Тим хорошо запомнил, как Карла кричала на него, сверкая фиксой, когда пришёл отец, но отец её быстро утомонил.

– Правильно сделал! За такое сильнее бьют, и я бы ещё добавил! – ошарашил он её, обняв Тима.

И Карлуша, захлопнув рот, примолкла, и даже подняла в невольном жесте руку, когда ей вдруг показало, что отец шагнул к ней, сжав кулаки.

А потом ещё мама ездила извиняться к Куницыну-старшему, потому что недавно оформила кредит у него в банке, и дома был скандал.

– Ты мне ломаешь весь бизнес! – кричала она на отца, швыряя в него пуфики. – Тебе было всегда наплевать на меня, на семью, эгоист!



Хлопнув дверью, мама уехала в тот вечер к бабушке в город.

Хотя это было время, когда мама ещё хвалила отца, говорила, что у него талант. Тогда он расписывал Воскресенский собор, и у него была работа и деньги.

Правда, то, что он рисовал для себя, маме не нравилось. А бабушка так вообще обзывалась: «Мазня!». Особенно её возмущали скульптуры отца, которые она именвала не иначе, как «юродивые кочерыжки».

Тим с ностальгией вспоминал, как они часто гуляли с отцом по берегу реки, искали необычные камни, и отец показывал ему причудливые сучки, деревья, цветы и всегда спрашивал: «Скажи, на что это похоже?». И Тим придумывал всё, что только мог придумать и вообразить. А отец просил: «Ещё, ещё...». Это было — как игра. А потом он сам придумывал, и Тим всегда изумлялся, сколько у него в голове сидело всяких необычных штук и образов. «Смотри, а вот этот камень Куриный Бог, вот дырочка, видишь, а вот камень-гроза, видишь, как туча синевой набухает», — вертел он под солнцем синеватый кварц...

— Он же сын художника, от слова «ху-до», — хихикнул Лысай.

Тим резко обернулся и хотел уже ответить ему, но Карла умело предотвратила стычку.

— Лысай, — а ну прекрати сейчас же! Вы что, хотите мне сорвать первый урок?!

Несмотря на всякие выходки, Тимофей был ей полезен. Мама — успешная бизнес-вумен всегда жертвовала для школы, да и бабушка была не последний человек в городе. Карла хорошо помнила, как ей приходилось часами выстаивать у неё в приемной, а потом умолять, чтобы ей, наконец, в порядке очереди установили дома телефон, но, что поделаешь, такие были времена. К тому же, она не злопамятная. А мальчик ничего, выправится, мало ли что отец у него чокнутый, ничего, главное — нужно вовремя направить, а дальше, как миленький, сам пойдёт.

Спустя неделю Тим столкнулся с Витой в коридоре на большой перемене.

С визгом и криками мимо нёсся поток первоклашек, который сметал всё на своем пути. Он шагнул влево — и она влево, он вправо — и она вправо.

— Пропусти, ты что, в Англии? Не знаешь, что у нас правосторонне движение, что ли?!

Тим задохнулся и неловко отступил в сторону, и его чуть не сбил Лешка Федяев из 10-Б, которому в пору было работать вышибалой.

— Эй, полегче! — только и успел он крикнуть, вовремя отскочив. К счастью, его всего лишь крутануло, но он устоял на ногах. И она рассмеялась открыто, запрокинув голову, и этот смех ещё долго потом звенел у него в голове, не давал покоя, и всю ночь потом он ворочался, не мог уснуть, и никак не мог забыть фразу, которую она бросила ему напоследок:

— Тоже мне! Ещё один клоун для Солнца!

Очень скоро вокруг Виталины сформировался свой круг; каждый норовил примазаться к её славе, тем более что, по правде говоря, и сама она была не обделена талантами, объездила полмира, знала кучу всего интересного, в общем, была та еще кукла-принцесса.

А для их города, затерянного между Питером и Москвой, в местах, которые мало изменились со времён Радищева, с обшарпанными гостиницами и весёлыми забулдыгами на вокзале, с предместьем, где люди ходили летом в резиновых сапогах и питались одной репой, картошкой и грибами, а по вечерам пели на краю дремучей чащобы о счастье, прислушиваясь в тумане, наплывающем из леса, к шелканью аистов, которые гнездились на каждом столбе в округе, — для такого места Вита была вообще диковинка.

Да, вскоре возле неё стали увиваться и Ритка Смелявская, и Светка Глобова, и даже главный шут Савва, который по возвращении из Германии быстро сориентировался и с удовольствием посвятил своё шутство новой царице, забыв, что ещё недавно проходу не давал Ритке, а та его жутко ревновала теперь, но виду не подавала, видать, точила втайне ножи ревности.

Все признали её первенство, кроме Тимофея, Юрки Куницына да Веры. Всем своим видом они показывали, будто им было начхать, что у них в классе учится такая цаца.

А потом случилось одно примечательное событие. На День учителя каждый год в школе проводился конкурс на лучшую постановку пьесы Б. Шоу «Пигмалион». Старшеклассники с удовольствием играли комедию о том, как профессор научил говорить на правильном английском девушку из лондонского предместья, а потом и влюбился в неё. Тимофей обычно не участвовал в постановке: у него был едва уловимый дефект речи, он немного картавил, а когда волновался, начинал заикаться, и потому сторонился всяких публичных выступлений. Но надо же было такому случиться, что к ним в лицей прислали молоденькую практикантку, Нину Ивановну Шевченко.

С этого всё и началось. Нина Ивановна, на вид самая обыкновенная старшеклассница, была восторженной поклонницей современного театра. На первом же занятии она ошарашила всех, сложив руки домиком, как её учили на тренинге:



– Дорогие ребята, дома вы будете учить стихи наизусть, а на уроках мы будем постигать с вами искусство декламации.

Невысокая, чернявая, стройная, она произносила всё с пафосом, и особой аффектацией, будто на сцене.

– Сегодня мы с вами приступаем к изучению гениального русского поэта, Николая Алексеевича Некрасова, который замечательно изобразил красоту и духовную силу русской женщины.

Пока она молотила так отпетыми штатпами, воздев руки к небу, их штатный учитель-словесник, Лидия Павловна, с выражением глухонемой, блаженно улыбалась. Лидия Павловна проработала в школе почти полвека, от неё пахло старостью, а иногда, в самый неподходящий момент, выпадала челюсть, но её любили, потому что на её уроках можно было делать всё, что угодно, поэтому заявление практикантки вызвало у всех оторопь.

Первым не утерпел и высказался Селезнёв:

– А песенки под балалайку мы петь не будем?

– Зачем же, стихи музыкальны и так, – ответила учительница, сделав вид, что не уловила сарказма.

– Ясненько, – криво усмехнулся Митяй.

– А чё, мне нравится, заряжает, гы, – встрял Савва.

Задумчиво почесав затылок, он добавил:

– Некрасов – это «гут»: «Идёт, гудёт Зелёный Шум», – почти как зелёный змей, га!

И все грохнули.

Нина Ивановна покраснела, но совладала с нервами.

– Ребята, а давайте-ка почитаем замечательное стихотворение «Железная дорога», давайте!

– Девочка, может, ты хочешь? – обратилась она к Смелявской.

– Нина Ивановна, можно я в другой раз, – глухо обронила Ритка, умевшая извернуться.

Повисла долгая пауза.

– Может, Вы попробуете? – спросила она притихшего Савву. Разволновавшись, она стала путаться, и не зная уже, как и подластиться, стала обращаться то на «вы», то на «ты» к ученикам.

– Не-е-е, – заблеял сразу вспотевший Савва, стихи – не моё, вот анекдотик – всегда пожалуйста. . .

Поднялась Лидия Павловна, решив поддержать неопытного педагога.

– Нина, э. . . – затянула она, вспоминая отчество, потом неопределённо махнула рукой и заявила, – не стесняйтесь, вызывайте любого, открывайте журнал, и любого – прямо по списку!

Именно в этот момент Васька Лысай крикнул с места:

– Зодчев, Зодчев хорошо читает, вызовите Зодчева!

– Кто Зодчев? – завертела головой практикантка. – Зодчев, идите к доске!

Тимофей, который по привычке наблюдал за жизнью на тополе, сначала не понял, чего от него хотят.

– Зачем? – спросил он с отсутствующим взглядом.

А Нина Ивановна вдруг неожиданно для себя вспыхнула:

– Вы что, спали?!

– Да нет. . .

А тут ещё повернулась Виталина и выразительно посмотрела на него, мол, – «А ну-ка, давай, посмотрим, чего ты стоишь. . .»

Да и Лидия Павловна, нависая челюстью и брызгая слюной, всё время бубнила:

– А чего, Тимофей может. Да, Тимофей?

Растерянно озираясь, он вышел к доске. Практикантка сунула ему хрестоматию, буквы перед глазами так и плясали.

– С-славная осень. . .», – начал он, заикаясь, и остановился.

– Ну, продолжай, – подбодрила его молодая учительница, всем своим видом показывая: «вот, мол, я какая, вот как я умею».

– С-славная осень, з-здоровый, ядрёный, – вновь затянул, как пономарь, Тим.

– Да нет же, не так! – выхватила она книгу и сама прочитала первый куплет восторженно, нараспев, и немного гнусава.

И в третий раз у Тима ничего не вышло.

– Заело! – резюмировал Савва, разведя руки. А класс вновь разразился смехом.

– Тимофей, да что с тобой? Ты плохо себя чувствуешь? – поинтересовалась озабоченно Лидия Павловна, невольно сама раздражаясь. Ей было неприятно, что у коллеги так неудачно складывался первый урок.

– Мне бы в туалет, по-маленькому, облегчиться нужно. . . – обронил Тим и добавил, повернувшись к практикантке, – да не волнуйтесь вы так, а то на вас лица нет.

– Что-о?! – опешила та. – Если вам нужно, т-так скажите и выйдете! – запнувшись, истерично выкрикнула она.

Класс притих, в предвкушении скандала, но Тимофей только кивнул и с трясущимися руками вышел в пустой гулкий коридор. Он и сам не знал, зачем так повёл себя, но что-то уже несло его, крутило, и с этим уже ничего нельзя было поделать. Из школы он побежал к реке и вскоре, неожиданно оказался на гребной базе.



Эллинг были открыты, он переоделся в каптёрке и спустился к бону. Несколько моторных лодок пронесли к островам, пока он устанавливал байдарку на воду.

День был солнечный, но вода отливала свинцом, и была по-осеннему лёгкая и прохладная.

Водоворот под железнодорожным мостом Тим проходил десятки раз, и всегда течение сначала швыряло байдарку у опоры моста, а потом выбрасывало из водоворота, если вовремя подгрести и поставить весло на баланс, но в этот день он зазевался, весло неожиданно скользнуло о кокпит, потом о деку, лодка под ним шарахнулась, и, не успев затабанить, он вывернулся.

Вода обожгла грудь, дыхание перехватило, вокруг ни души, а из-за поворота с глухим рокотом показался буксир и дал короткий гудок.

«Зелёный шум... зелёный шум...», — гулко стучало у него в голове. А водоворот медленно закручивал его вместе с байдаркой, притягивая к середине воронки, буксир приближался на всех парах и гудел, не переставая...

Неожиданно поблизости раздался треск мотора, подлетела казанка, крутанувшись вокруг него.

— Давай, давай! — кричал ему тренер.

И вот уже сильные руки схватили его за шиворот, рванули наверх, ещё мгновение, и он перевалился в моторную лодку.

Тренер орал ему что-то, но он ничего не слышал, теперь оглушённый и ослеплённый страхом.

Вечером, когда он вернулся на базу после кросса, заметил, что на боне его дожидалась Вера.

Она задумчиво смотрела на воду, поджав под себя ноги, и бросала время от времени камешки в реку.

— Карла родителей твоих в школу вызывает.

— Да ну её, достала! — махнул он рукой.

Вера замялась, будто собираясь что-то ещё сказать, но передумала. Она вздохнула, поднялась по трапу, и уселась на тумбу возле стоек для лодок.

— Сумка твоя в раздевалке, — обронила она, когда он выходил из эллинга.

Он только кивнул, даже не поблагодарив его.

Домой они возвращались вместе, и Вера, искоса с любопытством поглядывая на Тимофея, думала: «Странный он мальчик, — на дискотеки не ходит, руку на уроках не поднимает». Но всё это её мало тревожило. С удивлением она призналась себе, что иногда ей хотелось прижаться к нему, и почувствовать, как он обнимает её, и от этого у неё дух захватывало. «Да только нравлюсь ли я ему? — спрашивала она себя, — а тут ещё в классе появилась эта расписная кукла, все мальчишки запали на неё...».

Вера вздохнула и тихо позвала:

— Тим!

— А?

— Я давно хотела тебе сказать...

Он остановился и внимательно разглядывал её загоревшее лицо.

Неожиданно пахнул ветер и принёс терпкий запах прибрежных трав. Вдали гасла река, сливаясь с фиолетовым небом, лучистое око закатывалось за край земли... И он подумал, как это странно и необычно, что о нём заботилась девочка, его сверстница, только мама заботилась о нём так, и он хотел поблагодарить её, но его смущал её прямой взгляд, в котором было что-то совсем новое для него, — вопрос, на который он не знал, что ответить.

— Тим! — послышалось вдруг в сумерках.

— Папа?!

К ребятам подошёл худощавый мужчина в рабочей спецовке, с выдавшим виды рюкзаком на плече, в котором что-то звякало.

Лицо у него было небрито, щёки запали, глаза блестели, а руки были в краске.

— Привет, сынок! Гуля-ешь? — протянул мужчина со значением и подмигнул Вере. — А я вот малярию теперь, довольно занятная штука.

— Можно подумать, — буркнул уныло Тим.

— Да, ты прав, конечно, картины писать веселее. «Учись, мой сын: наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни...», — хлопнул он Тима ободряюще по спине.

У Веры зазвонил мобильный.

— Ну, как ты? — хотел провести отец по рыжим вихрам Тима, но тот невольно отпрянул, ему была неприятна сейчас фамильярность отца.

Подошла Вера и сказала, извиняющимся тоном:

— Мама просит, чтобы я зашла в аптеку... купила лекарство.

— Надо, так надо. Иди, иди, лапушка, — великодушно отпустил её отец.

— Я пойду, Тим, ладно?



И вновь встрял отец:

– А хочешь, я покажу тебе свою мастерскую?

Вера замялась и просительно взглянула на Тима.

– Нет, нет, спасибо, в другой раз.

– А меня, кстати, зовут Павел, – бросил отец, – а вас как, мисс? Мой непутёвый сын таки забыл нас представить друг другу! – орал он ей вдогонку.

– Вера! – откликнулась она.

– Вера! Да, вот чего нам всем не хватает, – да, сынуля? – обнял он Тима за плечи.

– Пожалуй, я тоже пойду, – попытался высвободиться Тим.

– погоди, побудь со мной немного, мы так давно не виделись...

Мастерская, которую отец называл «бункер», представляла собой несколько клетушек в подвале пятиэтажки. Когда-то здесь находился офис упразднённого ЖЭУ, о чём свидетельствовали плакаты над дверью: на одном рабочие в синих спецовках крутили гайки разводными ключами, на другом – девушка в красном платке, с огромным молотом на плече и лицом римского легионера, шагала «вперёд к коммунизму».

Несколько лет назад помещение приватизировал одноклассник отца Леонид Минкин. Последние годы дядя Лёня, как его называл Тим, успешно загорал на пляжах Хайфы, пока его шустрые «дилеры» сбывали товар в родном городе. Мастерскую он сдал отцу за «мизерные», по его словам, «цуци», и не только из любви к искусству. Дядя Лёня, круглый, весёлый, подвижный, гугтаперчевый, как мяч, в отличие от бабушки и мамы, вовсе не называл то, что рисовал отец, «мазнёй», но даже купил несколько картин «на свой страх и риск», а самое удивительное было то, что как-то, бродя по интернету, Тим обнаружил эти работы на открытом аукционе в Ганновере, и начальная цена, за которую они были выставлены, поразила его.

Но когда он заикнулся об этом отцу, тот отмахнулся:

– А, мало ли! Какая разница...

На стеллажах в низком, слабо освещённом помещении стояли миниатюры из камня, металла и керамики. Однажды Тим слышал, как бабушка в сердцах выговаривала маме, когда вертела в руках подобную статуэтку: «Болванка какая-то... и на что только твой муженёк время тратит! Другие мужья, как мужья, деньги в дом приносят, о детях заботятся, старикам-родителям помогают, а этот непонятно что, охламон!».

Но, кто бы что ни говорил, а станковые работы отца Тиму нравились, хотя графику он любил больше – отец рисовал одной линией, не отрывая руку от холста. Это было удивительно, рисунок рождался на чёрном холсте, как музыка солнца на чёрном бархате ночи, несколько мгновений и на чёрном фоне начинали золотиться в путаных линиях лики или образы людей, или животных.

Зато живопись отца – это хаотическое нагромождение цветных пятен, сквозь которые трудно было что-то разглядеть, – он не понимал. Но вот, что удивляло Тима больше всего: на некоторые картины хотелось смотреть вновь и вновь, они что-то в нём раскрывали, волновали, будоражили, а что именно он и сам не знал, а отец только посмеивался и ничего не объяснял.

В помещении стоял затхлый, спёртый запах сигаретного дыма, табака и чего-то кислого, типа уксуса. На полу валялись куски резаного картона, тянулись провода сварочного аппарата, а сам агрегат и кислородные баллоны находились у противоположной стены. На ящике из-под фруктов лежал кусок мрамора, на котором отец вырезал портрет Николая Угодника для надгробия, и Тим подумал, что дела у отца, видно, шли совсем туго, раз он взялся за такую работу. В углу стояла бронзовая скульптура «Сны Монтесумы» – три бронзовых боба, покрытых зеленоватой патиной, венчали друг друга; скульптура была высотой под самый потолок.

Тим заглядывал к отцу почти каждый месяц, и всё ему здесь было хорошо знакомо. И всё же, по каким-то неуловимым признакам, он почувствовал, что кое-что в мастерской изменилось.

– Я сейчас, посиди пока, – кивнул на диван отец, а сам направился в угловую комнату, нервно подергивая плечом, – привычка, которая у него появилась недавно. Тима удивило, что отец непривычно тихо ходил и разговаривал. Обычно он шумно двигался и говорил, хлопал дверью, бросал рисунки на стол, всегда громко читал ему письма Ван Гога брату, которые считал лучшей литературой. Многих это коробило и раздражало, но Тиму наоборот нравилось, нравилось, что отец никого не боялся, и никогда никому не кланялся. «Кланяться нельзя!» – висел у него девиз над чертёжным столом.

– Па, ты куда? – спросил Тим.

– Тсс... – приложил тот палец к губам.

А потом вдруг из-за двери раздался крик ребёнка.

Тим чуть не подпрыгнул от изумления, а отец махнул ему рукой, подзывая.

В угловой комнате, на широкой расстеленной кровати сидела бледная женщина, которая кормила грудью младенца, она их не стеснялась, и не прикрывала грудь отцовским халатом, в который была одета.



Тим почувствовал, как у него мгновенно вспотели руки, а во рту пересохло.

– Инна, это мой сын, Тимофей, – прошептал отец, улыбаясь. – Ну, как вы?

– Животик болит, – приветливо улыбнулась женщина, кивнув на малыша, который безмятежно сосал грудь, постанывая и причмокивая.

Когда они вышли, Тим вопросительно взглянул на отца.

– Инна – моя натурщица, её бросил один проходимец, вот и живёт пока у меня, – пояснил тот.

– А-а, – протянул Тим, всё ещё пребывая в недоумении. – А я думал, у меня уже есть братик.

– Или сестричка? Ха, – чмокнул его в ухо отец. – Идём, покажу кое-что, – позвал он с заговорщицким видом и неожиданно сдёрнул тряпку с холста, который стоял у стены. Тим вздрогнул.

На фоне розовеющих вдали холмов и фиолетового предгрозового неба, в шезлонге на террасе виллы, в белом полуоткрытом платье, сидела мадонна с младенцем. На картине всё было предельно реалистично, за исключением подбора красок и необычной манеры накладывать на холст краску. Но потрясала не только сама манера, а именно то, что в облике мадонны, в её полуулыбке, проступала улыбка мамы, а в лике младенца угадывался сам Тим. Внутри у него что-то сжалось, а потом отпустило, а потом вновь сжалось.

«Отец всегда будет любить только меня и маму, и больше никого, никого... никогда», – подумал он. Как замороженный, он смотрел на мадонну с младенцем, а отец стоял рядом, думая о чём-то своём. И Тим почувствовал себя утомлённым и тихо произнес:

– Па, я пойду, а то уже поздно, – он поцеловал отца в щёку, а потом вдруг поцеловал ему руку.

Тот удивлённо отстранился.

– Ты чего, сынок?

– Что маме передать?

– А скажи, что у меня всё в порядке, сам видишь.

– Ладно, а что это за ранка у тебя на губе?

– Та, обжётся сигаретой, наверное. Ничего, скоро заживёт.

Он обнял Тима, а потом уселся перед картиной, и стал что-то подправлять, макая кисть в краски, и точно и быстро ударяя ею по холсту.

Было далеко за полночь, когда Тимофей вновь оказался на улице.

Сияла луна, у реки догорали костры, и ветер приносил горьковатый запах дыма.

Он решил сократить путь домой через городской парк; парк был заброшенный, через него и днём-то опасно было ходить, но он смело шагал по пустынной аллее. Смутные фантастические тени деревьев преграждали путь, но он не обращал на них внимания, после общения с отцом он чувствовал, как яркая энергия плескалась в нём, отменяя любой страх.

Так он шёл довольно долго, когда вдруг услышал странный рык со стороны городского рынка. Тим остановился и перевёл дыхание, тишина звенела в ушах. Немного постояв, он двинулся дальше. Когда он пересёк площадь возле Дома культуры, то понял, в чём причина.

В обычном вагоне на колёсах, за решёткой метался тигр. Время от времени он вскакивал и грозно рычал, рядом в фургоне сидел бурый медведь. При свете уличных фонарей медведь казался неестественно огромным, он шумно сопел и старался просунуть морду через решётку.

«Видно, приехал цирк...», – подумал Тим, остановившись у разделительного барьера.

В последнем фургоне сидели медвежата, им оставили для вентиляции маленькое окно, и они громко сопели, тычась в него мордами, и в свете фонарей поблёскивали их недоумённые глаза.

– Веселенькая у них жизнь, – усмехнулся он.

Тигр разволновался и вновь зарычал, из «дежурки» выглянул охранник и недовольно бросил ему: – Шёл бы ты домой, парень, зверям тоже отдых нужен.

– А чего у этих такой фургон? – кивнул Тим на фургон с медвежатами.

– Не знаю. Цирк частный, что хотят, то и делают. Им-то что, главное вернуть бабки, а зверей потом, когда они выдохнутся, или заболеют, продают в зоопарк, или усыпляют, или вообще бросают по дороге, в лесу, а после жизни в неволе зверь уже вряд ли там выживет... ладно парень, иди уже, а то родители, наверняка, обыскались.

– А усыпляют, это как?

– Ну, отвозят в больницу и делают укол, и душа медведя тью-тью, летит к той медведице, что на небе, ясно? – показал он на небо, где сияли фигуры созвездий.

– Ясно, – кивнул Тим, раздумывая, что будет, если выпустить зверей на волю.

Мама ещё не спала, она стояла на веранде и курила у открытого окна. Когда она затягивалась, огонек сигареты освещал её лицо.

– Привет, ма, – подошёл он и поцеловал её в щеку.

Она погладила его по вихрам.

– Мама, – позвал он тихо, и склонил голову ей на плечо, вдохнул запах её тела и духов, и ему стало спокойно и хорошо.

Он не мог объяснить почему, но он хорошо помнил тот вечер, когда мама держала его на руках,



крепко прижимая к себе, и целуя, завёрнутого в красное, стёганое ватное одеяло, и над головой сияло звёздное небо, и он до сих пор помнил первый снег, который сыпался ему на лицо, и запах сырой земли сада.

– Зоя Карловна звонила, жалуется, что ты перестал учиться, постоянно дерзишь, а сегодня даже сорвал урок.

– Я?! – зашёлся от возмущения Тим, высвобождаясь. – Она так сказала?!

– Да, она так сказала, – повторила мама, с тревогой заметив, что он всё больше начинает походить на отца, и в сердце у неё кольхнула нежность. – Значит, это неправда? – вновь погладила она его по волосам.

Тим отрицательно покачал головой.

– Ты уже совсем взрослый, – голос её дрогнул.

– Мама, почему папа ушёл от нас?

Тим отодвинулся от неё, и даже сейчас в ночном сумраке веранды заметил, как её глаза подернулись влагой, и пожалел, что задал этот вопрос.

– Понимаешь, люди живут вместе, пока любят друг друга, а когда перестают любить, тогда расходятся.

– А разве ты сейчас папу не любишь? И разве он не любит тебя?

– Наверное, я люблю, и он любит, но ему моей любви уже мало.

– Мало?!

– Сейчас ты этого не поймешь, вот старше станешь, тогда и поговорим.

– Ладно уж... мало, много, вас не поймешь. По-моему, любовь либо есть, либо её нет, разве не так?

– Да, может и так...

Ночью он ещё долго не мог заснуть.

Серебристый шар в небе всегда мешал ему засыпать, и ещё очень долго он чувствовал запах сигаретного дыма, который просачивался через приоткрытую форточку, и он всё лежал, смотрел в потолок, и думал, как это возможно, что люди, которые любят друг друга больше всего на свете, расстаются.

Он долго не мог заснуть в ту ночь, не веря в то, что любовь кончается, а потом веки отяжелели, и сон всё-таки сморил его.

В тот год октябрь выдался сухой, тёплый, и ласковый. В парках возле реки летала паутина, и однажды он даже видел бабочек!

У самой воды ивы и вербы, укутанные ярко-жёлтой листвой, стояли заворожённые, отражаясь в зеркале реки, и что-то тихое, нежное таяло в прозрачном воздухе, окутывая всё вокруг мягкими, серебристыми всполохами. Что-то тревожное, тайное кружилось над ним, тихо рассеиваясь в тёплом октябрьском ветре над рекой, прячась в дальних, синееющих уголках пустынных парков, смешиваясь с терпким запахом прели и палой листвы, что-то тревожило его, тонко-тонко касалось самой дальней, самой тайной дали в нём, в мире, в осеннем зыбком сиянии. А потом над рекой поднялся ветер, нагнал облака, и он просыпался иногда по ночам, прислушиваясь к шороху дождя и к тому, как стучит его сердце.

Постепенно ежедневная рутинка, школа, дом, тренировки отодвинули на задний план всё остальное. С практиканткой он помирился, и даже выучил наизусть «Железную дорогу», а потом настроился, и прочёл стих так, что в классе все онемели Лидия Павловна, расчувствовавшись, вдруг поцеловала его, и, со слезами на глазах, ушла с урока переживать наедине своё потрясение, а Нина Ивановна растерянно улыбалась и говорила невпопад почти до самого звонка.

На радостях она даже предложила ему сыграть роль оленя в будущей новогодней постановке «Снежная королева», и он согласился, тем более, что Герду должна была играть Виталина, а роль Кая дали Куницыну, это вышло как-то само собой, потому что этот тип был невысокого роста.

Тим просил, правда, хотя бы роль принца, или на худой конец Ворона, злого тролля, он готов был сыграть даже роль матери разбойницы с бородой, но Нина Ивановна заявила, что для этих ролей нужна особая мимика, а у Тима слишком простое лицо, и роль оленя для него в самый раз.

– Что ж, – подумал Тим – олень так олень, всё равно.

Хотя ему было немного обидно, что даже Вере предложили роль маленькой разбойницы, чего мало кто ожидал; правда, кому как не ей было играть эту роль, – себя изображай и всё.

Однажды на перемене к Тиму подошла Ритка Смелявская, которая теперь была на посылках у Виталины, и, оставив на него бесцветные глаза-устрицы, спросила таинственным полупшепотом:

– Ты знаешь, что у Виты в воскресенье день рождения, её предки сняли ресторан «Алые паруса», ты в списке приглашённых, придёшь?

Тим невольно замотал головой, а потом кивнул.

– Так да, или нет? Ты что, язык от радости проглотил, что ли? Тоже небось, в Витку втюрился, да? Все вы одинаковые, помашешь красивой обёрткой, и ап, – уже и ручные.

– Неужели?



– А разве не так?! Вот оденусь в «Дольче Габбано», посмотрим ещё, как ты запоёшь!

Тим пожал плечами.

– Хорошо, я буду. На подарок скидываемся?

– Нет, конечно! Сам, сам придумай, что подарить девочке. А потом все едут на дачу за городом.

Ну... кому родители разрешат, – вздохнула она.

Тим пригляделся к ней и подумал: «Такие всегда у красивых на побегушках».

Подошла Вера и уселась рядом на подоконнике.

Ритка ещё раз вздохнула, зыркнула на Веру исподлобья, и пошла дальше разносить приглашительные.

– Пойдёшь? – повернулась к нему Вера.

– Да, а что?

– А меня вот не пригласили, но я и не парюсь.

Тим уловил обиду в её голосе, но промолчал, испытывая странное волнение.

Когда Тим приехал в ресторан «Алые паруса», веселье было в самом разгаре; из спиртного на столе было только пару бутылок «Шампанского» и несколько бутылок французского вина, но и этого было достаточно, чтобы молодёжь, как заметил отец Виталины, «отрывалась по полной».

Виновица торжества, вся в розовом органди, с блестящими счастливыми глазами, восседала во главе стола, рядом с ней на полу стояли огромные хрустальные вазы с цветами, по бокам сидели с постными лицами два тамады Савва и Митяй, которых оставили без дела лучшие аниматоры города. Тим часто видел их размалёванные лица на ободранных плакатах, развешанных на остановках. В жизни эти массовики-затейники выглядели гораздо хуже, но зато умело компенсировали потрёпанность целым набором стандартных фокусов и прибауток.

Родители Виты скромно сидели по левую руку от неё.

Отец – невысокого роста, тонкокостный, лысеющий блондин, карьерный дипломат в отставке – скованно улыбаясь, поглядывал на золотые часы «Ролекс», досиживая время, которое ему, видимо, предписала жена, дородная матрона, с замашками солдафона.

Она первой заметила выглаженного Тимофея и заорала:

– Виточка, а вот ещё один кавалер! Смотри, какой букет тащит, га!

Тим долго ломал голову над тем, что подарить Вите, потому и опоздал, но потом решил, не мудрствуя лукаво, купить красивый букет из семнадцати роз, и модную книжку «Подстрочник», которую ему посоветовал продавец, сказал, что все покупают.

Чувствуя, что заливаётся краской, он прошёл через пустой сверкающий зал, с росписями и гобеленами на стенах, а ля Грин и Айвазовский, и добавкой всякой дешёвой пеструшки, и, подойдя к Виталине, разом выдохнул заранее приготовленную фразу, и бухнул ей в руки букет, – хорошо вовремя подоспел охранник, а то девочка бы его не удержала.

– С днем рождения, солнце!

Тим хотел произнести эти слова громко, и ещё что-то добавить, но так засмутился, что услышала их только Вита, да те, кто сидел рядом, включая Куницына, который, криво усмехнулся, заглывая, как аллигатор, ломтик красной рыбы.

– Громче, громче! Чтобы все слышали! – заорала мама Виты таким ором, что все мгновенно умолкли, а Тим смутился ещё сильнее.

Вита стояла, смотрела на него вопрошающе, улыбаясь, а он молчал, не осмеливаясь повторить, то, что он сказал. Молчание становилось настолько неловким и нестерпимым, что он готов был уже провалиться сквозь землю, и, наверно, провалился бы, если б его не спасла Глобова, – возле неё было свободное место в конце стола, и она позвала его.

– Тимофей, иди к нам!

Тим ей благодарно кивнул и, ничего не замечая вокруг, подошёл и плюхнулся рядом.

И только тогда мама Виты вновь гаркнула:

– Ну, чего смущаешься, парень? Смелость города берёт, да, Василий?

Она пихнула локтём своего мужа, и тот, поперхнувшись шампанским, интеллигентно улыбнулся, вытер платком лысеющий лоб и, с несколько принуждённым видом, сказал:

– Да, милая.

Затем он, деланно нахмутив брови, взглянул на часы и, вздохнув, добавил:

– Ну что, дорогие мои, вы празднуйте, а у меня ещё работа, помощник президента на днях приезжает, дела...

– Поезжай, Васенька, поезжай, – погладила его жена по рукаву пиджака.

Васенька поднялся, подошёл к смущённой дочери, ловко поцеловал её в щеку, изящно, по-дипломатски поклонился всем, и вышел в сопровождении охранников, которые своими лицами матёрых уголовников наводили на всех уныние и тоску.

– Ладненько, я тоже пока отлучусь, пойду, посмотрю, что у нас на горячее, – поднялась мама Виты, – а вы гуляйте, да не шалите! – помахала она шутливо пальчиком.



В этот момент ди-джей, специально выписанный по такому случаю из столицы, который уже вконец истомился, настроив аппаратуру, врубил микс хип-хопа, рэпа и кислоты, да так громко, что все подпрыгнули, погас общий свет, и на потолке и на полу закружились радужные лучи, воздух замерцал разноцветными – ультрамариновыми, золотистыми, фиолетовыми бликами, музыка резко ударила по мозгам. Все, как по команде, выскочили на площадку между столами, перед возвышением, где кривлялся этот ди-джей Макс в наушниках и с причёской умалишённого, и начали дергаться, будто к каждому подключили напряжение в 220 вольт, выделявая немислимые па и пируэты всеми частями тела.

Особенно выделялись Савва и Митяй: один стал вертеться на лопатках, и все хлопали ему, как угорелые, а другой чуть ли не на голову встал, но потом решил, что будет достаточно просто поломаться в стиле гремучки.

Все уже давно танцевали, а Тим всё ещё сидел один за столом. Он едва пригубил из бокала, Куницынская шобла была здесь на первых ролях, и ему было не до веселья. «Зря я сюда припёрся», – думал он и уныло ковырял вилкой в греческом салате, пытаясь наколоть маслину, а она всё время выскальзывала, потому он и не заметил, как к нему подсел Вита, и когда он услышал её бархатный, вкрадчивый, мурлыкающий голос рядом, у него всё сжалось внутри.

– Разве ты не танцуешь? – спросила она, с интересом разглядывая его и обмахиваясь руками.

– Да... пока нет настроения.

– Идём, – потянула она его решительно за руку.

В этот момент заиграл блюз; хриплым голосом, певец пел по-английски о том, что деревья зелёные, а небо голубое, и мир прекрасен. Голос проникал в самое сердце, и Тим почувствовал, что по телу у него пробежала дрожь,

Вита была хрупкая и невесомая, как перышко.

Он осторожно держал её за талию, боясь уронить.

– А ты хорошо танцуешь, – улыбнулась она.

– Угу.

– Все говорят, что ты выдумщик и остролов, а я что-то не заметила.

– Меняю квалификацию. Отгачиваю ремесло мыслителя.

– Шура, так вы мыслитель?

– Когда не смотрю на себя в зеркало.

Тим рассмеялся, ему стало легко.

– Поедешь на дачу?

– А чего же, конечно.

– Я рада, что ты пришёл, – вновь она улыбнулась открыто и ясно.

Но трудно было понять, адресована ли была улыбка только ему, или это дежурный «смайл» для каждого, хотя сейчас ему было всё равно.

Краем глаза он заметил, что многие уже сидели за столом, а Куницын шептался с Лысаем и Щербатовым. Но ему было всё равно, он, кажется, танцевал бы и танцевал.

И вовсе Виталина была не задавака, и не суперстар, он даже уловил какое-то беззащитное выражение у неё на лице, или ему показалось – кто знает, кто знает? – но главное, он вдруг почувствовал, что сейчас, в это мгновение, между ними устанавливается особая связь, особое понимание, без слов, когда двое становятся как одно, и больше, и много больше, и он продолжал кружить её, кружить, как ветер снежинку, и она всё не таяла, не таяла...

На дачу они приехали далеко за полночь, и почти в том же составе, в каком были в ресторане, уехала только вздыхающая Ритка.

Мама Виты была с ними до самого отъезда, контролировала ситуацию, так сказать, но Митяй сумел таки где-то наклюкаться, и его выводили облегчиться, а теперь он лежал на диване в прихожей и тихо постанывал.

Тим плохо помнил, как они добрались на такси за город, потому что для храбрости выпил бокал французского «одеколона», вина, которое отдавало жжёной пробкой и зубной пастой «Лакалут», и ещё – шампанского, и теперь волна эйфории несла его, и все ему казались красивыми, и всё казалось красивым, невесомым, доступным.

На даче у Виты, кроме трехэтажного здания в стиле готического замка, была ещё куча всяких построек. Весёлой гурьбой, с шумом и криками они ввалились в ту, что примыкала к подземному паркингу.

Это был двухэтажный дом с плоской крышей и с множеством одинаковых комнат на втором этаже, как в гостинице; на первом этаже был холл, с овальным столом посередине кожаными креслами и диванами вокруг. У входа находилась кухня-студия, где на стойке стояла куча всяких разноцветных бутылок и подносы с бутербродами с красной и чёрной икрой, ветчиной, красной рыбой, манго и авокадо, на столе же в холле стояли бутылки шампанского, минеральной, столовой воды, и стаканы.

В тот вечер Тим больше не танцевал с Витой, почти всё время она была в руках Куницына. Ди-джей



Макс крутил свои пластинки и здесь, он очень старался, и сам даже запел однажды, правда, лучше бы он молчал, потому что скорее это напоминало бляенье, но многим уже было всё равно.

Неожиданно музыка оборвалась, и Глобова, с которой танцевал Тим, ушла припудриться, а он, сняв пиджак, откинулся на диване, налил себе в бокал шампанского и отхлебнул, наблюдая, как Куницын держал Виту за руку, нашёптывая что-то ей с плотоядной улыбкой.

Вскоре Глобова вернулась, уселась рядом, и кокетливо заправив прядь волос за ухо, по своей обычной привычке, коснулась его руки.

– Слушай, ты что, таки в неё втрескался?! Умоляю, не будь как все! Подумаешь, пупсик из Амстердама, от горшка два вершка, коротыха из Люберец.

Тим промолчал и отодвинулся, потому что от неё жарило, как от печки, и ещё пахло чем-то горячим, душистым, женским, и это его будоражило.

– Да перестань ты глазеть на них, шею свернёшь. Нужен ты ей больно, да и Куница тоже зря старается, пролетит, как фанера над Парижем.

– Думаешь? – повернулся к ней Тим.

– Сто пудов! Зачем ей провинциалы? Она столичная штучка, учебный год закончится, и укатит в Москву, в элитный колледж, а то и в Лондон отправят, ты же видел её мамашу, уж эта своего не упустит! Слушай, давай свалим отсюда по-тихому, а? – предложила она, заглядывая ему в глаза.

– А дома-то что делать, к урокам готовиться?

– Не нравится мне здесь, они сами по себе, мы сами, все чего-то шушукаются.

Тим скользнул взглядом по её нескладной фигуре, и ему стало её немного жалко.

– Я сейчас, только выйду на минутку.

– Угу, – буркнула она недовольно.

Тим потерял из виду Куницына и Виталину и теперь, повинувшись какому-то наитию, вышел во двор.

Воздух был свежий, и осенняя сырость пробирала, но он не стал надевать пиджак, а, разгорячённый, подался на задний двор, откуда доносилось тихое журчание. У высокой каменной ограды стояла беседка, сделанная из ажурного металла, возле неё тускло помигивал фонарь, – туда-то он и направился. Рядом с беседкой бил фонтан, струи его золотистым дождеком падали в подогреваемый декоративный пруд, в котором плавали форели, а рядом стояла, поднявшись на задние лапы, навсегда застыв, бронзовая черепаха, и панцирь её тускло поблёскивал в свете фонаря.

Тим сел на лавку в глубине беседки, потом прилёг на неё, свернувшись калачиком. Он чувствовал, как от вина горячее тепло растекалось в животе, кружилась голова, и блаженная волна тихо раскачивала его, тихо журчала вода фонтана, сновали в пруду форели, черепаха внимательно смотрела на него, пытаясь сообразить, кто это потревожил её в такой час. Тим почувствовал, как несколько раз у него сократился желудок; горячая волна качнула его, понесла, и в этот момент он услышал голоса.

– Да погоди ты, – шустрый какой, надо заслужить сначала.

– Что, что заслужить?!

– Не что, а кого!

Тим узнал голоса сразу же, сердце у него ёкнуло и гулко ударило в рёбра.

Он попытался сесть, но голова у него закружилась, и он вновь прилёг, схватившись за живот.

Те двое стояли за кустами жимолости, которые здесь росли в изобилии, и были красиво и аккуратно подстрижены.

– Слушай, харе прикалываться, объясни толком, чего ты хочешь?

– Убери руки!

– Да ты чё, недотрога, да? Чего мозги крутишь тогда, а? Ты же сама хочешь этого...

«Не торопись, парень, – подумал Тим, – сейчас я к тебе приду».

Послышалась возня.

– Отстань, да отстань ты!

Хрясь! – раздался звук пощечины.

– Ах ты дрянь!

– Только попробуй, – сейчас позову охрану!

– Зови, зови! – голос Куницына срывался в истерику.

И тогда Тим собрался с силами и выдал:

– Эй, Парикмахер, ты что, тупой! Тебе же сказали, отвали... чего вяжешься!?

– Кто это тут еще вякает!?

С шумом раздвинулись кусты, и в проёме беседки возник Куницын, с перекошенным лицом, и взглядом бешеной собаки.

– Ах ты, чмо! Ты что нас подслушиваешь?!

– Да пошёл ты, урод недоделанный!

– Что?!

У Куницына был вид, будто его огрели пыльным мешком по голове. Он схватил Тима за шиворот рубахи, пытаясь его приподнять, рванул, отлетело несколько пуговиц. В этот момент за ним появилась удивлённая Вита.

– Оставь его, ты что, не видишь, – ему же плохо.

Но Юрка тряс и тряс его, как сумасшедший, и наконец, желудок у Тима взбунтовался, и когда



Куницын потрянул его ещё раз, жёлтая горячая струя рванула из Тима прямо на лицо Куницына, и забрызгала весь его костюм и галстук от «Армани».

– Ух, йо! – вырвалось у того. Вита хихикнула, а Тим почувствовал, что ему стало намного легче.

Сквозь пелену он ещё видел озабоченное лицо Виты, потом ему хитро улыбалась бронзовая черепаха, потом ему привиделся ди-джей Макс, который убежал от него с перепуганным лицом, а он бросал в него разноцветные бутылки, размахивал руками. Ещё ему помнилось разбитое зеркало, а потом он трясся в машине на плече у Глобовой, и сквозь дрему слышал, как она повторяла все время: «Ну ты дал, Тим, ну ты дал! Что теперь бу-удет?!».

Всё воскресенье и мама и бабушка играли с ним в молчанку.

– Это только цветочки, а ягодки ещё впереди! – возмущалась бабушка, намеренно повышая голос, когда проходила мимо его комнаты, в которой он лежал, постанывая, и ему всё время чудилось, что за ним гонится большая белая крыса, похожая на Куницына, и он всё пытается отмахнуться от нее обрубком ржавой трубы.

– Мама, перестань, пожалуйста!

Но бабушка не унималась, гремела посудой так, что Тиму казалось, будто кто-то бил у него в голове в литавры и восклицала: «Вот оно влияние твоего художника!».

Бабушка успокоилась только под вечер, перед тем как уехала на концерт московской знаменитости, певца, который, вместо пения, обычно говорил со сцены хриплым прокуренным голосом, а местная публика рукоплескала ему, вскакивая в пароксизмах восторга, и кричала «Браво!».

Они уехали, а Тим ещё долго лежал в тишине и покое октябрьских сумерек.

Вечером позвонила Глобова.

– Это, наверное, был не я, – уныло отозвался Тим на её рассказ.

– Наверное. Да, я им так и сказала! Охранники тебя еле утомонили, а Куницын спрятался в туалете и чуть не выел от злости, честное слово! Вита сказала, что ты – «хит» сезона. А Куница полночи чистил костюм, а когда ты начал буяннить, первый сочканул с дачи, да, дела-а...

– Значит, я оттянулся?

– Или! На охранника даже кинулся, а он тебе в ухо звезданул.

– А-а, ну, понятно, а я-то думаю, чего у меня звёздочки в башке до сих пор летают.

– Башка. Балда ты, Тимка, а не умка, как тебя Верка называет.

– А она меня так называет?

– Будто ты сам не знаешь?

– Представляешь, не знаю.

Потом позвонила Вера, голос у неё был упавший; говорила она тихо, в основном междометиями, и вздыхала, но Тим, вместо благодарности наорал на неё, разозлившись, что каждый хочет его пожалеть, и она отключила трубку.

И тогда он подумал ещё, что она, может быть, единственная, кто не осуждает его, и ничего не требует.

Ночью он проснулся от какого-то беспокойства и долго лежал, прислушиваясь к незнакомым звуками и шорохам.

«Почему так? – думал он. – Дождь слышно, а снег – нет, но ты ещё во сне знаешь, что идёт снег... Дождь слышно: шум разбивающихся капель, шелест листвы под дождём, барабанная дробь по карнизу. Но, почему слышно снег, удивительно?» – спрашивал он себя и не находил ответа.

Было так чудесно лежать, и, ещё не взглянув в окно, уже знать, что выпал снег. Нет, это не так, когда свет сквозь шторы. Нет, это другое, так – как она пела, а потом он всю ночь думал о ней и знал, наверняка, что завтра её встретит вновь, – и с замиранием сердца ждал этого...

Утром деревья стояли в снегу, и ветви тихо сияли в дымном морозном воздухе, как на японских гравюрах.

В полдень они писали контрольную работу на уроке алгебры. Все старались, пыхтели, Светка даже ногти себе кусала, так нервничала. За окном падал снег мягкий, пушистый, тёплый...

Тим долго смотрел на чистый лист бумаги, раздумывая над условием задания, а потом его внимание привлёк чёрный кот, который медленно крался по снегу, останавливаясь и нервно виляя хвостом. Тим привстал и заметил у бордюра попугая, невесть откуда там взявшегося, который, припадая на крыло, пытался взлететь. Неожиданно в сером воздухе над котом пронеслось несколько ворон, пытаясь отогнать его, но он только чуть припал на снег и пополз дальше.

– Зоя Карловна, я сейчас! – выскочил Тим из класса.

Та только рот открыла от изумления.

В два прыжка он слетел по лестнице, пронёсся по тротуару, схватил за шкуру толстого школьного кота Маркиза, и отбросил его подальше, тот недовольно мяукнул, но, ловко извернувшись в воздухе, приземлился на все четыре лапы, отряхнулся, и теперь вновь был рядом, облизываясь и воя от горечи и обиды.



Для остротки Тим шикнул на него; Маркиз вырос из того котёнка, которого Тим спас когда-то, но он давно забыл об этом, и теперь, вместо благодарности, вновь крутился и выл, поскольку его лишили добычи.

Взяв попугая на руки, Тим почувствовал, как громко, испуганно стучит его сердечко. Удивительно, но вороны и Тима стали атаковать, каркали, пикировали на него. «Вот оно, птичье братство!» – подумал он и заметил, что Маркиз тоже понимал это своим кошачьим умом, спрятался, с надеждой выглядывая из-за красного пожарного щита. Тим спрятал попугая за пазуху и увидел, что весь класс прильнул к окну, наблюдая за ними.

– Тимофей, зачем вы принесли сюда птицу, она может быть больна.

– Да, птичий грипп не дремлет, – поддакнул Савва.

– Вынесите сейчас же птицу на улицу, а то... – потребовала Карла.

Тимофей чувствовал, как вздрагивает у него за пазухой попугайчик.

– А то что?

– Зодчев! Вы опять за своё!

Дома бабушка с ним даже не поздоровалась. Видно, Карла уже успела позвонить, она теперь больше ей доверяла.

А тем временем попугай, насторожено озираясь, обживался у Тима в комнате. Сперва он оскальзывался на паркете, а потом, когда согрелся, уже уверенно стоял на своих коротких ногах, хотя одно крыло у него было перебито, и он иногда заваливался на паркет, и лежал, тускло взирая перед собой. Попугай был большой, с крупной головой, полностью зелёный, только грудь и шея у него были розовые. Клов был ярко-красный, толстый и загнутый книзу.

– Интересно, что с ним случилось? – спрашивал себя Тим и не находил ответа.

После обеда Вера принесла деревянную клетку, отец её когда-то держал канареек, но давно продал их, и клетка бесхозная валялась в подвале, и вот, наконец, пригодилась!

Вера сказала, что таких попугаев называют неразлучниками, так как самец и самочка очень привязаны друг к другу, и часто при гибели одной птицы, другая вскоре умирает от тоски, а родина неразлучников – Африка.

Они ещё долго ухаживали за Гошей, как они назвали попугая, решив почему-то, что это мальчик, и подливали ему воды, и дали ещё пшена, но он почти ничего не ел, и не пил, и не давал себя гладить.

– Видно, тоскует, – сказала Вера.

– Да, наверное, но ничего, мы его поднимем, выживет! – твёрдо сказал Тим.

И это «мы» было для Веры самым лучшим подарком, и она готова была ухаживать за Гошей хоть до скончания света, и пусть он шипает и колотит её своим клювом, ей было всё равно, главное, что они все были вместе.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Семён Вайншток, потомственный петербуржец, вовсе не был идеалистом, он не искал смысла там, где его не было и невозможно было найти, но удовольствия он любил, с детства любил выставляться и быть в центре внимания. А когда в начале двухтысячных дядя Шлёма (двоюродный брат мамы), бывший реквизитор БДТ, вернулся из Израиля и занялся антрепризой, сколотив трупшу из молодых актеров, и успешно стал гастролировать по СНГ, потихоньку, «как курочка по зёрнышку» (его любимая присказка), собирая дивиденды, всегда и во всём послушный Сеня вдруг взбунтовался, бросил «нефтяной» факультет горного института, и, не спросив родительского соизволения, подался в театральный.

– Кто я буду после горного? Винтик в системе!? Да я пока дослужусь до топ-менеджера в «Лукойле» или «Татнефти», десять раз кончусь от инсульта или инфаркта, или буду вечно гнить в вечной мерзлоте вместе с мамонтами, пока найду в Заполярье новую нефть! И это вы, мои любимые папа и мама, желаете мне такой жизни! Вам было хорошо, в 90-е вы могли заработать миллионы и за один день, но выбрали заниматься «высоким»! А сейчас всё – поезд ушёл!

Родители, учителя средней школы, переглядывались, и отец его Борис Давыдович спрашивал жену свою Валю:

– Нам было хорошо?

На что та только махала безнадежно рукой и пожимала плечами.

– Вот люди сейчас ещё на бирже зарабатывают, – тихо проговаривал папа.

Но лучше бы он этого не говорил.

– Люди? – воздевал гневно руки сын к облупившемуся потолку их двухкомнатной квартиры на Петроградке, – Разве это люди, разве они что-то создают!?

По окончании театального Семёна теперь не нужно было ломать голову над тем, куда приткнуть свое белое пухлое тело, дядя обещал его взять к себе, как только он набьёт руку, потренируется, так сказать, на кроликах. Поэтому, когда его бывшая одноклассница Ниночка, о которой он тихо и заданно вздыхал ещё подростком, обмолвилась во время их случайной встречи на Невском, что собира-



ется ставить со школьниками «Пигмалион», он сразу предложил свои услуги в качестве режиссёра, и спектакль произвёл в городе фурор, и его потом ещё многократно давали на фестивале школьных театров, и всегда был успех.

И вот недавно Ниночка вновь ему позвонила, и сказала, что готовится новая постановка, более сложная, с большим количеством действующих лиц и декораций, а главное, в случае успеха, дирекция местного Дома культуры уже пообещала ему место главного режиссёра. Не бог весть что, но это только начало, город небольшой, но и здесь было много состоятельных людей, что обещало хорошие сборы, а все актёры уже пенсионного возраста, вот из талантливой молодёжи и можно будет склотить труппу, которая будет на него молиться, а через год он всё возьмёт в свои руки, а там, — и на Питер пойдёт уже в новом качестве, а там — и на Москву! В общем, Семён был переполнен новыми идеями и кипучей энергией. Всё, казалось, складывалось, как нельзя лучше. «Только бы не сглазить, только бы не сглазить...», — говорил он себе, да и Ниночка расцвела, и вновь у него по ночам стало ныть сердце, и смутные желания искали выход в странных, косматых снах, в которых к ним, в родительскую квартиру, на Петроградке, на кухню забирались белки, крысы, а большая чёрная собака-друг выбрасывала их через окно...

И наконец в январе, взвесив все за и против, Семён с одним немецким кожаным чемоданом сошёл на станции города, который застрял на полдороге между Питером и Москвой, и с тоской посмотрел на уносящийся вдаль «Сапсан».

Оглядев заснеженную безлюдную станцию с пустым буфетом, он хотел было уже кинуться обратно к кассе, но в этот момент его внимание привлёк автобус «Икарус», который дребезжал, как крышка на кипящей кастрюле, оставляя за собой шлейф едкого чёрного дыма, от которого у него сразу запершило в горле. Автобус остановился, и из него выскочила счастливая, улыбочивая, вся такая розовая, аппетитная, хрустящая Ниночка, с ямочками на щеках, и таким милым, наивным взглядом, что Семён, почувствовав, как у него рот наполнился вдруг слюной, подумал: «А! Была, не была, смыться всегда успею, зато стрелять надо всегда дуэлетом, не целясь, на кураже, так учил дядя Шлёма!». И он решительно шагнул навстречу своему будущему.

Тим вряд ли догадывался о том, какие наполеоновские планы рождались в голове Семёна Борисовича, но режиссёр был ему симпатичен. Идеи из него фонтанировали, за ходом мысли было не успеть, и Тимофею это нравилось. Нравилась ему и независимость и уверенность, с которой режиссёр расправлялся с представителями дирекции Дома культуры.

— А мне фиолетово плевать на ваше плановое отключение! — кричал режиссёр на администратора театра во время репетиции. — Вы же знали, что именно в это время свет отключают! Почему меня не предупредили?

Однажды, просидев долго в крошечной тьме, ребята попытались разыграть несколько сцен под синим, дрожащим светом лам, запущенных от дизельного генератора, но выглядело это настолько нелепо, что Семён Борисович всех отпустил, громко заявив, что он отказывается работать в таких условиях, и ушёл, хлопнув дверью, в сопровождении расстроенной Нины Ивановны.

Машина, которая забирала обычно с репетиции Виталину, запаздывала, и она решила прогуляться вместе с Тимом и Верой. Куницына увезли на родительской «Хонде» вместе Васькой Лысаем, который хоть и не участвовал в постановке, но присутствовал на всех репетициях, таская за Юркой его причиндалы. «Хонда» с визгом развернулась и исчезла за ближайшим поворотом, на миг только в заднем окне мелькнул Васька, показав им неприличный жест, — и вот уже снег и тишина вновь окутали их своим холодом.

До Нового года оставались считанные дни, и на улицах уже ощущалась предновогодняя лихорадка, люди закупали продукты, бегали по тротуарам и магазинам с восторженно-бесмысленным выражением лица, надеясь, что именно в эту новогоднюю ночь случится что-то сказочное, волшебное, и мир изменится, даже старики и те радовались, и бабушка Шура зачем-то вновь стирала свои вещи и в сотый раз убирала в комнате — домработницу она к себе не пускала, «не बारे», и учила Тима, как правильно загадывать желание:

— Напиши на листе бумаге, что хочешь получить в новом году, а когда начнут быть куранты, положи лист на стол под скатерть, а в конце года проверишь, сбылось желание, или нет.

Правда, она забывала, что у них не принято было покрывать стол скатертью — обычно еда и фрукты стояли прямо на полировке, так было красивей и праздничней, это предложил ещё отец, и мама согласилась, так потом и повелось у них, сидеть за столом без скатерти, но теперь они больше не праздновали Новый год вместе, и всё это не имело значения.

Когда Тим был маленький, родители брали его с собой к друзьям, и там он играл вместе с другими детьми, пока взрослые скакали под музыку возле ёлки, как стадо обезьян, и радовались жизни. Тогда он очень любил Новый год, ему нравился и резкий запах хвон, который шёл от большой ёлки, которую отец ставил в холле, и сверканье ёлочных игрушек. А как замирало сердце, когда мама с таинственным видом говорила ему: «Тимочка, Дедушка Мороз принёс тебе подарок, посмотри под ёлочкой», — и он с замиранием сердца вытаскивал из-под ёлки большую коробку, перевязанную красной лентой, и радостно распаковывал её, а внутри были или электрическая железная дорога, или пиратский корабль с пиратами на борту, или звездолёт с астронавтами, а ещё там всегда были всякие вкусности и пахлава, и рахат-лукум, и другие восточные сладости!



Ему нравились и спектакли, и утренники, на которые его возил отец, на которых румяные от мороза и волнения дети разыгрывали на сцене новогодние пьески или восторженно рассказывали стихи. Ему нравилась вся эта суета, бенгальские огни, грохот петард и хлопушек, нравилось, как взрослые выносили во двор целые ящики петард, и они взрывались, и летели фонтанами звёзд в небо, это была радость, и чудо, и всё.

Но теперь он отказывался ездить с мамой к её приятелям, избегал шумных компаний. Так, вдвоём с бабушкой они и коротали обычно новогоднюю ночь у телевизора, из года в год наблюдая на экране одни и те же счастливые лица аниматоров и поп-звёзд, всяких клоунов и ведущих, которые выдавали одни и те же шутки и анекдоты с бородой, и так натужно смеялись, что смотреть на них было тошно. Но Тим дожидался, когда бабушка начинала похрапывать, и только тогда, выключив телевизор, уходил к себе, и, лёжа в постели, ещё долго прислушивался, как во дворе-колодце между высотками взрываются петарды, и эхо разносится по всей округе, как кричат счастливые люди, надеясь на чудо, а по ночному небу носятся хвостатые звёзды.

Ребята шли домой по узкой обледенелой тропинке, между синеющими сугробами, которых намело за последние дни столько, что уборочные машины едва справлялись с очисткой дорог, а тротуары так и остались в снегу, потому что дворников не хватало. Девочки оживлённо болтали, но Тим не слышал их разговора, слова относил ветер, к тому же он сильно надвинул шапку на уши.

После нескольких репетиций между девочками растаяла взаимная неприязнь: маленькая разбойница, которая приняла сначала в штыки Герду, и это чувствовалось по тому, как она держалась на сцене, вдруг переменялась, то ли по своему желанию, то ли из-за требований режиссёра:

– Сыграй верно переход, изобрази, покажи, как тебе становится жалко эту несчастную девочку, и даже муфточку ты ей готова вернуть!

Тогда Нина Ивановна, потупив глаза, осторожно поправила Семёна Борисовича:

– Но ведь муфточку она всё-таки себе оставила.

Тот отмахнулся.

– А, какая разница! Главное – импровизация. . .

А когда Нина Ивановна перед самым Новым годом, сомневаясь в успехе, вдруг заикнулась: «А не слишком ли ребята взрослые для этой сказки?» – Семён Борисович так огрызнулся, что она промолчала весь вечер и уже больше никогда не обращалась к нему с подобными вопросами.

Сложности у режиссёра были только с Каем: против своей воли, он взял-таки Куницына на эту роль, и вроде бы он подходил – невысокий, сублинный, меланхоличный, бледный, – но только он совсем не умел играть и двигался на сцене, как робот. Сколько Семён Борисович ни бился, пытаясь его растормошить, всё было напрасно, поэтому в какой-то момент он махнул рукой, подумав: «Ладно, пусть идёт всё, как идет! В конце концов, нечего перед свиньями бисер метать!».

Тим оглянулся, когда девочки рассмеялись: «Уж не надо мной ли?», и вдруг его поразило нечто общее в них. Это было так удивительно, тем более, что внешне они были совсем разные: Вита – яркая, остроумная, всегда модно одетая, а Вера – простодушная, доверчивая, порывистая, но сейчас, в своих куртках-эскимосках они выглядели, как близняшки.

Замешкавшись, он неожиданно поскользнулся, взмахнул руками и чуть не упал, только одна нога взлетела вверх.

– Эй, держись! – помогла ему устоять Вера.

У дома, в котором жили девочки, они остановились. Вновь повалил сильный снег.

– Ну, пока! – махнула рукой Вера.

– До завтра, – кивнул ей Тим.

– Пока, – бросила Вита вполборота.

Вера зашла в подъезд, решив не подсматривать за ними, хотя далось ей это непросто.

Сперва, когда Семён Борисович повышал голос, требуя, чтобы она изображала радость от общения с Витой, как того требовала роль, она внутренне сопротивлялась этому, а потом привыкла, и даже стала переигрывать, и ему приходилось её останавливать: «Спокойней! Детка, проявляй сдержанность!». Она делала вид, что не понимает, отмахивалась и восторженно восклицала, когда они были вместе с Витой на сцене:

– А вот и мой старичина бляшка! – и тянула за воображаемые рога Тима, который играл привязанного к стене северного оленя в блестящем медном ошейнике.

– Его тоже нужно держать на привязи, иначе удерёт! Каждый вечер я щекочу его под шеей своим острым ножом – он смерть этого боится! – бросала она радостно через плечо Вите, игравшей Герду.

И Тим пугался от её руки, и все смеялись.

За несколько шагов до подъезда Вита разбежалась и покатила по намёрзшему льду. Тим разогнался и покатился вслед за ней, но не рассчитал скорости, налетел на неё и они вместе повалились в сугроб; при падении Виту развернуло, и она оказалась на нём, капюшон куртки съехал, волосы её распушились, выбились из-под шапочки. Тим дёрнулся и невольно коснулся губами её щеки. Это было



так неожиданно, что он отпрянул, а она рассмеялась:

– А вот и мой старичина бяшка!

Мерцали фонари, кружились снежинки...

«Ну, чего же ты ждёшь?!» – казалась, вопрошали глаза её, нависая большими чёрными сливами... мгновение, и вот она уже поднялась, и, отряхиваясь, с насмешкой бросила:

– Поднимайся, а то замерзнёшь!

Она взялась за ручку двери.

– Хочешь зайти в гости?

– Да я вообще-то...

– Идём, родители в Москву по делам уехали, идём, а то мне одной скучно.

– А ты мне про Венесуэлу расскажешь?

Она рассмеялась.

– Вот наше временное пристанище, – развела она руками, когда они вошли в просторную гостиную с телевизором в полстены, – Присаживайся, – кивнула она на белый кожаный диван.

Всё сверкало такой чистотой и комфортом, что Тим, взглянув на свои мокрые джинсы, невольно засомневался, стоит ли ему вообще садиться.

– Да расслабься ты, «рилэкс!» – легонько толкнула она его, отчего у него ёкнуло сердце, и он покорно бухнулся на диван, почувствовав, как диванная подушка приняла форму его тела, – На, смотри, что нравится, – протянула она ему пульт от телевизора, а сама заглянула в бар, встроенный в стенку напротив, и у Тима перехватило дыхание, такая она была вся ладная и красивая.

– Слушай, – прочистив горло, спросил он. – А что ты ищешь?

– Да ликер, чтоб согреться...

– А-а, но вообще-то я не пью.

– Хм, мы уже это видели, – обернулась она, улыбувшись. – Видать, мамуля захватила в офис, – она задумалась на секунду, – а давай, лучше я сделаю глинтвейн, классная штука!

Тим открыл было рот, чтобы возразить, но она продолжила:

– Да, лучше глинтвейн, только добавлю корицы побольше... а здорово ты отгаскал тогда Макса, и правильно, нечего дешёвку гнать, крутит отстой. Хм, да, досталось тогда Куницыну? Кстати, чего это он перестал здороваться, не знаешь? На репетициях мимо смотрит, обиделся, что ли?

– Да я...

– Странно, не знаешь, у него есть кто? – задумавшись, она скользнула по Тиму взглядом.

– В смысле?

– Ну, он встречается с кем-то? Интересный такой парень, модный, продвинутый, всё при нём.

Вита не давала вставить ни слова. А Тим почувствовал вдруг, что ему стало всё безразлично, ему захотелось вот сейчас, немедленно подняться и уйти, но въедливое любопытство заставило его остаться.

Он включил телевизор и, прислушиваясь, к тому, как Виталина гремит посудой на кухне, бездумно смотрел на жизнь счастливых голландцев в Амстердаме. Он смотрел бездумно на экран, а сам чувствовал себя будто в кадре, будто кто-то снимает его сейчас в рапиде, будто это всё происходило не с ним, и это ощущение не покидало его и тогда, когда она, переодевшись в восточные шаровары, жёлтую, расписанную синими цветами, длинную шёлковую рубашу, с широкими рукавами, поставила поднос на журнальный столик, уселась напротив прямо на белый, пушистый ковёр, в котором нога утопала чуть ли не по щиколотку, уселась так тихо, мирно, вся такая домашняя, тихая, улыбчивая, с распущенными волосами, которые красиво, волнами ниспадали ей на плечи. Но это ощущение, что всё происходит не с ним, не в реальности, не покидало Тима и тогда, когда она аккуратно поставила на журнальный столик поднос с двумя чашками, на которых были изображены японские девушки в кимоно с зонтиками. От чашек поднимался приятный, терпкий запах, и она улыбнулась: «С наступающим!», и они чокнулись, и чашки красиво протяжно зазвенели, и Тим, услышав, как она сказала: «Настоящий фарфор», обжигаясь, сделал маленький глоток, и, почувствовав пряный, сладостный вкус во рту, невольно взглянул на неё и подумал: «Так вот ты, Вита, какая... и кто тебя стои́т здесь в нашем захолустье, кто тебя стои́т?».

Жёлтый цвет шёлковой рубашки оттенял её бледность, и когда он ошутил, как горячее тепло блаженно растекается в животе, а сердце стало настойчиво колотить в рёбра, и кровь стучать в висок, она вдруг предложила, прямо взглянув на него потемневшими глазами, с такой, как ему показалось, скрытой полусмешкой:

– Потанцуем? – и нажала несколько раз на кнопки пульта; экран погас, а комната наполнилась солнечными звуками блюза. Музыка будоражила и звала туда, где он ещё никогда не был... но он продолжал сидеть, будто цепenea во льду, и когда она с недоумением взглянула на него, вдруг произнёс чужим голосом:

– Слушай, что-то не хочется, вломак, честное слово. В другой раз, ладно?

И он заметил, как лихорадочный румянец стал покрывать её лицо, скривились капризно губы, и недоумение сменилось обиженно-детским раздражением, а потом напускным равнодушием.

Тим сам не понимал, почему так себя ведёт, и чувствовал, что он ведёт себя глупо, неправильно, но что-то заставляло его поступать так, а не иначе, и он ничего не мог с собой поделать, не мог уже ничего изменить, ничего.



«Разве я пёсик, который бежит к своей хозяйке по первому зову? Разве она моя хозяйка? Или она думает, что здесь все перед ней будут стелиться и целовать её кончики пальцев? А даже если и так, даже если и так, даже если она самая красивая и самая лучшая, пусть знает, что для меня она никто, никто, никто... и я никогда не покажу, что она мне нравится, да, очень нравится, что я, блин, влюблён в неё, до потери пульса... потому что кто я для неё, только ещё один провинциальный клоун, шут, которого она вскоре забудет, и забудет, как звали его, но пусть она запомнит, что мне она совершенно пофиг, пусть так и знает».

Мысли прыгали у него в голове, цепляясь одна за другую, и он не расслышал, когда она тихо произнесла.

– Другого раза, может, не будет...

– А? Что ты говоришь? – переспросил он, вытирая о джинсы вспотевшие ладони.

Но она не ответила, а встряхнулась, волосы рассыпались у неё по плечам, и сказала бесцветным голосом, хотя грудь у неё вздымалась.

– Слушай, ты не мог бы попросить Юрку, чтобы он мне позвонил?

Тим, который допивал глинтвейн, поперхнулся, закашлялся, и кашлял целый час, наверное, аж слёзы из глаз брызнули. А она спокойно стояла и ждала, когда он успокоится, на лице у неё горели пунцовые пятна, но теперь она была далеко.

– Юрку? Какого?!

– Куницына, конечно...

– А самой тебе что, слабо позвонить? И почему ты меня просишь об этом?

– Понимаешь, он тебя уважает, и всегда прислушивается к твоему мнению, – она роняла слова бесстрастно и просто.

– Угу, хочется верить... – выдавил он из себя.

– Я сама слышала, как он говорил, что у тебя не мозги, а компьютер, и память феноменальная, и ты же отвязный, так все говорят. Слушай, тебе же это ничего не стоит, и я тебе доверяю, почему не знаю, удивительно, но мне кажется, что я тебе могу доверить такие тайны, которые больше никому не доверишь... А Юрка, он глупый, он хочет всё сразу, а я же девочка, как я могу, понимаешь? А, Тим? Мне кажется, ты-то меня понимаешь, ну, чего ты молчишь? Скажи что-нибудь!

Глаза у неё блестели, но щёки вновь стали бледные.

Тим молчал, такого поворота он уж точно не ожидал, и хотя ему казалось, что она говорит всё это от обиды, он молчал.

А её теперь было не остановить, она рассказывала ему, как сразу заметила Юрку, и что девчонки одни сплетницы и завистницы, она им не доверяет, а мальчишки хорошие, она это поняла ещё тогда, когда училась в посольских школах.

Тим сидел, как обваренный кипятком, и всё порывался прервать её излияния, со всей грубостью, на какую был способен, он хотел крикнуть ей в лицо: «Ты, дура набитая! Ты что предлагаешь мне быть сводней?!».

Но что-то удерживало его от этих слов, и он только кивал, смотрел сквозь неё, и горячая слюна мешала ему переглотнуть, и странная фраза, непонятно откуда взявшаяся, – «терпение вола» – сверлила ему мозг, как шило, и он вспомнил, что эта фраза из письма Ван Гога, которое ему часто читал отец...

– Хорошо, договорились! – резко оборвал он её и поднялся, собираясь уходить.

Она сразу примолкла, вся такая красивая, яркая, далёкая и чужая, совсем чужая.

В дверях он никак не мог попасть ногой в ботинок, и вышел, так и не зашнуровав его, а пока он обувался, она смотрела на него сверху вниз, задумчиво; молча, подавала ему рожок для обуви, молча, закрывала за ним дверь, и он ещё уловил её взгляд, последний, отрешённый, и он вырвался, задыхаясь на лестничную площадку, и, спотыкаясь, начал сбегать по ступенькам, и ещё услышал, как она бросила ему в спину:

– Так ты ему обязательно позвони, обещаешь?

– Да, обещаю! – бросил он ей, не поднимая головы, когда поворачивал на следующий лестничный пролёт, а она стояла в двери, такая, как и его мама в юности, какой он её видел на фотографиях, всегда открытая, смелая, ясная, – готовая к полёту.

Возле подъезда стоял джип «Паджеро», из которого выплёскивалась в морозный вечер громкая музыка. Опустилось окно и оттуда высунулась счастливая Глобова.

– Эй, Тим, привет!

– Привет! – отозвался он, застёгивая куртку.

– Айда с нами в «Галактику!» Братуха заскочил на денёк из Питера, – выставляется.

Тим инстинктивно оглянулся.

– Давай, залезай!

Он уселся на заднее сиденье. В машине было тепло и уютно, и он снял шапку.

– Познакомься, это Кирилл, – бросила через плечо Светка, качая головой в такт музыке.

Тим протянул руку, но рука так и повисла в воздухе.

– Кирилл, – кивнул ему небрежно парень лет двадцати, выстукивая пальцами на руле мотив, в такт



рэпу, который оглушал, и приходилось кричать, чтобы услышать друг друга.

— А что ты здесь делал? — повернулась к Тиму Глобова, хитро прищурившись. — Только не говори, что помогал Витке писать сочинение.

— Угадала!

— Ясненько! А, может, вы и целовались уже, а? — хохотнула она.

Тиму не понравилось, как она это произнесла, но он смолчал.

— Кирюша, ну, чего сидим-то? — повернулась она к брату.

— Вот, сейчас уже едем!

Из соседнего подъезда вышла девушка в оранжевой дутой куртке и села в джип с другой стороны.

— Маня, как ты? — бросил через плечо Кирилл, включая двигатель, и они плавно двинулись с места.

— Всё сдала, только грамматист мозги компостирует, а это кто ещё с нами?

— Мой одноклассник, Тимофей! Лучший танцор в школе! Да, Тим? — иронично заметила Глобова, повернувшись к нему вполборота.

— Да ну тебя! — отмахнулся он.

Светка вела себя раскованней, чем обычно.

— А-а, — протянула девушка, скользнув по нему равнодушным взглядом.

У Тима зазвонил мобильный.

— Тебя где носит? — услышал он в трубку осипший голос бабушки, которая накануне простудила горло, выпив стакан молока из холодильника.

— Я у папы, — соврал он.

Он всегда так говорил, когда хотел, чтобы от него отвязались. Отец принципиально не пользовался ни мобильными телефонами, ни интернетом, считая, что все «цивилизационные штучки» превращают людей в зомби; стационарного телефона в мастерской у него не было, и, чтобы его позвать, приходилось звонить соседям, что мама и бабушка делали только в особых, из ряда вон выходящих случаях, поскольку им, видите ли, «было стыдно».

— А-а... Что там у вас происходит?

— Да у папы гости...

— Гости, перемывают кости, — недовольно просипела она. — Ладно, не задерживайся, а то мы с мамой волнуемся.

Когда они ехали по ярко освещённому проспекту, ему бросилось в глаза много новой рекламы: «Глухарь Три», «Сваты Пять», «Братаны Два». Почему-то щиты с этой наружной рекламой были огромными, по сравнению с тщедушными улыбочивыми Дедами Морозами на усыпанных звёздами окнах магазинов, предлагающих дешёвую распродажу.

— В какое замечательное время мы живём! — заметила Маня, когда Кирилл приглушил музыку. — Глухари сватаются к братанам, — какая прелесть! Не жизнь, а сказка.

— А, не парься! — бросил ей через плечо Кирилл, поворачивая на перекрёстке. — Вот, козёл, ну, чего стоишь!? — накинулся он на водителя «Жигулей», которые заглохли прямо перед ними.

В «Галактике» праздновали двадцать лет со дня открытия клуба. Юбилей проходил под девизом: «Возвращение космонавта». На сияющей сцене, в обтягивающих «скафандрах» прыгали девчонки по метр восемьдесят, без каблуков, мерцала рампа, под потолком вращались шары, испускающие разноцветные лучи, в зале крутилась пёстрым водоворотом толпа: лица, руки, тела то исчезали в мерцающей тьме, то вновь вспыхивали фосфором, что вызывало необычный галлюциногенный эффект.

Они поднялись по винтовой лестнице на второй этаж и уселись за стол возле металлических перил, откуда хорошо было видно, что происходило внизу, и пока девушки удалились, чтобы привести себя в порядок, а Кирилл, встретив знакомых, ломался у соседнего столика, Тим наблюдал за толпой, перегнувшись через перила.

— Ба! Какие люди в Голливуде! А ты-то что здесь делаешь?!

Тим обернулся, в двух шагах от него стоял Куницын. Всегда прилизанные волосы его были растрёпаны, он стоял, обнимая за плечи Вику Шергунову из параллельного 10-Б, известную тусовщицу, которая, как поговаривали, была готова всегда и на всё.

«Ловкий чел, везде поспел», — подумал Тим и, стараясь звучать небрежно, сказал:

— Вита просила тебя позвонить, срочно.

— Кто? Кто?! — заорал Куницын, стараясь перекричать музыку. Самодовольная ухмылка мгновенно испарилась с его лица, и сейчас у него было такое выражение, будто ему дали по хребту колотушкой. Тиму стало противно, и он отвернулся.

— Кто? Вита? Когда?! — схватил его Куницын за локоть.

— Пуся, ну, идём! Нас ждут, — тянула его Вика.

— Да, отстань ты! — отпихнул её Куницын, да так сильно, что она пошатнулась, но не обиделась. Другая, быть может, обиделась бы, — а эта нет.

Она притворно захныкала.

— Пусенька, пуся, ну идём же...

Но Куницын уже не обращал на неё внимания.

— А чего она хочет, не знаешь?



– Хочет, чтобы ты шутком попрыгал перед ней! Говорит, что ты супер-клоун!

– Чего?! – захолопал Куницын своими шарами. – Эй, ты полегче. . .

В этот момент музыка стихла.

– А телефон? Какой у неё номер?!

Тим прокричал ему в ухо номер телефона и пошёл танцевать, а, спустя мгновение, вклинился в жаркую толпу и слился с музыкой отражений.

– Слушай, а ты выдал! Классно танцуешь, я же говорила! – заметила с восторгом Глобова, когда он вернулся за стол.

Они заказали всем по коктейлю, и пока Кирилл ещё ломался перед знакомыми, девушки, демонстрируя свои длинные ноги, потгивали коктейль через трубочки. Тим отодвинул фужер.

– Ты чего? – взглянула на него удивлённо Глобова.

– А что это?

– «Кампари» с оранжом.

– Я пас.

– А-а, ясноенько, сдулся, – протянула она, – не переживай, мы о тебе позаботимся, правда, Маня?

– Угу, – кивнула та, обдав Тима чарующей улыбкой, и вдруг неестественно рассмеялась.

Он промолчал, заметив, что они вели себя как-то странно: скажут фразу и хихикают, а потом вновь. . .

Наконец к ним вернулся Кирилл, но, посидев всего минуту, вновь стал рыскать по залу, с деловым видом. Вокруг ощущалось броуновское движение: у их стола неожиданно появлялись незнакомые парни и девушки, шептались с Маней, которая, судя по всему, была там завсегдатай, и так же неожиданно исчезали. Глобова вытягивала шею, пытаясь поучаствовать в разговорах, но на неё не обращали внимания, и она неумело курила и ломала, не докуривая, длинные сигареты о пепельницу.

Вскоре Тиму стало казаться, что все вокруг ведут себя, как марионетки, актёры немой пантомимы, ему стало нестерпимо душно, и он, как был в одном свитере, выскочил на улицу – было очень холодно, но морозный воздух приятно остужал голову.

Он стоял возле входа довольно долго, пока не почувствовал, что у него даже ресницы покрылись инеем, и уже хотел возвращаться, как вдруг подкатил «Форд» с маячком, и оттуда выскочила Вита: вся такая ладная, сияющая, в собольей шубе, а рядом топтался на своих коротких ногах Куницын, которого распирало от самодовольства.

Именно тогда Тимофей заскочил в вестибюль, мысли у него совершали бешеные скачки. . .

На эту квартиру они попали под утро.

Несколько раз ему звонила мама, потом бабушка, а потом он отключил телефон. Ему было всё равно. Он чувствовал, что у него поднималась температура, но ему было всё равно.

Из разговоров он понял, что квартиру снимала сестра Мани, путёвая такая блондинка из модельного агентства «Рококо», единственного в городе, её фотки были развешаны по всей квартире.

В предновогодние дни она отдыхала в Эмиратах с одним турком, мини-олигархом, а квартира была на попечении Мани. Судя по всему, она справлялась с обязанностями хозяйки отменно, об этом можно было судить и по горе немойтой посуды в раковине, и по куче целлофановых пакетов, забитых мусором, лежавших внавал у стены, но Тиму было всё равно. Здесь ему нравилось.

Он сидел один на кухне, и ему слышно было, как они там ржут и топают за стеной, под блянье разбитного поп-дебила, который, как в бубен, долбил рефрен песни: «Размер не имеет значения! Размер имеет значение. . .», но Тим хотел побыть один, он пил крепкий чай без сахара, потому что сахара нигде не было, чай был крепкий и горький. Ему казалось всё приятным радужным сном, но мозги у него при этом работали чётко и ясно, он видел всё, как через увеличительное стекло.

Несколько раз забегала разгорячённая Светка и тащила его за собой, но он упирался.

– Сейчас, дай, посижу немного, – вырывался он, а она фыркала и убежала.

За окном брезжил морозный рассвет, а он всё смотрел на книжку, которую забыл кто-то на столе, на обложке было всего два слова: «Марк Аврелий», а потом он открыл её и сразу наткнулся на фразу: «Начинай сейчас жить той жизнью, которой ты хотел бы видеть её в конце».

Он сидел, пил чай, размышляя долго над этой фразой, смысл которой озадачил его. На кухне периодически крутились какие-то люди, которых он никогда прежде не видел; они курили, тушили окурки в пепельницы, которые стояли на столе, прямо перед ним, но он их даже не передвигал, ему было всё равно.

На кухню вместе с Маней зашла девушка с лиловыми глазами, в розовом пуловере, они поболтали об экзаменах в институте, а потом приятельница Мани, её звали Ника, когда тушила окурки, перегнулась через стол и неожиданно чмокнула Тима в нос:

– Ты чей? – рассмеялась она.

– Я ничей, я найдёныш, – отпрянул Тим.

– Он с вами? – спросила она Маню, задержавшись у двери.



– Светкин одноклассник, – махнула та рукой и отбросила со лба прямые чёрные волосы.

– Симпатюля, чего скучаешь? Идём к нам! – позвала та, но Тим отвернулся, уставившись в окно, за которым уже синел морозный рассвет.

– Ну, иди, чего пристала! – вытолкнула её Маня.

А потом хлопнула в последний раз входная дверь, и всё стихло, и тишина стояла, как вода в аквариуме, и он вскоре он уснул, с книжкой в руках.

Первый раз он проснулся, лёжа в неудобной позе, на кухонном диване, когда Маня укрывала его пледом и задёргивала шторы, а второй раз от звона посуды и сильного запаха кофе.

Он вскинулся, отбросив плед; яркое морозное солнце слепило.

Маня стояла спиной к нему в домашнем халате и варила в турке кофе.

– Проснулся? Поднимайся, а то нам по делам ехать нужно, – бросила она вполоборота.

– Ага, сейчас.

Он потёр затёкшую шею, отхлебнул из чашки, которую она поставила перед ним, и прижал ладонь к губам.

– Да не торопись ты, время есть, я же не гоню тебя, вот конфеты в коробке, угощайся.

– Спасибо, – кивнул он.

В этот момент, шаркая тапочками, вошёл на кухню Кирилл, в волосах у него был пух от подушки.

– А... ты здесь? – поскрёб он волосатые грудь и живот, отхлебнул из чашки Мани, поморщился, и бросил Тиму: «Там Светка в гостиной, будь другом, проводи её, а?».

– Угу, – кивнул Тим, глотая кофе и чувствуя, что жар у него усиливается.

В гостиной под тонким одеялом, лежала, свернувшись калачиком Светка. Тим растолкал её. Она приподнялась на локте, не понимая спросонья, где она и что с ней.

– Ну как ты?

– Не переживай, – раздражённо откинула она одеяло, ойкнула и вновь укрылась, забыв, что спала в одних трусиках.

Тим пожал плечами и подошёл к окну.

На улице мела позёмка.

– Ну, что, доволен? – бросила ему в спину Светка, одеваясь.

– Ты о чём? – спросил он, не оборачиваясь.

– Выпендривается ещё, я-то думала ты со мной будешь, а не этот хмырь недоделанный, с серьгой! – она пнула диван.

– Кто-кто? – переспросил Тим, вспомнив, что в компании был один прыщавый тип, с серьгой в ухе. Сам не зная почему, он почувствовал брезгливость, глядя на неё. Глобова встретилась с ним взглядом. Казалось, она вот-вот расплечется, но ему было всё равно, утешать её у него желания не было.

«Ни тебе романтики, ни цветочков...», – подумал он, но эта мысль была мимолётной и вялой, жар медленно кружил его.

Он больше ни к кому не испытывал жалости.

На улице мело, не переставая. Снег налипал на деревья, на ресницы, таял на щеках, они потоптались на остановке, а потом, пройдя несколько кварталов, так продрогли, что, не сговариваясь, зашли в бар «Эстрелито» на углу Бунина и Советской.

Они были первые посетители и заняли лучшее место у окна, с видом на площадь. Светка выглядела подавлено. Тим помалкивал, испытывая неловкость.

– Выпить что-нибудь хочешь? – спросил он.

– А нам дадут?

– Да ладно тебе, на нас что, написано, сколько нам лет?

– Хочешь сказать, что я выгляжу сейчас, как старуха?

– Нет, – как принцесса...

– Тренди, тренди, умник! Блин, какими же вы можете быть занудами!

– Кто вы?

– Да все вы умники.

Светка ожила.

– Нет, чтобы всё по-простому, по-человечески, нет. Вам всё усложнять надо, замучивать, мозги себе и другим парить.

– Свет, ты о чём?

– О тебе, о тебе, – не воображай, что удастся спрыгнуть.

– С чего спрыгнуть-то? Поясни!

Она отхлебнула из фужера, глаза у неё заблестели, и она заговорила громче.

– На, сделай глоток, – протянула она «Мартини», а то говорим вроде по-русски, а будто на разных островах.



– Ну, давай, – пригубил он из фужера и почувствовал, как его сразу трянуло, а потом всё вокруг стало казаться радужным и красивым, и Светка стала красивой, и мексиканец с гитарой на дальнем панно стал ему улыбаться.

В баре включили музыку, и ему стало казаться, что он сейчас не в заснеженной России, а где-то в Южной Америке, и когда он смотрел на снег за окном, ему все казалось нереальным красивым сном, и он вновь вспомнил об аптеках: «И как, и куда они только исчезли, непонятно?».

– Спрыгнуть с вот этой жизни, – кивнула она за окно.

– А почему ты решила, что я хочу спрыгнуть с «этой вот» жизни?

– Ну, как почему? – распялась она. – Ты же ни с кем не водишься, спрятался в скорлупу и делаешь вид, что ничего не происходит, что тебя ничего не касается!

– Светочка, ты слишком громко говоришь, сбавь тон...

Несколько утренних посетителей, заскочивших в бар, оглядели их с осуждением, а один раз на Тима выразительно посмотрел бармен, и он поднял руку, как бы жестом показывая, что «всё нормально, шеф».

– Тебе что, стыдно, когда тебе говорят правду, или ты боишься?!

– Послушай, я ничего не боюсь, и почему мне должно быть стыдно?

– А то, что я, например, как дура, уже почти полгода делаю всё, чтобы ты обратил на меня внимание... Чего только не делаю!.. а Верка, да её щенячье поведение и слепой от рождения заметил бы. Всем уже надоело прикалываться над вами!

– Над нами? Почему над нами?!

– По качану! Ты куда смотришь всё время? – оглянулась она.

– Да, вон, чудак мне подмигивает.

– Какой ещё...

– А вон тот, с гитарой, на стене. Я вот думаю, куда исчезли аптеки и их император Монтесума Второй, как это вообще горстке испанцев и рыжебородому Кортесу удалось стереть в порошок целый народ...

– Слушай, ты что, точно того, или прикидываешься? Девчонка тебе, можно сказать, сердце открывает, а ты выпендриваешься! Ты лучше со своей Витой так выеживайся, понял! А мы не дипломаты, можем и заехать!

– Да тише ты, успокойся!

– Конечно, – обиженно продолжала она, – кому мы нафиг нужны? Вам только красивеньких подавай, в упаковочке.

– Света, ты красивая, правда, – сказал Тим абсолютно искренне, потому что она ему сейчас, казалась действительно красивой.

– Да? Красивая? А ты бы меня мог полюбить?

Он промолчал, разглядывая её.

– Послушай, ты распускаешь нюни из-за пустяков. Да и что во мне такого особенного? Что? Я самый обыкновенный, самый невзрачный! Слышала, что Ниночка Ивановна сказала: «У вас слишком простое лицо». Простое, понимаешь, простое. И чего ты крестягу на себе ставишь, чего ты себя хоронишь? На фиг никому не нужны... Заладила! Да вы, блин, лучшие, понимаешь, лучшие!

– Ага, тебе хорошо говорить, ты пацан, а вдруг я забеременею, что тогда?

Вопрос поставил его в тупик.

– А хочешь, я найду этого типа и набыю ему рожу при всех, и заставлю его перед тобой извиняться, хочешь? – Тим почти закричал и почувствовал, как фужер треснул у него в руке, но боли он не почувствовал.

– Тихо, тише ты! Разошёлся, – схватила его за руку Светка и, заметив кровь, быстро прижала ему к ладони салфетку, – дурак! Вот, порезался, зажди руку в кулак.

Она достала из сумочки кусок ваты, ловко наложила ему на порез, и туго замотала ладонь своим душистым белым платком.

Подошёл официант с плоским деревянным лицом, и, повертев треснувший фужер, смахнул со стола крошки грязной тряпкой и уныло произнёс:

– За бой с вас ещё сто рублей.

– Лады, – кивнул Тим и спросил Светку, – А где это ты так наблатыкалась первую помощь оказывать?

– У меня же мама медсестра.

– А разве она не главврач в детской поликлинике?

– Да нет, самая обычная медсестра, в роддоме работает. Кирилл мой сводный брат. Отец у него крутой, в Питере автосалон держит.

Тим долго переваривал это, а потом вдруг спросил:

– А хочешь, я после школы женюсь на тебе?

– Ты чего? Совсем... спятил, что ли? – отодвинулась она.

– А чего, мне кажется ты хорошая, а одному скучно, и ещё... я ведь тоже никому не нужен.

– Ты?

– Да, я. Мама сама по себе, бабушка сама, отец живет отдельно, у меня один только Гоша, да Фимка, да ещё пару пацанов с гребли, а ты говоришь...



– А кто такой Гоша?

– Попугай.

– А...

– В этой дыре, – кивнул он через окно, – наверное, никто никому не нужен, понимаешь? И у всех у нас одна перспектива, валяться через лет пять под забором или развлекать иностранцев, танцуя перед ними с балалайками и медведями.

– Да ладно тебе, вот, поступишь в институт, уедешь в Питер, или Москву, станешь толстым, счастливым богачом или начальником, хотя теперь это всё одно, а нас и забудешь, как звали.

– А что у меня есть, какие таланты?

– Ну, ты же умный, так все говорят.

– Та, чепуха. Разве что в клоуны податься...

– В клоуны?

Мокрый снег налипал на окно, оставляя на нём белые пушистые блямбы, а потом таял, и по стеклу стекали косые ручейки, в которых отражалось тусклое солнце, на рассвете оно было яркое, а теперь – тусклое, висело в небе, как желток.

– И чего во мне интересного, скажи, только честно? – спросил он.

– Разве это объяснишь, – протянула она задумчиво, глядя на него.

Он встретился с ней взглядом и сказал проникновенно, взъерошив волосы.

– Светка, я очень люблю тебя... Слушай, если скажешь, я найду его.

– Ребятки, вам, наверное, пора прогуляться, – подошёл к ним администратор.

И Тим повернулся к нему со словами: » А это не он случайно?!».

Но Светка уже тащила его за собой к выходу.

– Светик, – я люблю тебя! – крикнул он на весь бар.

– Я люблю тебя! – продолжал он кричать на улице, и прохожие улыбались, радуясь, что кто-то уже празднует Новый год.

– Я люблю всех, и тебя, и небо, и море! – кричал он.

– Какое море? Где ты море-то здесь видел!?

– Я видел море, Светка, я видел море, – представляешь, – схватил он её за змейку на куртке, – представляешь.

– Ладно, давай по домам.

– Тётяшка, а вы видели море? Светка, а чего она так шарахнулась, а?

– Тим, кончай свои штучки!

– Светочка, я тебя люблю, и всех, понимаешь?

– Да, да, понимаю, – держала она его под локоть, пока останавливала такси.

– И у нас тобой будет семья, и детки, много детишек, разных, мальчиков и девочек, понимаешь? Ты согласна? Нет, скажи, ты согласна?

– Да, я согласна! Залазь уже!

Они сели в тот же «Форд», который он видел накануне вечером, у «Галактики».

В такси резко пахло освежителем воздуха, и Тим несколько раз чихнул, а потом у него потекло из носа, и он утирался платком, которым его повязала Светка, и руку всё время поддёргивало и саднило.

Таксист криво усмехнулся и заметил:

– Уже празднуете?

– Дядя, мы вас приглашаем на свадьбу, – наклонился Тим, пытаясь заглянуть ему в лицо, но машину подбросило на выбоине, и его откинуло на сиденье.

– Угу, приду обязательно, а когда свадьба-то?

– В конце мая.

– Чего в мае-то? Хотите потом маяться всю жизнь, а? – сплюнул он в приоткрытое окно, и плевок шлёпнулся на стекло.

Когда они выбрались из такси, Светка усадила Тима на скамейке, в парке, как он просил, поблизости от дома, и, чмокнув его в щеку, укатила на «Форде».

Он посидел немного, а потом его стало мутить, и он поел снега, хотел скатать шар, но стоило ему нагнуться, какая-то сила потащила его к земле, и он вновь прилёг, наблюдая, как снег закручивается над рекой в высокие снежные вихри. Спустя какое-то время он поднялся и, осторожно ступая, чтобы не упасть, пошёл в сторону театра.

Неожиданно из-под машины на автостоянке выскочила Фимка и с залихватским лаем подлетела к нему.

Он присел, погладил её по обледевшей шерсти, поцеловал в морду и сказал: «Ну иди, иди к себе, давай, смотри, холодрыга какая!». Но Фимка не хотела уходить, видно, соскучилась, да и щенки её давно выросли, и она теперь вновь была весела и свободна, и, вспоминая с благодарностью вкус и запах сладких косточек, которыми её всегда подкармливал Тим, или, чуя неладное, продолжала крутиться возле него, жаться к ногам, а потом увязалась за ним, и не отставала ни на шаг, пока он шёл к театру.

На час дня была назначена генеральная репетиция, и Тим беспокоился только об одном, как бы попасть на неё вовремя.



Ветер изменил направление и дул навстречу, мороз усилился, и колючий снег обжигал лицо. Тим оглянулся, — над рекой закручивалось в спираль снежное облако, и вдруг на этом облаке показались сани, и ему почудилось, что на них восседала снежная королева...

— Галюны уже, да, Фимка? — потрепал он её по шее, и, надвинув шапку на лоб, заторопился к показавшемуся в снежном мореке зданию театра.

Он невольно ещё раз оглянулся, но теперь только сизая пелена висела до самого горизонта.

Через приоткрытую дверь запасного выхода Тим проскользнул незаметно в здание театра, Фимка семеняла рядом, суетливо обнюхивая паркет, который пах мастикой.

Однажды Фимка побывала уже здесь. Как-то в ноябре она пристала к Тиму, когда он шёл на репетицию, а потом тихо лежала у него в ногах, прислушиваясь к тому, как ребята играли на сцене, и продолжала тихо лежать, когда выступал Тим, чуть приподняв голову и помаргивая своими жёлтыми умными глазами.

Фимка повидала всякое, и всегда была начеку, понимая, когда можно было расслабиться, растянувшись, как шкура на полу, а когда уносить ноги. Она умела быть незаметной, поэтому тогда, в ноябре, никто даже не догадался, что в зале была собака.

Театр был тих и пуст, только в фойе, отчего-то переговариваясь шёпотом, бесшумно сновали технички да охранник, позёвывая, уныло озирались по сторонам, почёсывая шетину.

Тим и Фимка быстро поднялись по лестничному пролёту на второй этаж, — им повезло: комната, где хранился реквизит и костюмы, была открыта. Через окно струился тусклый свет пасмурного дня, вокруг всё было навалено, как попало: костюмы, маски, игрушки, куски материи.

Здесь же в шкафчике Тим хранил маску мага дождя, которую подарил ему отец Веры. Он прилёт на шкуру медведя подальше от окна и, укрывшись с головой цветной попоной, задремал, чувствуя сильный озноб.

Фимка устроилась рядом, уткнувшись мордой ему в колени, и, посапывая тоже задремала... и ему снился сад, и почему-то Вера, и как они лежат на траве, взявшись за руки, а вокруг носятся белые и розовые лепестки цветов, а потом ему снилось море, и слышался плеск волн, и виделся яркий блеск изумрудной воды... и он лежал на пляже, утомлённый, в дремотной неге, а рядом вновь была Вера, она пела английскую балладу, глядя на море, а потом что-то говорила ему, улыбаясь, и лёгкие холодные пальцы гладили его по затылку. Так, как снег. И это был сон, или явь, или что-то другое, что-то другое... но вот, во сне рядом забубнили голоса и, просыпаясь в тёплой дреме, он инстинктивно зажал пасть Фимке, которая порывисто дёрнулась, но затихла, подчинившись его воле, и он разобрал вдруг:

— Петарда взорвётся, он испугается, ступит ногой в краску и упадёт, — представляешь, что будет! — ожесточённо шептал один.

— Представляю... — кисло ответил другой, голосом Васьки Лысай.

— Да чего ты сщышь!? — продолжил первый, голосом Куницына, — это же просто хохма, понимаешь? Никто и не узнает ничего. Ну, споткнётся парень на сцене, ну, лажанётся, когда грохнет петарда, ничего, пусть не выделяется, Вита говорит: «Очень уж мальчик возомнил о себе».

— Так это что, она предложила? Да ты гонишь! — удивился Лысай, и Тим представил, как у него вытянулось узкое, как топор, лицо.

— Сам ты гонишь!

— Слушай, а мне какая выгода с этого? Если поймают, мало не покажется, из школы точно попрут, а то и похуже чего схлопотать можно, сам понимаешь!

— Я тебе планшетник свежий подгоню.

— Не-е-ет, — заблеял Лысай, — это ты лохам втюхивай, а мне посушественней что предложи, иначе я и пальцем не пошевелю, да и вообще...

— Что вообще?! — повысил голос Куницын.

— Так, ничего, — чего орёшь-то, ещё услышит кто.

— Да ещё рано.

— Так вот, лавандос заплаатишь наличными, понял?

— Сколько?

— Два косаря.

— Чего?

— Баксов, конечно! Не деревянных же.

— Ладно, согласен.

— Но это не всё.

Повисла пауза. Тим почувствовал, как Лысай замылся.

— Познакомь Витку с братухой моим, он юрфак кончает, хочет в мэрию устроиться, стать помощником депутата или типа того, прикинь, в общем, карьеру хочет делать.

— А она-то тут при чём?

— Да ладно тебе, кукла вся в шоколаде, для папика один звонок, а тебе-то это всё стоить будет, —



ничего, чмок-чмок, один поцелуй, хы. Тогда сделаем все чики-пуки! Никто не догадается, сделаем из них «твикс» в шоколаде, сладкую парочку, пусть облизываются... – тараторил Лысай.

– Ладно, я постараюсь, – протянул недовольно Куницын, – но ничего не обещаю. А ты держи язык за зубами, понял?! А то нас точно спалят ещё.

– Ты меня знаешь, моё слово кремень.

– Кремень, пельмень, – передразнил его Куницын, – хоть балбень, чтоб ни случилось, я не при делах, понял?!

– Угу, договорились.

В этот момент за дверью послышалась возня, кто-то пытался открыть её ключом.

Раздался возмущённый голос худрука:

– Почему дверь открыта? А вы что тут делаете?!

– Мы, мы роли повторяем! – быстро нашёлся Куницын.

– А ну, марш отсюда, Семён Борисович вас по всему театру собирает.

Послышались торопливые шаги по коридору, щелчок замка...

Тим мгновенно вскочил, поняв, что оказался в западне, – оконные рамы были заколочены изнутри.

«Да, – думал он, – вот и проявил себя Парикмахер, но мы ещё посмотрим, чья возьмёт!», – и холодная ярость качнула его к окну, внизу была гора строительного мусора, покрытого снегом и наледью.

Тим быстро отодрал раму, замотался шарфом, выголкнул скулящую Фимку, которая, испуганно лая, приземлилась и заскользила вниз на лапах, следом прыгнул сам – неудачно приземлился на левую ногу, скатился кубарем к основанию мусорной кучи, вскочил и побежал, прихрамывая, к центральному входу.

На генеральной репетиции все играли в костюмах. Тим был в штанах и куртке серого цвета, которые были ему впору, а вот бутафорские картонные рога давили, потому что шапку сделали не по размеру, и ещё картон прошиты изнутри, и он царапал голову, давала себя знать и боль в лодыжке, но Тим терпел, лихорадочно соображая, что задумал Куницын, и говорил невпопад, а Семён Борисович нервно вскакивал и поправлял его:

– Тимофей, соберись, ну же, внимательней!

Ребята старались изо всех сил, чтобы проявить себя. Без запинок, и без исключения, они выдавали свои реплики, и даже Митяй, который играл разбойника, и Савва, который играл злого тролля, не говоря уже о Виточке, которая внешне блистала.

Но теперь, взглянув на неё незамысленным взглядом, Тим разглядел, насколько плохо она играла. И дело не в том, что она фальшивила, – просто вся её внешняя красота, как только она открывала рот и говорила невпопад, моментально расплзлась, как бумажное платье под дождём. Она наобум топала ногой, размахивала руками, деланно улыбалась, но дело было даже не в этом, самое смешное было в том, что сама она этого вовсе не замечала. Парикмахер был ей под стать, эти двое были созданы друг для друга и больше никому на свете не нужны.

Но Тиму было теперь всё равно, он освободился, а ещё ему было совершенно «фиолетово», как он сам выглядит, и как он играет, и это было так заметно, что режиссёр переполошился, и сразу после репетиции подскочил к нему, по-приятельски, положил ему руку на плечо и обратился, с самым доверительным тоном.

– Тимофей, идём, выпьем по чаю, разговор есть.

– Ага, сейчас, только переоденусь.

– Да, здесь же все свон.

Тим кивнул и снял шапку с рогами.

Он хотел было улизнуть сначала, потому что ему так и не удалось разгадать подлянку Парикмахера, а потом передумал и остался, но мысли его были далеко.

А Семён Борисович совершенно по-своему воспринял его взгляд, и, улыбаясь, вдруг сказал:

– Забудь о ней, парень, она не стоит тебя, спесивая пустышка, ноль, и больше никто, а вот другая... тут стоит присмотреться, верь мне, я кое-что повидал на своем веку, –дохнул он на него мятой с высоты своих лет, перебирая курчавый волос на подбородке, и Тимофей, который сначала опешил от такого предисловия, вдруг поймал себя на странной мысли, что ему очень хочется его побрить.

– Да, по-моему, брат, ты и сам прозрел, так мне ка-ажется, – будто издавека улыбнулся Семён Борисович, – или я ошибаюсь? Забудь! Пустая, напыщенная, спесивая чушка, чисто, брат, полено, хоть и крашеное, – и больше ничего.

– Она же красивая, – тихо произнес Тим, – а про себя подумал: «Какого... ты ко мне прицепился?».

Он высвободил плечо из-под руки режиссёра, когда они поднимались по лестнице, ему надоело изгибаться, в угоду этому коротышке.

– Знаешь, – продолжил режиссёр, когда они устроились возле круглого железного стола, на изогнутых ножках, – сейчас это такой попс, мода, детей в артисты отдавать... кино, театр. Они



думают, что за деньги можно купить талант, можно купить призвание или вдохновение. Глупыши с золотыми глазами, они наколотили себе бабло на золочёные туалеты и думают, что и детки у них золотые, солнечные, и солнце будет играть им музыку за их деньги.

– Да, но...

– Но я собственно не об этом. Тебе надо собраться, – он отхлебнул из чашки и поморщился. – И это «Американо»? – оглянулся он на буфетчицу, – Да уж, – окинул он унылым взглядом обстановку, – здесь мало что изменилось со времён первоначального накопления.

Он вновь взглянул на Тима, одарив его приторной улыбкой.

– Хочешь? – протянул он ему «Орбит».

И Тим закинул в рот драже, и мягкий вкус обдал его небо.

– А откуда вы...

– Да уж догадался. Вы ж прозрачные ещё, дети... – хихикнул тот вдруг. – Всегда ясные и весёлые. А я, как Распутин, с прививкой даю в крови.

– Чего-чего?

– Это я так, к слову, – он наклонился через стол и похлопал Тима по руке своей влажной пухлой ладонью, и Тим невольно поддался назад, испытав чувство брезгливости.

– Как я тебе завидую, если бы ты знал!

– Да уж...

Тим на секунду задумался, вспомнив подслушанный разговор, и кровь зашумела у него в ушах.

Семён Борисович заметил, как потемнело его лицо, но истолковал это на свой лад.

– Эх, как я тебя понимаю... но сегодня забудь об этом. Стань, как штык, мужчина – это оружие. Стань беспопачен! Перестань быть недотёпой, безвольным слонтяем! Играй смело, открыто, откройся, доверься мне, миру... В тебе есть сила, но твой джинн спит, понимаешь? Разбуди его и отпусти на свободу, чтобы он служил тебе.

– Джинн?

Тимофей смотрел на него, как на полоумного, он с трудом успевал за ходом его мысли.

– Ну да, джинн, понимаешь... джинн и тоник ха-ха-ха! В каждом человеке живёт его сила, как в той сказке про Алладина, но не каждый способен её открыть, и живёт такой человек в страхе и трепете, собирая изо льда слово «вечность», как наш герой Кай, или Юрка Куницын, который, наверняка, будет собирать слово «вечность» из золотых монет на свой унитаз, но так никогда и не увидит, что там за горизонтом, так и не поднимется над собой, не выйдет за границы программы, которую ему навязали родители и общество. А вот ты, кажется, на это способен, как сам думаешь, а?

– Не знаю, – протянул вяло Тим.

Он чувствовал, что жар у него усилился и искал повод, чтобы отвязаться от режиссёра.

Но того уже было не остановить.

– Они думают! – воскликнул Семён Борисович с пафосом, обращаясь к виртуальным «они», – Они думают, – повторил он, – что мы кретины. Но мы не кретины, – мы художники, мы творцы! И только мы способны разбить скорлупу своего эго, и выйти за грани «я»!

Посетители буфета, в большинстве своём работники театра, начали оборачиваться и оглядывать их с недоумением. Сказанное было сильно даже для них. А Тим взглянул на режиссёра и подумал: «Зачем он мне это говорит? И почему именно мне, – разве я его друг, приятель?»

– Да всё ложь, – обронил вдруг Тим невпопад, – Вы, взрослые, всё говорите, говорите, но всё не о том, а о главном даже не заикаетесь, боитесь. Неужели вот так и придётся всю жизнь лгать и не говорить, что хочешь, и всегда прятать то, что живёт в тебе... Вы-то сами верите в то, что говорите? Вы что, здесь подрабатываете бесплатно, благотворительностью занимаетесь? Говорите о высоком, а думаете, небось, только об одном, сколько срубите по итогу, разве не так!?

Тим отвернулся и стал смотреть в окно; он так и не притронулся к чаю.

Повисла неловкая пауза.

– Да, милый, ты прав, благотворительностью занимаюсь, продаю свой талант за гроши, понимаешь, и вот здесь, – повёл он рукой вокруг, – да, всё ложь, всё суета, ты прав, завидую... увы, увы, понимаешь? – режиссёр проникновенно заглядывал ему в глаза, а ведь я тоже хочу, чтобы джинн был свободен, понимаешь? А теперь здесь, за тридцать серебряников, да, малый, ты прав, но...

Но Тимофей уже не слушал его, ему надоела его навязчивая откровенность.

На его счастье, в этот момент к ним подскочила радостная и запыхавшаяся Нина Ивановна.

– Ах, вот вы где, а я вас везде искала!

– Нас?! – удивился Тим.

– Ну, Семёна Борисовича, – исправилась она и покраснела.

– Значит, сделай всё так, как договорились? – бросил ему режиссёр напоследок.

– Хорошо, – кивнул Тим, и впервые ему вдруг по-настоящему стало страшно и весело.



Когда в конце второго акта, Тим сказал Фимке: «Фас!», а сам решительно ступил из-за кулис за рисованный задник и очутился на слепящей сцене, ещё ничего не было ясно. Мгновение он стоял, шурясь от блеска, пот застыл у него на лбу, и сердце трепыхало под рёбрами, как пойманная птица. В партере он заметил маму, бабушку, Карлу и директора школы, даже отец пришёл посмотреть на его игру, он сидел чуть дальше, в седьмом ряду.

По сценарию именно сейчас к нему должны были подойти Вита и Вера, но сначала Вера и, обняв его за шею, приставить бугафорский нож к горлу.

Мелькнули умилённые лица родителей и учителей, в этот предновогодний вечер в театре собрался весь местный бомонд — ещё бы, постановка известного питерского режиссёра!

В партере сидели родители Виты и Куницына, они улыбались, кивали друг другу, делая им одним понятные знаки, и самодовольно озирались по сторонам.

Сам Юрка Куницын сидел в дальнем углу сцены, как наказанный, и изображал Кая, который собирает из льдинок узоры; свою роль он почти отыграл, и теперь ему осталось только вырасти и быть спасённым, и он, силясь изобразить у себя на лице восторженную задумчивость, деланно хмурился с выражением неупутого идиота.

В мгновение, когда Тим появился на сцене, внимание зрителей было обращено на него, но вот, на другом конце сцены, из-за кулис — с залившимся лаем Фимка, в маске мага дождя, прыгнула на Юрку. От неожиданности и страха, он свалился со стульчака и начал отбиваться от собаки ногами и руками, но Фимка, и не думая его трепать, круганулась на месте и по одной её известной причине метнулась за кулисы, откуда, вереща, с ведром, выбежал Васька Лысай, зацепился за подол юбки снежной королевы, которую играла Нина Ивановна (со стороны это выглядело так, будто она сделала ему подножку), и растянулся прямо перед ней; грохнула петарда, ведро опрокинулось, а он лежал, без движения, прикрыв голову руками, и уткнувшись носом в растекающуюся под ним лужу красной краски, которая из зала выглядела, как кровь.

Мгновение в театре стояла гробовая тишина, все сначала подумали, что это такой необычный режиссёрский ход.

Но Васька всё лежал, и лежал, бездыханный, а «кровь» текла, и текла из-под него...

Именно в этот момент кто-то заголосил: «Убили!!! Убили парня!».

И Нина Ивановна невольно дёрнулась, почему-то решив, что возглас относится именно к ней, попятилась, споткнулась, опрокинулась навзничь, нелепо взмахнув тонкими ногами, — и лежала, закрыв лицо руками, моля Бога, чтобы всё быстро кончилось.

Тем временем, счастливо воскресший Васька, загребая руками краску, неожиданно вскочил, и с якобы окровавленным лицом отстранил Виту, которая стояла у него на пути, оставив при этом на её белой собольей шубе «кровавые следы», и Вита истерически завизжала, а он только мотнул головой и, не обращая внимания на её визг, расставив широко руки, пошёл на Куницына, выкрикивая сначала тихо, а потом всё громче: «Я тебя сейчас кончать буду!».

В это мгновение Куницын, который никак не мог подняться, запутавшись в занавеси чертога снежной королевы, рванул, что есть силы, и занавес с нарисованным на нём ледяным замком, и конструкция с треском и грохотом повалилась на него, погребая под горой картонных коробок и деревянных планок.

— Помогите! — раздался протяжный сдавленный возглас Куницына.

— Мальчик мой! Спасите его! — возопила его мать из партера.

Именно тогда в толпе началась паника. Люди кричали и вопили, каждый своё.

Семён Борисович, с перекошенным лицом, нелепо подпрыгивая, как шимпанзе, бросился на сцену и стал гоняться за Фимкой, пытаясь сорвать с неё маску, а та с громким лаем носилась по сцене, а потом сама, видно обезумев от страха, сиганула со сцены прямо в партер и кинулась в ноги матери Виты, которая, увидев перед собой страшную маску, заверещала так, будто её сейчас разденут донага, и будут прилюдно забрасывать яйцами на лобном месте. Отец Виты спрятался за жену, выставив её, как крепость перед собой, а та всё время махала ногой, пытаясь отогнать Фимку, которая почему-то именно её пыталась укунить за пятку.

В это время Васька Лысай, добравшись наконец до Куницына, вытащил его из-под завала и, схватив за горло, стал трясти, как тряпичную куклу.

— Это ты во всем виноват! Давай деньги! Деньги давай! — орал он не своим голосом.

Вита с искажённым некрасивым лицом медленно пятилась за кулисы. Савва и Сява, переглядываясь, жалась к заднику сцены, не понимая, что происходит.

— Вера, идём отсюда, пусть без нас веселятся! — позвал Тим Веру, которая стояла недалеко от оркестровой ямы.

— Фимка, ко мне! — скомандовал он и отшвырнул шапку с рогами.

И Фимка, мелко перебирая лапами, взобралась на сцену по боковой лестнице и кинулась к нему в ноги, счастливо виляя хвостом.

Тим снял с неё маску, передал Вере и сказал:

— Выходи через запасной выход.



– Ага, – откликнулась та, – а ты?

– Я сейчас...

К несчастью, в этот момент на городской подстанции случилась авария, в зале погас свет, – и паника стала набирать силу.

Шум, крики, возгласы неслись отовсюду, – наконец заработали генераторы, зажглось аварийное освещение, и в синеватом свечении аварийных ламп все принялись толкать друг друга, пытаясь пробиться к выходу. Началась невообразимая давка.

– Помогите! – голосила дородная дама с тройным подбородком, которая загородила проход между рядами и не двигалась, упершись руками в спинки кресел, а ногами-тумбами в пол, и её не могли спихнуть даже матёрые охранники отца Виты, который прятался за их спинами и кричал в телефон:

– Срочно пришлите милицию в Дом культуры! Срочно! В театре совершен теракт!

Набрав другой номер, он кричал:

– Доложите наверх, что губернатор жив, пусть высылают спецгруппу, срочно!

Жена его, проявив недюжинную отвагу, пыталась вырвать сына банкира из рук Лысяя и лупила того своей сумкой по чёму попадая, но Лысай как примёрз к своему поделельнику и всё тряс и тряс его.

Тим не видел, куда делись его родные, только заметил Карлу, которая испуганно выглядывала из оркестровой ямы.

Именно в это мгновение настоящим молодцом показал себя директор лица. С бесстрастным лицом он метнулся на сцену и громовым страшным голосом заорал:

– Р-равняйсь, СМИ-И-ИР-Р-НО-О-О!! Равнение на середину!

При этом он швырнул со сцены Семёна Борисовича, который пугался у него под ногами, и тот кубарем скатился по боковым сходам и затих в тёмном углу, охая и потирая ушибленное место.

Команда директора прозвучала среди шума и гомона так неожиданно, что все на мгновение опешили и замерли.

В зале вновь вспыхнул свет, и публика стала жмуриться, и прикрывать глаза от яркого свечения лампионов, стыдливо отворачиваясь друг от друга и не замечая, какой у всех был жалкий и растрёпанный вид.

Директор стоял на истерзанной сцене как последний герой, – это был его звёздный час.

– Сначала выходит галёрка, пропустите людей с галерки! Левое плечо – шагом марш!

И люди, глухо ропща, а некоторые, из тех, кто побогаче, громко выказывая недовольство, что ими командуют, как стадом, покорно и безропотно подчинились, и стали медленно выходить из зала, уткнувшись друг другу в затылок.

Директор стоял на сцене, сорвав с себя галстук, и его худая, жилистая шея бугрилась от напряжения, он был один, как перст, на поле брани, он так себя и ощущал, все его бросили, покинули, струсили. Одна только Карла, озираясь, выползла на четвереньках из оркестровой ямы, и, незаметно прокравшись на сцену, теперь стояла в сторонке, готовая шмыгнуть за кулисы в любой момент.

– Сбежали, как труссы, труссы поганые! – бубнил, возмущаясь, Илья Семёнович, и, выпитив грудь колесом, снова отдавал команды по-военному чётко, ясно и весело.

– Теперь уж я им не спущу, – думал он, наслаждаясь ощущением абсолютной власти.

Утренний снегопад днём сменился позёмкой, а потом вновь повалил снег, ветер набрал силу, и к вечеру начался буран.

Снег застилал глаза. Мело так, что ничего не было видно на расстоянии вытянутой руки; ветер сбивал дыхание, валил с ног, рвал прохудившиеся железные крыши на гаражах, закручивал провода, хлопал дверьми.

Потрясённая публика выскакивала из театра, бросалась к припаркованным автомобилям, но машины буксовали, – всего несколько внедорожников тащились в снежном море, сигнала и ослепляя фарами тех, кто, поскальзываясь и падая, брёл прямо по дороге, не желая уступать путь счастливицам в автомобилях, отчаянно надеясь, что всё-таки удастся встретить Новый год дома, в тепле и уюте, а не стинуть в метели.

Вдоль дороги, там, где их застигла стихия, стояли потухшие троллейбусы с обледенелыми штангами и пустые маршрутки, брошенные на произвол судьбы. Люди шли парами и группами, поминая «на чём свет» и спектакль, и погоду, и правительство, и того, кто их на свет родил, и друг друга, и всё на свете...

– Вера! Вера!? – позвал Тим, выскочив из театра через запасный выход, но в ответ раздавался только свист и вой метели. Фимка крутилась рядом, виляя хвостом.

Он обошёл здание театра и в сквере, пробираясь между сугробами, услышал, как за спиной кто-то громко урчит и ревет.

Под навесом стоял фургон, один из тех, которые он видел ещё в сентябре, и внутри него волновались напуганные вьюгой медвежата.



И он вспомнил, что их до сих пор водили по сцене ряженные аниматоры, вспомнил он и необычный характерный запах, который всегда раздражал его, когда они репетировали: запах мочи и звериного помёта, который не могли стереть со сцены ни специальные моющие средства, ни многократная уборка, — запах страха, запах зверей в неволе.

Он подошёл к фургону и огляделся: свет тускло горел в пустой дежурке. Фимка скулила и жалась к его ногам, почуяв незнакомый опасный дух. Медведи заревели громче, и Тим заметил за решеткой изумлённые глаза одного из них.

На мгновение сомнение остановило его, но он не уступил и стал решительно взламывать замок.

Замок был большой, железный и тяжёлый, как колесо детского велосипеда; порезанная рука распухла и саднила, но он торопился, не обращая на это внимания, а медведи, разволновавшись, заревели ещё громче.

— Тише вы там! — прикрикнул он, и они, услышав человеческий голос, вдруг затихли.

Фимка убежала и осуждающе лаяла из-за сугроба.

Напрасно провозившись с замком, Тим стал отрывать железную скобу, поддев её монтировкой, которую нашёл в дежурке, — придавил — и скоба легко выскочила из деревянной стены фургона. Теперь оставалось рвануть дверь на себя — и звери будут свободны. У него мелькнула ещё мысль: «А что будет, если они бросятся на меня?». Но это была очень слабая мысль. Страх у него не было.

Он огляделся и, наклонившись над парапетом, дёрнул дверь на себя и отскочил.

Дверь открылась, ветер рванул её, ударил с грохотом о стенку, и сразу же из темноты выглянули два медвежонка, они были подростки, но ещё не достигли размера взрослых медведей. Сперва один опустил лапы на снег, но, замешкавшись, не стал выбираться наружу, тогда другой подтолкнул его носом, и они оба соскочили в загон перед барьером.

Первый несколько раз весело подпрыгнул, поднялся на задние лапы, постоял, вновь подпрыгнул, затем упал на снег, кубыркнулся раз, другой, — и остановился, принохиваясь к ветру.

Другой настороженно озирался по сторонам.

— Ну, чего стоите, ну, дуйте в лес! — крикнул им Тим, выглядывая из-за дежурки. Фимка лаяла, спрятавшись за углом здания театра.

Теперь метель лютовала, ветер бросал в лицо пригоршни колкого снега со льдом.

Покрутившись между фургоном и барьером, медвежата стали испуганно жаться друг к другу, а потом вдруг вновь забрались в фургон, с опаской выглядывая оттуда.

— Вот дурилы! Там же лес, свобода! — махнул Тим в сторону леса за рекой.

Но его никто и слушать не хотел, дверь фургона мотнулась, под напором ветра, и, лягнув замком о железную скобу, захлопнулась.

— А, как хотите, а вот я не такой трус, как вы! — бросил в сердцах Тим и пошёл, согнувшись под ветром, куда глаза глядят.

Тим не знал, какая сила ввела его в эту метель и куда она вела его, — но сердце его ликовало! Он шёл сквозь метель к реке, собираясь через парк выйти к дому, но вскоре сбился с пути и заблудился.

Теперь было не разобрать, где небо, а где земля, всё мешалось в тугую, обжигающую ледяной пелене. На миг ему даже показалось, что сквозь метель на него смотрит снежная королева, но он стряхнул это наваждение и пошёл дальше, не разбирая дороги. Несколько раз он поскользнулся и упал в сугроб.

Вдалеке мерцали огни, и Тим подумал, что это были огни города, и пошёл на эти огни, но когда понял, что огни не приближаются, страх впервые коснулся его сердца.

Ему послышалось, что где-то залаяла Фимка, и он улыбнулся, подумав, что она наверняка ищет его по следу, и от этого ему стало теплее, хотя ледяной ветер продувал насквозь, и теперь под ногами почти везде был чёрный лёд, с которого ветер сдувал снег.

Тим вдруг понял, что он давно уже идет по реке, и на мгновение остановился, — ему показалось, что раздался треск. Постояв недолго и переведя дыхание, он пошёл в направлении огней, забыв, что лёд стал на реке недавно; ещё ни разу в том году ребята не катались на коньках на середине реки, а только под самым берегом.

Неожиданно правая нога его скользнула, раздался треск, и он провалился под лёд, едва успев всплеснуть руками. Дыхание у него перехватило, и ледяной холод мгновенно сковал сердце, а главное, что лёд по краям полыни обламывался — он хватался за край, а лёд обламывался.

Тим попытался вырваться из полыни, оттолкнувшись от воды, но сапоги теперь были, как гири, несколько раз он рванулся наверх, но сильное течение разворачивало его и затягивало под лёд.

Мысли его делали дикие скачки и рвались прочь, как зверь, попавший лапой в капкан: лицо мамы, отец перед картиной с мадонной и младенцем, Вера, Куницын, который барахтается у задника сцены, книги, которые он начинал читать и так и не дочитал, бросив где-то на половине; вспомнил Карлу и алгебраическую формулу, которую она объясняла недавно, вновь лицо мамы. . .

И тогда он разлепил примерзшие губы и стал кричать, он стал кричать не «Помогите!», не «Спасите!», и даже не «мама». Изловчившись, он приподнялся над чёрной водой и изо всех сил крикнул: «Вера! Вера!!!». И потом ещё, и ещё раз. . .

И ему вдруг стало легче, удалось скинуть сапог. . .

Он ещё раз рванулся и привалился грудью на скользкий, крошащийся край полыни.



– Вера!!! – закричал он, и слёзы градом брызнули у него из глаз, и именно в этот момент послышался совсем рядом лай Фимки и возглас Веры: «Хватайся!» – кинула она ему свой шарф.

Он поднял взгляд и увидел лицо девочки, охваченное метелью, и стал помогать себе локтями, сбросив второй сапог с ноги.

А потом он лежал на льду и рыдал, а Вера трясла его за плечи, гладила по щекам, и всё повторяла: «Я тебя везде искала. Я же тебя везде искала!».

– Идём, идём! – помогла она ему подняться, и они сначала пошли, а потом побежали сквозь метель к берегу, ступни горели, раз... раз... накатывали волны снежного ветра, раз... раз... вспыхивали яркие огни вдалеке... а на небе разгоралось сияние.

Зимние каникулы пролетели, как одно мгновение. Но если другие развлекались, то Тим провалялся все дни с двухсторонним воспалением лёгких. Часто приходила Вера, и бабушка, которая стала вдруг богомольная, всё время крестила её фотографии, которая стояла у неё на подзеркальном столике. Где она раздобыла её, Тим мог только догадываться.

Несколько раз приходил отец и всё больше молчал, а однажды долго держал Тима за руку и сказал: «Прости меня».

– За что? – вскинулся удивленно Тим.

Но отец не ответил и ушёл.

За последнее время он сильно сдал: похудел, осунулся и только яркие, лучистые глаза напоминали, что вопреки всему, он был ещё крепкий, сильный и волевой мужчина.

Теперь они ещё больше походили друг на друга, и мама отчего-то тихо плакала у себя в комнате, а бабушка успокаивала её.

– Окрепнешь, и я тебя нарисую, – сказал однажды отец, – у тебя хорошее лицо, как у твоих предков, – да, обязательно нарисую, – задумчиво повторил он и ушёл.

Но потом долго не появлялся, мама даже ездила проведать его, в мастерскую, чего сроду не бывало.

После катастрофы в театре из города уехал Семён Борисович, отказавшись от места главного режиссёра, но зато он увёз с собой иной приз, – Нина Ивановна согласилась выйти за него замуж, – он решил и здесь поступить вопреки воле родителей.

– Я сам буду решать, с кем мне жить! – возмущённо кричал он в трубку, ругаясь с отцом. – Если ты этого ещё не понял, то я в этом не виноват, понятно!

Удивительно, но режиссёр нашёл время позвонить и Тиму.

– Слушай, приезжай летом в Питер, есть идея, пока не буду болтать, приезжай, ты мне очень, очень понравился в спектакле, молодец! Это ж надо додуматься до такого! Разворошил осиное гнездо по самое не горюй! Приезжай, и Нина будет рада. Она не в обиде, тем более, – при этом он понизил голос, – тем более, что она сама после шоковой терапии, – хихикнул он, – сразу пала в мои объятия, ха!

Тим согласился, хотя знал, что не поедет, у него и не выходила из головы картинка, когда Семён Борисович прыгал, как шимпанзе, на сцене, и ещё ему неприятно было вспоминать странную улыбку, с которой режиссёр похлопывал его по руке своей потной ладонью, когда откровенничал.

В школе всё постарались замаять и спустить на тормозах. Всюду царил суета и необычная предвыборная атмосфера. Директора Илью Семёновича, как это принято говорить, наконец, заметили и выдвинули на повышение в горно.

«Череп», и прежде бодрячок, теперь совсем возгордился, ходил по школе, надменно выпятив подбородок, и говорил со всеми покровительственно-небрежно.

В борьбе за директорское кресло сцепились Карла и завуч, но, судя по всему, побеждала Карла. Видимо, ей зачлось, что она вовремя смогла выползти из оркестровой ямы в тот памятный предновогодний вечер.

Она только слегка пожурила Тима, когда он пришёл на занятия.

– А ты, Тимофей, проказник, – улыбнулась она приветливо в ответ на его «здрасьте», – так нас всех напугал, но мы рады, что ты вновь с нами. Правда, Юра? – обратилась она к Куницыну без прежнего подбострастия.

– Угу, – отозвался тот угрюмо и уставился в планшетник, отыскивая там своё будущее.

Тим уселся за парту, а когда Глобова, округлив глаза, прошептала: «Как ты?» – равнодушно пожал плечами.

– Всё в порядке, – обронил он и стал смотреть, как ветер трепал промёрзшие ветви тополя, прислушиваясь вполуха к теории пределов, которые излагала Карла со сладкой улыбкой на лице.

«Пределы, пределы, а есть ли эти пределы?», – вертелось у него в голове.

Он перевёл взгляд на прямую, напряжённую спину Виты, которая даже не взглянула на него, когда он вошёл, и ничего не почувствовал, и тогда он оглянулся, – но Веры на месте не было.



Теперь он думал всё время только о ней.

Сначала он хотел от этого избавиться, но потом привык.

Что-то новое и необычное поселилось у него внутри и стало жить там, набирая силу; сначала оно было маленькое, пушистое, лёгкое, как пёрышко, и шекотало, и приносило только радость и умиротворение, когда они гуляли вместе по городу, или сидели на берегу реки, взявшись за руки, оно жило внутри него, свернувшись пушистым калачиком, и улыбалось ему загадочной улыбкой соболя, и грело его, и приносило блаженство. Это была прелесть и ласка, — мягкая, пушистая, шелковистая ласка, которая однажды вдруг выпустила когти, и теперь хорошие дни, когда он видел Веру, сменились плохими бессонными чёрными ночами, когда он лежал с открытыми глазами и не мог не думать о ней, и спрашивал все себя: «Что же это такое?», — и не находил ответа. И всё лежал и смотрел в потолок, прислушиваясь к тому, как тихо шуршит в клетке Гоша, перебирает лапками на жердочке, или скребёт клювом о деревянный пол клетки.

А потом пришла весна.

Ещё в апреле на улицах лежал ноздреватый снег, и дворники в оранжевых накидках долбили лёд целыми днями, но лёд настолько въелся в асфальт и землю, что люди уже смирились с этим, полагая, что теперь так будет всегда.

Но однажды утром подул с дальних южных морей ветер, и за несколько дней снег растаял, а следом растаял и лёд, остались только кое-где грязные разводы на газонах, но вскоре солнце их растопило, давая дорогу новой жизни.

Весна в том году была ранняя, уже в мае они ходили на пляж и загорали, а иногда даже купались, отцветала сирень, и по ночам в комнату Тима сладостными волнами наплывал дурманящий горячий дух.

Но вскоре весны уже не было.

И был рассвет, и они сидели на берегу, взявшись за руки, и река плескалась в своих берегах, обдавая их блеском и шумом.

И в голове у него всё время играла музыка, когда он смотрел на Веру, а потом она вдруг прильнула к нему и нежно дохнула в ухо слова, от которых у него зашлось сердце, и он целовал её, прижимая к себе нечто округлое, мягкое, женское, пахнущее цветами...

А потом они лежали под вербами с клейкими стрельчатыми листочками, глядя, как над ними порхали изумрудно-золотистые блики и бабочки, и ветер тихо перебирал ветви, и шептал о чём-то далёком, и тишина — тёплая, огромная, добрая тишина — качала их в своей колыбели.

Вера смотрела на небо сквозь ресницы и призрачный занавес листвы, и ничего не говорила, только перебирала его волосы, и всё.

А у него в голове не было ни одной мысли, сейчас он был далеко, он сейчас ни о ком не думал, ни о маме, ни об отце, ни о себе, ни о ней, он был свободен от мыслей; солнце пускало зайчики по её лицу, и он следил за их волшебной игрой.

— Провожать придёшь? — спросила она, поправляя волосы.

Он отвернулся.

— А как папа?

Он молчал.

И тогда она вновь прильнула к нему.

— Завещал мне картины. Дядя Лёня торчит у нас дома целыми днями, целует мамины руки, а она его гонит и, закрывшись у себя, плачет. А что я могу?!

Голос у него дрогнул, и Вера прижалась к нему сильнее.

— Я ничего не могу, понимаешь? Врачи говорят, что раньше надо было, а теперь поздно. А я ничего не могу сделать, так это всё... Я так им сказал, что все картины раздам, пусть так и знают, я так и сказал, понимаешь?! Пусть знают.

— Успокойся, пожалуйста, успокойся... — гладила она его по голове.

И ему становилось легче, в глазах гасли радужные капли, река пылала в золотисто-оранжевом блеске, а солнце поднималось всё выше, наполняя мир бесконечной музыкой света.

На следующий день Вера уехала с родителями в Нальчик, поближе к Нахичевани, где были соляные пещеры, и где мама могла излечиться от астмы.

Тим стоял на другом конце перрона и смотрел, как они садились в поезд, и, не дождавшись, когда поезд тронется, ушёл.

Вернувшись домой, он закрылся у себя в комнате, отворил окно, и, запустив горячий ветер с улицы, уснул и с перерывами проспал сутки, никого не пуская к себе.

И потом он несколько дней ни с кем не разговаривал, потому что пушистый зверёк, который жил в нём, теперь полностью овладел им, и тоска не давала покоя, и он целыми днями бродил по городу, по берегу реки, ища её, и нигде не находил, но то, что случилось с ними, продолжало жить в нём и длиться, и даже слова, которые толкались у него в уме и которые он стал изливать на бумагу, были только подобие, и не могли утолить голод сердца.



В июле произошло несколько примечательных событий: Виталина уехала в Москву, выезжали они с таким же апломбом и шумом, как и вселялись, но Тим был в спортивном лагере и не видел этого.

Карла стала директором школы и, счастливая, раздавала всем приветы, и ещё они уступили-таки строительной компании и продали дом.

Однажды в конце августа Тимофей и Глобова сидели в открытом кафе у реки и болтали о всякой всячине.

– Прости меня, пожалуйста, – смущённо произнесла она и было потянулась, чтобы дотронуться до него, по своей обычной привычке, но передумала, задумчиво разглядывая его.

– За что? – удивился он.

– Я так злилась на тебя зимой, ревновала. . .

– Да ладно, забудь, папа тот типок, наверное? – спросил он, кивнув на её округлый живот, отвернулся, и стал смотреть, как дробилась вода на плесах.

– Угу, – обронила она уныло, разглядывая свои большие руки, которые мирно лежали на животе.

Внимание его привлекла необычная парочка, которая шла мимо кафе в сторону речного порта: женщина вела за руку мальчугана лет четырёх, который семенил по бордюру рядом с ней, а потом стал прыгать на одной ноге, пока не сорвался с бордюра. Мальчик всё время дергал женщину за руку и о чём-то просил её, а она ему улыбалась.

– Да, конечно, – кивнул он своим мыслям.

– Ты о чём?

Но он не ответил, вновь глядя на реку.

«Вот, – подумал он, – эта река течёт здесь сотни лет. Она текла здесь до нас, и будет после нас. Она течёт через нас и останется здесь навеки, но мы ведь тоже останемся, разве не так?..»

И он вдруг почувствовал, как река течёт через него, и он течёт в неё. . .

И он подумал о том, что всегда любил воду, дождь, цветение, наверное, у всех у них на доньшке плещется тихий родник, волнуется, перекачивается, бежит по блестящим камешкам, наверное, потому, что все они от воды. . . текут, как реки, струятся во времени.

«Ты успокойся, успокойся, ты не волнуйся. Всё будет хорошо, всё будет хорошо, и мы обязательно встретимся», – говорила она при расставании.

Её руки были прохладными и ласковыми, ласковыми, как сны, как шершавые язычки ушастых малышей, с которыми он возился в далёком сне, в какой-то далёкой жизни, в деревянной горке у Фимки. Но было и что-то ещё. . . томление по неутолённой радости, по неутолимой радости, которую река уносила в море, а море в океан вечности.

Встал. Пошёл. Ноги деревянные.

– Ты куда? – удивлённо приподнялась Глобова.

– Зайду в мастерскую. Отец просил перевезти на квартиру натурщицу, поближе к нам.

– А-а, – протянула Глобова, – ну, пока. Позвонишь?!

– Да, конечно, – кивнул он, точно зная, что не позвонит. Он расплатился за обоих и быстро пошел по набережной.

Вечернее солнце золотило верхушки клёнов, день был жаркий и душный; ливень, который прошёл совсем недавно, свежести не принёс, и вновь нестерпимо парило. Чтобы сократить путь, он пошёл напрямик через газон. На траве, на георгинах и астрах ещё сверкали дождевые капли. С реки дул горячий ветер.

Сам не зная почему, весь тот день он ощущал необъяснимый восторг и воодушевление; то, что так долго томил и мучило его всё лето, стало наконец отпускать, и теперь какая-то новая невидимая сила наполнила его своим током, и он чувствовал, как энергия плескалась в нём, чувствовал, как легко двигалось тело, как приятно было ступать по траве, как приятно было вдыхать речные запахи.

Несколько минут спустя, когда он проходил мимо их дома, возле которого стоял кран с огромной гирей на конце стрелы, сердце у него забилося чаще.

Он остановился поодаль, наблюдая, как рабочие весело балагурили у колодца, запивая бутерброды водой прямо из ведра, – дыхание у него перехватило, и он торопливо зашагал прочь, замешкался на миг у подъезда, в котором жила Вера, и сердце у него бухнуло, но только раз, – в беседке подростки играли в карты, мальшня с визгом гоняла по двору, на месте автомобильной стоянки зиял котлован; Фимки нигде видно не было, – и он с надеждой подумал, что ей наверняка удалось где-то пристроиться. И ещё ему отчего-то казалось, что соседи следят за ним и осуждают его, будто он виноват в чём-то или предал кого-то; он видел за окнами, которые отражались алым в лучах заходящего августовского солнца, их смутные тени, и заторопился прочь со двора, но даже, когда свернул за угол высотки, в которой жили девочки, ему казалось, что их липкие осуждающие взгляды преследуют его неотступно. . . и только новое чувство, которое рождалось в нём, которое он не испытывал никогда прежде, делало его свободным.

Почти весь следующий день, и тогда, когда он перевозил натурщицу Инну с малышом на квартиру, и тогда, когда привёз бабушке в подарок картину отца, на которой были изображены мадонна с младенцем, и когда прогуливался на новом месте, привыкая к шуму города, он чувствовал, как губы его



складывались в произвольную улыбку, а новое чувство наполнило его свечением и какой-то непонятной радостью.

Это чувство длилось в нём весь день и весь вечер, оно длилось в нём ещё неделю, и ещё месяц. . . оно длилось даже тогда, когда они шли клином на тренировке, летя над прохладной пенистой водой реки, сидя на волне друг у друга, и тогда, когда по вечерам он бежал по лесной тропинке – ноги по шиколотку забрызганы росой, – захваченный шумом, шелестом, и сумрачным дыханием леса, бежал босиком, по песчаной дорожке, между высоченными, разлапистыми клёнами и тополями, бежал, перепрыгивая через радостно журчащие ручейки, сбегаящие по узким канавкам к реке, сияющей оловом сквозь листву; слышался мерный тихий выдох волны, и его дыхание сливалось с ветром, и новое чувство наполнило его, как и прежде, несло его на своих крыльях и днём, когда он находился в толпе, и ночью, когда он оставался один, наедине со своими мыслями.

Это чувство длилось в нём и потом, когда он пошёл в одиннадцатый класс, оно длилось ещё несколько месяцев, но возникало всё реже и реже. . . только иногда ему удавалось вернуть на мгновение его, вернуть, как спасительный взгляд девочки в слепящей метели, как тихую музыку солнца над рекой на рассвете, но чувство это было настолько мимолётно, что даже не хватало времени, чтобы поверить в него.

ИЛЬЯ РЕЙДЕРМАН

МОЛЧАНЬЕ МЕЖДУ СЛОВ

Войди в молчанье между слов,
и сам притихни, словномышь,
коснись неявленных основ,
дыханье истины услышь!
Поэта стих – колодца сруб,
внизу же – глубина и тьма.
И шёпот, что сорвался с губ –
ужели истина сама?
И нужно нам пускаться в путь,
и на колодец набрести,
и чистой влаги зачерпнуть,
и удержать её в горсти.

Я человек эпохи постмодерна.
Но почему в душе моей так скверно?
Как будто бы в ней вырубил сквер,
и мир уже непоправимо сер.
Где жизнь, покачивавшая ветвями
и тихо шелестевшая листвою?
Одни громады города – над нами
да шума неумолчного прибор.
Моя душа – как город, многолюдна,
И в ней не умолкает болтовня.
Но я прошу её: хоть это трудно,
услышь не телевизор, а меня!
Моя душа – компьютер персональный.
Она – в Нью-Йорке, в Лондоне – везде.
Ей отчего-то очень нужен дальний.
А ближний – словно на другой звезде.
И время мчится, но идёт по кругу.
И если я кого-нибудь люблю,
то встреча превращается в разлуку,
а сумма встреч-разлук равна нулю.
Я – человек эпохи постмодерна.
Но что же означает это «пост»?
Мы, люди, уподобились наверно
собаке, что кружась, свой ловит хвост.
И мы кружим (зачем – не знаем сами!)
Ум – изворотлив, Бог же – замолчал.
... А нужно бы свести концы с концами,
но так, чтоб вновь суметь достичь начал.



О чём вы все поёте одичало,
 певцы конца? А я – певец начала.
 Любой, кто предал прошлое – мертвец.
 Ведь там, в начале самом, – мать, отец,
 земля, что несмышлёньшей держала,
 весь мир, что в колыбели нас качал,
 всё то, что, с нами жило и дышало,
 чему и ты всей жизнью отвечал.
 И если ты живой, то жизни – мало.
 И – в подлинности Слова и Лица –
 началам верь. И начинай сначала.
 Всё ново. Всё впервые. Нет конца. . . .

Этот мастер скрипичный – совсем слепой,
 ну а тот – всегда во хмелю.
 Я же скрипку упрашиваю: запой,
 потому что тебя я люблю.
 Пой! Пусть мастер скрипичный пьян.
 Пой! Пусть мастер скрипичный слеп.
 Ибо ищут друг друга инь и ян,
 и в руках у них – сеть судеб.
 Это музыка – ловит души, как сеть,
 отпускает на волю, поймав.
 Только если ты не умеешь петь,
 ты чужой средь небес и трав.
 А со скрипкою ты – кузнечнику брат,
 да и птица тебе – сестра.
 Мастер, дай моей скрипке лад,
 потрудишься, не спи до утра.
 И потом ты услышишь такую трель!
 (Я любовь свою – не таю.)
 Что твой хмель? Ибо вот – божественный хмель:
 благодарный гимн бытию.

Кто человек? Он некто – иль никто?
 Он снял свою личину, как пальто,
 и вот на месте глаз его и рта –
 клокочущая жаждой пустота.
 Как знать, кто вправду жив, кто – паразит?
 На нём пиджак. Под пиджаком – сквозит.
 И этот ветер, ветер ледяной –
 страшной чумы – над нами, над страной.

Каково жить в городе Хакосима,
 в непосредственной близости от вулкана?
 Над вулканом – облако пепла и дыма,
 ну а пепел, известно – не божья манна.
 Вероятно, нет ничего мертвее.
 И мир не мил, да и свет – не светел.
 Пойдёшь левее или правее –
 везде на улицах пыль и пепел.



Вот метафора жизни в крупных
городах. Работали люди, жили,
но от хороших и от преступных
дел – остается горсточка пыли.
Пыль да пепел. Мельчайшие части
жизни, бессмысленной и отпетой.
Это останки чужого счастья –
столбиком пыли в лучике света.
Может, когда мы ссоримся, спорим,
пьем, когда нам хорошо или тошно –
кто-то глядит осуждающим взором
из сердцевины пылинки ничтожной.
Как-то иначе жить бы под взглядом
мёртвых. Безмерна наша беспечность.
... Пепел да пыль. Смерть присутствует рядом.
Слово забыто какое-то. Вечность?

Ту тишину, что словно из пустыни,
что перевозанна, как вода, песок,
нести в себе, как молоко в кувшине.
Она не лжёт, и в ней – всего исток.
Слова скрывают наше одичанье,
в них только звуки – без корней, основ.
Но обними любимую в молчанье, –
и, может быть, ты всё поймёшь без слов.
Безумный бег – на миг останови!
Чтоб всё умолкло, чтоб уснуло лихо.
... И станет в шумном мире – тихо-тихо.
И вдруг поймёшь, как мало в нём любви.

Ах, если б жизнь была из тех задач
в учебнике! Но точного ответа
мы не найдём. И сумма всех удач
на жизни смысл не проливает света.
Собой ли был ты честно в бытии,
иль общего был выразитель мнения,
произнося слова как бы свои,
и всё ж не без труда давая сомненья?
А нужно бы сложить судьбу как дом,
кладя по кирпичу-поступку в стену,
о тех заботясь, кто придёт потом,
кто непременно нам придёт на смену.
Жить, не противясь суетной минуте,
бездумно жить, не хмурия даже лба?
Иль смысл искать, дойдя до самой сути?
Суть, в жизни воплощённая: судьба.

Такой хороший человек –
стесняется себя.
Он в книгах роется весь век,
листочки теребя...
Он в тишине оглох, ослеп.
В своей норе, как крот.
В его руках – духовный хлеб,
но кто его возьмёт?



Ах, старая игра в «замри»...
 Нет, из последних сил –
 твори, присутствуй, говори,
 вплоть до разрыва жил.
 Картину – покажи слепым,
 и – голосом сухим
 (пусть кажется – не нужно им),
 стихи – тверди глухим.

Не смыкай же очей. Пусть без сна воспаляются веки.
 В строки книг ты глядишь – или в тот между строчек зазор,
 в промежуток пустой? В нём мечта о свободе, побеге.
 И догадка мелькнёт: о, сколь многое в буднях – лишь вздор!
 Жизнь летит – ибо вольная птица. А мы не успели
 с ней побыть в небесах, и на мир поглядеть с высоты.
 Мы и жить не успели – а ведь были, как будто, у цели,
 да, почти что у цели. Мы чем-то владели. А руки – пусты.
 ...Лишь усилием духа – все вещи раздвинуть, что тесно
 обступили, что нас, обманув, заманили в свой круг.
 А в пространстве свободы – след истины, что неизвестна.
 Только след. Иль отставший, неясно тревожащий звук.
 Но мы живы, мы люди, покуда нам чудится что-то.
 И хотя бы во сне – вдруг ладонь превращаем в крыло.
 И живём позабытою истиною полёта,
 лишь за воздух держась – притяженью земному назло.

Асе

Эта жизнь – плохо сшита,
 плохо скроена – да?
 Но куда – без души-то...
 А с душою – куда?
 Вот вопрос на засыпку:
 жизнь тащить на горбу?
 Иль с душой, как со скрипкой –
 в гомон, в давку, в толпу?
 И поднять над собою,
 над судьбой и бедой,
 над заботой земною
 свой смычок власяной.
 Средь вселенского гама,
 шума, шороха шин –
 хоть простейшая гамма,
 знак упорства души.
 Это некий порядок,
 это жизнь, что чиста,
 что из детских тетрадок,
 чётких линий листа.
 Жизни строй – с нотным станом –
 разменять на гроши?
 Ах, с душою – куда нам...
 Но куда – без души?

КАТЯ ЧУДНЕНКО

НА ОДНОМ КОНЦЕ ПРОСТРАНСТВА

А бывает, в чашке не просто напиток –
Там янтарное солнце – по капельке через сито,
Ложка радостно крутится по оси
И печенье на блюде вбирает в себя июль,
И котёнок с твоими шнурками смешно воюет,
Ты берёшь и проводишь вдруг линию межевую
Между прошлым и будущим, меняешь себя
На живую.
Он сидит в сантиметрах, от плеч его валит жар,
Вы уже с ним знакомы, знакомство всё дорожает,
В это время ты видишь, как матери вас рожают,
Как орут, матерятся, как кривится санитар
От такого себе урожая.
Посмотреть бы на телек, там, вроде, идёт футбол,
И представить себя обнажённой в его футболке,
Но ты видишь: относят вас на убой
Через год или сорок, по сути же, – срок любой
Стиснет горло до хриплого «Я-не-могу».
Ты себя успокоишь, прикажешь, чтоб ни гу-гу,
Скажешь: «Жизнь прекрасна,
И миг совершенен настолько,
Что его пожелаешь врагу».

У меня в шкафу поселился ливень, он течёт на полки и машет гривой,
И твердит сердито, неторопливо: шуру-шу-шу, тра-та-та, та-та,
Я ему подставляю кастрюли, миски, предлагаю чай, наливаю виски,
Говорю почтительно по-английски: «Не могли бы Вы перейти во двор?
Я, конечно, знаю, сегодня – осень, и осенний дождь иногда заносит
То на балюстрады, то крыши сосен он ласкает пепельным язычком,
Но мой шкаф – не время и шкаф не место, здесь всегда забито, повсюду тесно,
И, быть может, всё-таки Вам интересно: Вы шумите так, что мешает спать».
Дождь сопит, молчит, и капризно льётся, и твердит, что пока не нагрянет внезапно солнце,
Ему только и дело что остаётся, что висеть на плечиках вместо туч.
Я могла, конечно же, обижаться, только дождь ко мне начинает жаться,
И дрожать испуганно, и бояться скрипа всех незакрытых оконных душ.
Я его ласкаю: «Ну что ты, милый, ты такой ведь взрослый, такой красивый,
Твои капли играют могучей силой и бесценны, словно большой алмаз.
Ты скажи, ты, быть может, что-то видел, кто-то подлый и резкий тебя обидел,
Или кто-то толкнул, или дёрнул вентиль резко так, что посыпались слёзы с глаз?»
Дождь молчит и дуется, тянет носом, ну и я остаюсь при своих вопросах,
Я иду чесать дождевые косы, я пытаюсь как-то начать дружить.
Дождь сначала терпит, потом привыкает, а потом и сам уже не отпускает,
Требует ночью сказку, а утром чая, привыкает тихо, спокойно, нормально жить,



Мы живём спокойно вдвоём и ладно, иногда жарче, иногда прохладно,
 Иногда слишком мокро (что да, досадно), ну, а в целом, мне нравится ливня звон...
 Как однажды утром в своей постели я не слышу шума и нежной трели,
 Дождевой звенящей ручьем капели, дождевых серебряных дзинь и дзон,
 Открываю шкаф и смотрю на полки, но дождя там нет, и осталось только
 Что одна-две лужи,

Я плачу горько, и гляжу в окно на свет площадей,
 Я гляжу в окно, ну и что же вижу? Дождь шумит на улицах, ветки лижет,
 На оконных рамах он что-то пишет, напевает песни для всех людей,
 Я к нему простираю в надежде руки, и твержу, что не вынесу это муки,
 Нет печальней, глупей и острее разлуки, я хочу чтобы было всё, как всегда,
 Он глядит в упор, но меня не слышит

Я лечу с балконов, крадусь на крыши, поднимаюсь вверх и всё выше, выше,
 Выше проводов, вплоть до серых туч,
 И вот там, среди вязкой серой и мокрой пакли, я дроблюсь на мелочь,
 Дроблюсь на капли и спадаю вниз так легко (не так ли?). Так легко лететь, целовать зонты
 И, цепляясь в глотку, впиваясь в воду, я пускаю в вены свою свободу,
 Запускаю новое время года, разливаюсь холодом на мосты
 И уже изнутри прорастает стужа, и растёт булавочками наружу,
 Она льдом сучится по мокрым лужам, бьёт по тротуарам своим молотком
 И, сжимая ливень в своих ручищах, проникаю внутрь всё смелей и чище,
 И теперь мы друг в друге поём и свищем, и целуем друг друга общим ртом,
 Мы летим по улицам снежным ветром, мы поём и плачем, смеёмся где-то,
 И несёмся серым патлатым белёсым пеплом, через мира звук и беззвучный мрак,
 А в домах зажигают огней гирлянды, примеряют ёлки свои наряды
 И крадётся где-то совсем уже рядом добрый друг, волшебник, большой чудак.

Ты отражаешься как я в остатке дня
 Когда сгорает солнце в пряном пунше
 Ты – человек, что опытней меня
 Скажи-ка мне, как стать немного лучше
 Мы душим вместе эту ночь во сне
 Я на одном конце пространства, ты – на третьем
 А между нами – лучшее во мне
 Подхлестывает время длинной плетью

Пусть никого нет смысла обвинять
 В непостоянстве тем и декораций
 Ты – человек, что опытней меня
 Пожалуйста, не дай сейчас бояться
 Огня и боли, бедности и лжи
 Ты знаешь всё, тебе это знакомо
 Ты видел как сторали миражи
 На окнах непостроенного дома

Мой день опять стремится полинять
 И стать обычным пошлым и безвкусным
 Но человек, что опытней меня
 Ты тоже чувствуешь как я и это чувство
 Нас разливает в нишу между всех
 Секундных стрелок, глупых искажений
 Вот я смотрю как кроет землю снег
 И начинаю по нему к тебе скольжение

Какой небесный факир
 Налил это время в стакан?
 – Пей, – сказал. – Хочешь, мир
 Брошу к твоим ногам?

Он бы не бросил, конечно,
 Просто испытывал, смотрела в глаза,
 Ведь у него в руках вечность
 (Не говоря о том, что гроза),
 А я могу только вовремя крикнуть:
 «Постойте!
 Не надо гнать меня на эти вершины,
 Я ещё не успела, мне нужно привыкнуть
 Жить в теле женщины, пока рядом мужчины,
 Собирать по обломкам правду,
 Узнавать её среди обновок,
 Переживать ежевечернюю ломку,
 Утром себя вынимать из пелёнок,
 Знать, что вовсе необязательно
 Быть самой важной на свете птицей,
 Просто стремиться сделать всё тщательно,
 Будто готовишься завтра родиться,
 Ежесекундно готовишься к смерти,
 Так, чтобы завтра очнуться зрячей,
 Не в новом теле, не в новой жизни
 Но в другом измерении,
 Где все иначе».

Видишь ли, Анечка: каждый мужик – это враг,
 Лезет под кожу и терпко внутри горчит,
 Каждый мужчина есть сумма надежд и врак,
 Боли, амбиций, потерянных лет, мочи,
 Той, что уверенно в голову прёт огнём,
 Хочет тебя отчаянно поменять.
 Все мы себя за немножечко продаём.
 Каждая женщина, Анечка, в чем-то б[...]ь.
 Что мы в них ищем, волосы теребя?
 Может, зрочки сужающий порошок?
 Как бы нам не любилося жалеть себя,
 Любим себя почувствовать хорошо,
 Жаждем пригреть иллюзии на груди,
 Принца загнать в супружескую кровать.
 Тот, кто кумиров бережно находил,
 Знает, как себя, правильно предавать.

Хватит вот этих вот – Если? А что? Да как?
 Лоб мой саднит от запущенных размышлений,
 Капает время, не так чтобы – «как-кап-кап»:
 Тихо смывает ещё до прибытия трап.
 Выйти и можно, но только с размаху о землю
 Ноги сломаешь, и выше будет болеть,
 Впрочем – стелю (не сказала, чтоб очень мягко),
 К выходу ринуться, громко сказать: Аллэ!
 Оп! И, зажмурившись, прыгнуть. Пароли, явки
 Бросить в лицо тому, кто придёт спасать,
 Жать его руки, хвататься за униформу,
 Верить: потерпишь чуть-чуть, и тебя оформят
 В самые лучшие новые телеса.



В тени цветущей черешни
 До невозможности сладко
 Чувствуется в ней нездешний
 Сахар рахат-лукумов
 Нюхаешь в одурении
 Эту цветущую кашу
 Чудится чудо-варенье
 Нежно язык ласкающее
 И вот ты хватаешь цветение
 Губами его срываешь
 Пыгаешься в нетерпении
 Выпить весеннюю сладость
 Но – что за вкус с горчинкой?!
 Что за сок неприятный?!
 Что же так огорчило,
 Дерево
 Раз оно горько?
 А может быть (вот как бывает),
 Люди и ветки черешни
 Сладость воспринимают –
 Каждый – очень по-разному

Я – не супервумен, не супермен,
 Я – система кожи, костей и вен,
 Я, как все, совершаю простой обмен
 Холостых приветствий.

И я не смогу (ты меня прости)
 Ни тебя понять, ни тебя спасти,
 Ни угрозу тайную отвести
 Всевозможных бедствий.

А хотелось бы за тебя болеть,
 За тебя – в огонь, за тебя – на смерть
 Но мне стыдно правде в глаза смотреть:
 Я боюсь и смерти, и огня, и боли.

Я скрываю обычно внутри себя
 Шелуху-груху, не бальзам, а яд,
 Я тащу в сокровища
 Всё подряд,
 Примеряю роли
 То пай-девочек,
 То стервозных девиц,
 Выпускаю зависть
 Из-под ресниц,
 Примерять десяток фальшивых лиц
 Мне обычно
 Нравится.
 Так чего же я, не имея прав,
 Всё хватаю ангелов за рукав
 И шепчу, все силы внутри собрав,
 Искривляя рот:
 «Ну, пожалуйста, пусть он никогда не умрёт,
 Никогда не состарится».

ТИНА АРСЕНЬЕВА

ЧТО БУСЫ, ЧТО ВЕРИГИ

СВЯТОЧНОЕ

Давай же, сводничай, провайдер,
И если сбыться встрече пылкой,
То не в адажио Вивальди,
А за приятельской бутылкой.

Чтоб в залежь трезвостей плачевных,
Чей слой благонадёжно косен,
Вошло смятенье, как в сочельник –
Последний выдох павших сосен.

Так кукольную несуразность
Вертепа с бойким зазывалой
Живит молитвенная праздность
Тоски по встрече небывалой.

Вот так из графика и сметы,
Из колеи, с резьбы, с катушек
Хвост неприкаянной кометы
Сатрапа выбьет и пастушек.

Сверчку, цикаде и прибою
Доверимся светло и сирю
В безумном праве быть собою,
Ничем не будучи для мира.

А мир, грозящий нагоняем,
Как водится, хватился поздно,
Ведь тот любовник несменяем,
С которым век пребудешь розно.

Хватило духу бы свирели,
Достало б жёсткости у диска...
Так жаворонок ночью трели
Излил на смертный одр Франциска.

Зажги сочельниковы свечи
И расколи броню ореха;
Вообрази возможность встречи,
Вокруг которой жизнь – прореха.

Прими вино и угошенье
В помин любовного страданья
И эту жизнь как обольшенье
Бессрочной грёзой ожиданья.



Но в нём сокрыто изначально
 Не о земле обетованье!
 Вот почему всегда печально
 Звезды вечерней волхвованье.

ПОЭТУ

2011 год – 170-летие гибели Лермонтова.

Тоска, мой друг! Что город, что село,
 Что бусы, что вериги – промельк мимо,
 Покуда шар в орбите не сбоят:
 Она как Соломоново кольцо,
 Хотя о нём в завете ни помина –
 Его измыслил разве что пиит.

И небеса хоть в свиток, хоть в рулет –
 В удел нам безысходная изнанка
 С попыткой прорыва, что вчерне
 Тому назад за полтора лет
 В латентном суициде лейтенанта
 Сказалась под кампанию в Чечне.

Капелью-провозвестницей со стрех
 Долдонь, не напитав ни рек, ни суши,
 Смутив и обнадёжив чей-то кров.
 Ведь, может, в том твой неизбывный грех,
 Что в певчем горле комом хлеб засушенный
 Стоит до упразднения миров

И что в искус свергаешь смысл и цель,
 Мечте придав права воспоминанья
 О мире, чьи неведомы черты.
 Сумрачноглазый мальчик-офицер,
 Ты даже в скорби многого познания
 Незрелым пребыл, – что ж тревожишь ты?..

Чудно, мой друг: возделывать гряды
 Небесную – и пугалом маячить,
 Ничтоже уподобив шест кресту;
 И брать, не конвертируя звезду
 Ни в яшмовый чертог, ни в хлебец ячный,
 В кольцо словес – всех истин наготу.

КАНУН

В перестуке – зуб-на-зуб – электричек подземных,
 В преисподнем их скрежете – чисто зубовном, –
 Я гляжу в никуда: вдруг привидится зелень
 И, по гриву в ней, зебры в восторге любовном.

Не взыщи, соврала, – не всплакнула ни разу
 Над изыском жирафьим в законную непогодь.
 Нам, и в недрах всезрящему вверенным глазу
 Майкрософта, и травку измыслить-то некогда.

Перестук – в пересчёте: то ли рельсовых стыков,
 То ли нас, ненаглядных, и наших деяний –
 Для судов и торгов. Лишь валяжные тыквы
 Где-то нежатся в кротости солнцестояний.



Как созреют, их тоже снесут на базары:
Мы, славяне, заварим вселенскую кашу;
Нами метко плюёт преисподняя заверть
Из конвейерных пастей – прям в родину нашу.

Мы, в вертушках юля, как на отмели рыбки,
И теснясь, как на нерест, – рванём врассыпную
В небывальщину: в заводи лета, на рынки,
Где днепровские ведьмы – Христа одесную –

Вяжут мётлы душистые «на маковия»,
Вороха черноривцев медами застроишь,
И до дупы нетленья им Киева-Вия
В мерзлоте, и как звали тех братьев-героев!..

НА ДАЧЕ

художнице Галине Мещеряковой

Вино и фрукты на столе
В охвате тремоло сверчков,
И под откосами, во мгле,
Сверк нереидиных зрачков;

Гитары сбивчивый пролог
Стеснён средь звёздных косяков;
И встречу губам – ответный вздрог
Слепых дурманящих цветков;

И этот сбивчивый, родной
О всепланетном толк – в глуши,
И тайный вздох: «О, сад ночной!..» –
Ночной – перст на устах – души.

Она из тех – ещё налей!.. –
С лица земли сошедших мест,
Где сад в охвате тополей
И на заборе мой насест,

Где, одинокий часовой, –
Одна – подзвёздно – навсегда! –
С закинутой головой
Вперяюсь: вот падёт звезда –

Сорвётся, как внезапный вскрик,
Как прочерк в списочном листе...
И кто-то, в этот самый миг,
Меня заметит в темноте.

Но мне постигнуть не дано,
Как взор сей пристален и прост:
Ведь я давным-давным-давно
Покинула мой райский пост...

Чем щедр был, чем отягощён
Тот сад – не помнится земле.
Мне весело. Взмахнув плащом,
Выводит ночь парад-алле.

Вино и хлеб, – о, сих наград
С лихвой, чтоб сбить любую спесь.
Нет памяти о прежнем, брат.
Но уповаю: будет песнь.



ЕККЛЕЗИАСТ

Видеоклипы вседневных забот,
Ум завлекая обманкою смысла,
Застят костёр над бескрайностью вод,
Глушат цикаду на краешке мыса.

Жизнь регулярна. В рассоле макрель
Нежится после солёной пучины,
И по весне соловьиная трель
Подчинена тяготенью причины.

В благости ливня и пахота – грязь.
Всё, что гонимо, и всё, что хранимо,
Годы стасуют; лишь смерть отродясь
И несомненна, и неотклонима.

Радуйся – нынче она не твоя,
Пусть бы и змий по Эдему елозил, –
Если корпит над ларцом бытия
Неутомонный кузнечика лобзик.

Ты, небожитель на краткий присест,
Земли в машине объём окрылённой,
Удостоверься: они – палимпсест,
Да и притом не однажды скоблённый.

Радуйся миру в родном уголке,
В банк твоих знаний приняв пополненье:
Мышь, егозящая на поводке,
Да не подточит твоё самомненье,

И да продлится выносливость шин
В дивном знакомстве с юдолью изгнания.
Пей же, пока не разбился кувшин,
В дар от лозы и от кладезей знания.

Нет, не ревную твою правоту.
Вам ли, кто книгами Числ озабочен,
Страшен сей фикс про сует суету,
Изобличённый как вирус обочин.

Но, мироздания читая чертёж
И превзойдя толкований каскады,
Мудрость, о, юноша, приобретёшь,
В полдень расслышав хронометр цикады.

ЕВГЕНИЙ МУЧНИК

В ИНФОРМАЦИОННОМ ПОЛЕ

На пляже стало вдруг светлее,
хотя ещё не рассвело —
ларька пивного чуть левее
тут приземлился НЛО.
В цветастых плавках гуманоид
с разбега — в воду и плывёт.
От наслажденья рожи строит
и тихим голосом поёт
о том, как любит с Альтаира
на Землю, в Южную Пальмиру
слетать у моря отдохнуть.
На Марс дешевле, но, к примеру,
там не такая атмосфера,
там моря нет, а здесь — всё в меру!
Преодолев огромный путь,
скафандр можно отшвырнуть!
Забыв постылую карьеру,
командировки на Венеру,
морского воздуха глотнуть
и с пирса «ласточкой» нырнуть!

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О БАКУРИАНИ

Давным-давно я отдыхал в Бакуриани,
где можно спортом горнолыжным заниматься.
Имелись в детстве у меня лишь только сани,
а мне хотелось и на лыжах покататься.

Но с гор катание осталось лишь мечтою,
ненужным лыжи там представились предметом:
мы отдыхали слишком поздною весною —
в Бакуриани в это время снега нету.

Зато экскурсий провели немало с нами,
и не скучали мы, конечно, вечерами.
Не так уж плохо получилось всё в итоге:
и отдохнул — и целы руки, целы ноги.



ПРОФНЕПРИГОДНОСТЬ

Из меня руководитель – никакой:
подчинённый снова ленится – терплю.
С этим типом заводиться не люблю.
Нелегко руководить самим собой.

СХОДСТВО С КЛАССИКОМ

Мне так работать хочется порой,
как Пушкину – бороться с саранчой.

НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ

Мне говорят знакомые ребята:
– Вот если бы тебя нам в депутаты...
А я в ответ с недоброю ухмылкой:
– Не выпускайте джина из бутылки...

Насколько лучше ты, избранница моя,
тех скандалистов, что всегда бывают правы.
Ты бедность нашего простишь мне бытия,
и то, что я ленив и тупо жажду славы,
и если с бабой вдруг по дурости попался!..
Нет, тут уж слишком я, пожалуй, размечтался.

Эффектную девицу приглашая
заехать вечерком на чашку чая,
услышал от неё ответ такой:
– Характер у меня – ох, непростой!
Два мужа не смогли со мной ужиться...
А я и не планировал жениться.

МОНОЛОГ РЕАЛИЗАТОРА

Пусть я тебе не брат, не сват,
пусть ты не фотоаппарат,
я улыбнусь тебе, прохожий –
но ты уж постарайся тоже
и, у ларька прервав свой путь,
купи хотя бы что-нибудь...

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
НЕУДАВШЕГОСЯ БИЗНЕСМЕНА

Всё начинал с нуля. И лишь потом
я оказался в минусе большом...



ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Пусть, дорогая, ты слегка под газом,
и материшься, и фонарь под глазом —
я от «Альтфатера» не отойду,
пока тебе подарок не найду.

Шаланды, полные кефали,
Бычки... Но есть один пробел:
не все мы устриц здесь видали,
и далеко не каждый ел.

Жалеть об этом есть причина,
пишу о них не просто так:
они — полезный всем мужчинам,
мощнейший афродизиак.

И если б устрицы водились
у наших славных берегов,
эх, сколько бы ещё родилось
врачей, поэтов, дураков...

В июльский знойный полдень, от жары устав,
себе холодненький пломбирчик покупаю.
Им наслаждаться буду, а его состав,
после того, как съем, уж лучше прочитаю.

РЕМЕЙК

Солнце, воздух и вода
и, ещё добавлю я,
современная еда —
нам не лучшие друзья.

Волны — купаешься в них постоянно.
Поздно ли вечером, утром ли рано,
ночью ли, днём — и не скажешь: «Не буду!»
Волны электромагнитные — всюду.

Бывает — окупёшься в чью-то душу,
как в море... После моешься под душем.

ЗАПИСКИ ПЕНСИОНЕРА

Я никогда, если еду в трамвае,
матерных слов в разговор не вставляю.
Пиво в трамвае не пью из бутылки,
музыку я не врубаю с мобилки.



И на колени свои не сажаю
мне по летам подходящих венер.
И шаурму или, скажем, эклер
я не жую, всюду крошки роняя.
Пенсионер – всем ребятам пример!

NN

Он время обогнать сумел –
уж слишком быстро постарел.

ЗАПИСКИ ЛИТЕРАТОРА

Неплохо в окружении живу
художественных образов своих.
Но часто, к сожаленью, наяву
прообразы мне жить мешают их.

Поэт всего лишь проводник, не боле,
стихов, что в информационном поле
рождаются и до поры ничьи.
Но кто-то днём ему или в ночи
как будто бы нашёптывает их,
и за стихом на лист ложится стих.

Поэтому, читатель, если бред
порой несёт какой-нибудь поэт,
не думай на него – бери повыше:
что сверху продиктуют, то и пишет...

Не только душа у поэта болит
за то, что творится вокруг.
Вдруг может развиваться, допустим, гастрит,
кольнёт где-то в печени вдруг.
Сустав на погоду порой заскрипит,
заноеет некстати спина...
Не только душа у поэта болит,
а лучше бы только она.

ФЁДОР ГАВРИН

ЛЯГУШОНОК, СТАРЫЙ ЖАБ И ЖУК ФИЛЬКА (Несколько дней лета и осени)

УТРО ОДНОГО ДНЯ

Ни Лягушонка, ни Старого Жаба в целом мире некому было любить. Ну некому!

Уж так вышло, что повстречались они между Нижним Болотцем и заброшенным полем, разговорились, попрыгали в своё удовольствие и как-то само собой подружились.

– В такое чудное утречко только с врагами мириться, – сказал Старый Жаб.

– А если в карманах ничего не прятать, тогда душа лёгкая, сама поёт, – поддержал общее настроение Лягушонок.

Жаб достал тетрадочку и записал: «Если в карманах ничего не прятать, тогда душа лёгкая».

– Ты очень мелко пишешь, – отметил Лягушонок.

– У меня первоклассное зрение! Бывает, что буквы не слушаются, но я их ловлю и рассказываю по местам. – Жаб закрыл тетрадочку и убрал. – Что ты ел на завтрак?

– Я? – Лягушонок надолго задумался.

Жаб подождал раз, на глаза попался паучок: ну-ка сматывай паутину, чеши отсюда, пока цел! Насекомое как ветром сдуло.

Жаб подождал второй раз и неожиданно-негаданно прыгнул. И упрыгал куда глаза глядят.

НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ

С самого утра всё существо Старого Жаба прониклось раздражением. «До самого ядра», как сказал бы Орех, умеи он разговаривать. Причина таилась во внезапно наступившей жаре – растения стремительно теряли влагу, стало горячо дышать. Он знал последний верный способ отвлечься и утихомирить нервы: поесть! Но и здесь осечка. Жук, которого он заприметил и точно рассчитал до него расстояние, оказался обманкой.

– Кто же это тебе голову заморочил, что ты несъедобный? – допытывался Старый Жаб.

– В Интернете! Там очень красивая фотка и слово в слово: «Такая расцветка подтверждает необычайную ядовитость жука Фильки».

– Так ты ещё и Филька? – Следующие слова Жаб проглотил, они упали в пустой желудок и возродились эхом: ...ать, ать, ать...

Разговоры прервала песня. Её кричали из-за холма.

*Если ты меня не просишь,
Если ты меня не просишь,
Ничего я не умею,
Ничего я не хочу.*

*А попросишь выпить море,
Я взгляну на это просто,
Как на детскую затею, –
Отхлебну и проглочу!*

– Вслед за песней объявился собственной персоной Лягушонок.

– Привет всем, которые внизу! – заорал он до самого неба. – Я влюбился!!!

– Разорался, так и ру-рухнет всё! – буркнул жук.

Жаб медленно опустил веки и почувствовал себя древним, большим, пупырчатым, никому не нужным. Захотелось, чтобы день немедленно сменился ночью, весна – поздней осенью, а он, зарывшись глубоко в землю, смотрел бы и смотрел свой любимый сон, а во сне – запах спелого яблока с червячком.



И тут, ка-ак бабахнет, ка-ак тарарахнет, ка-ак ру-рухнет:

– Я затаился от неё в прыжке, – шумел Лягушонок.

Старый Жаб вынырнул из прохладной мечты в знойный полдень. А Лягушонок всё набирал обороты:

– Я затаился и... обомлел! Как же она осторожно касалась лепестков цветка! Снизу! Сверху!

Сердце моё наполнилось восторгом.

– «Она» это кто? – вставил слово Жаб.

– Бабочка! – задохнулся Лягушонок. – Бабочка! Точная копия цветка!

– Вот ты, влюбился в бабочку, – и, получив утвердительный ответ, Жаб продолжал: – А почему ты не влюбился в лягушку?

Лягушонок застыл на месте.

– В лягушку каждый дурак может влюбиться – наконец вымолвил он.

И тут Старый Жаб, а за ним и жук Филька не выдержали Смех до слез сквозь «ква-ква» и «быть такого не может» огласили все два леса. От любопытных мух не стало отбоя. Так что когда досмеялись, Жаб и Лягушонок пообедали. А ранее напуганный паучок спешно расставлял сети.

Старый Жаб, набив брюхо, дремал в лопухах.

Лягушонок, нечаянно лизнув Фильку, ждал неминуемого конца света.

Филька же из мушиных крылышек мастерил солнцезащитные очки.

И как-то забылось, что только что совсем рядом случилась любовь.

ЧЕРЕЗ ДЕНЬ

И вчера, и сегодня льёт дождь. Лягушонок, как проснулся, стал считать дождевики. Одной не хватало.

Пошёл к Старому Жабу, рассказал. Жаб что-то старательно записывал в тетрабочку, но отвлекся:

– Как это, не хватает дождевики? Капало, капало – и на тебе! Целой капли недосчитаться! Пересчитывай!

Лягушонок аж квакнул.

– Не смогу!

– Сможешь! – отрезает путь к отступлению Жаб.

– Все дождевики перемешались, – взмолился Лягушонок, – все до одной. Их нужно с самого начала считать, как проснёшься.

– Я, когда просыпаюсь, пишу. – И Жаб, опомнившись, застрочил в тетрабочке. Букву к букве, словечко за словечком.

– Может, я проснулся на одну дождевику позднее, – вслух подумал Лягушонок, – может, это несосчитанная капля и разбудила меня?

Жаб бросил тетрабочку и принялся её топтать:

– Ты всегда такой умный или только по четвергам?!

– Да, – обрадовался Лягушонок, – сегодня мой любимый четверг.

Жаб, продолжая негодовать, пустился в рассуждения:

– Разве может четверг быть любимым? Или пятница? Или мне всё это снится?

А Лягушонок торопится объяснить:

– Как раз этот самый четверг! А бывает, живёшь-живёшь и проживаешь нелюбимый четверг. Тогда мечтаешь: поскорее бы он закончился. А он делается ещё длиннее. И никто тебя не любит.

Жаб поднял тетрабочку и записал: «День делается длиннее, когда тебя никто не любит». Остановился, поморщился и дописал: «...и когда ты сам никого не любишь». Потом нарисовал жирную – прежирную точку и задумался.

– Послушай, – обратился он к другу, – ведь таким образом мы с тобой можем растягивать время. Делать его длиннее, когда никого не любим. Можно сказать: «До вечной жизни один прыжок».

– Не получится, – залепетал Лягушонок. – У меня «до вечности» не получится. Во вторник я влюбился в красивую бабочку – и куда подевался этот удивительный вторник?! А понедельник? Мы едва успели подружиться, а солнце с половины неба упало. И сегодня! Разговорились в мой любимый четверг, а уже смеркается. Всё время кого-то или что-то люблю. И мне ужасно нравится, когда ты записываешь слова.

Жаб спрятал тетрабочку.

– Ты, наверное, пишешь книгу? – догадался Лягушонок. Жаб скромно кивнул. – Может, ты мне её считаешь?

– Слишком темно, – ответил знакомый голос.

Вечер неожиданно перетёк в ночь. Дождь усилился. Друзья сидели бок о бок под листом лопуха, и Дрёма вдыхала им в глаза тёплые сны.



ПЯТЫЙ ДЕНЬ

(первая половина)

Дождь прекратился ночью.

Проснувшись и увидев изнанку лопуха и никого рядом, – Старый Жаб расстроился. Да и мобильного телефона у него не было. А так набрал бы номер Лягушонка и спросил: «Это ты?». А Лягушонок бы ответил: «Это я!». Но в целом мире никто не спросил и никто не ответил. И ни гусеницы, ни слизняка, чтобы чуточку утешиться.

Тут объявился ядовитый жук Филька и заорал:

– Я несъедобный! Я несъедобный!

Накричавшись, он внимательно осмотрелся и застыл перед Жабом:

– У тебя глаза синие. Наверное, синего наелся?!

– Вот я тебя сейчас съем, и станут глаза в крапинку.

Жаб плотоядно слотнул.

– А вежливые земноводные не стесняются говорить хорошие слова! Или не так? – И Филька бесстрашно отвернулся: в Интернете накопал, что жабы в неволе живут до тридцати шести!

Жаб ждал продолжения.

– До тридцати шести, – повторил Филька громче

– Заладил: тридцать шесть, тридцать шесть. Из чего эти тридцать шесть?

– Как из «чего»? – жуку даже срамно сделалось, и он затараторил: Весна – лето, лето – осень, гусеницы, муравьи, клопы! Клопы, жуки, гусеницы!

– Не мог сразу так объяснить? – Довольный Жаб почавкал губами, выпрыгнул за границу тени, ловко поймал и проглотил козявку. Следующий прыжок скрыл Жаба в зарослях мелкого кустарника, травы, переплетениях опавших веток.

– Пстой!

Но было поздно, и что значили слова «живут в неволе» осталось загадкой.

Филька сокрушённо вздохнул, проводил взглядом убегающие всполохи трав, сделал два мелких шажочка вбок и слился с окружающей дикой природой.

Совсем низко пролетела голодная птица.

ПЯТЫЙ ДЕНЬ

(вторая половина)

Филька разыскал Лягушонка у Нижнего Болотца. Тот сосредоточенно рассматривал трухлявый пенёк.

– Офигиндер! – выразил жук своё восхищение. – Берёзе было все двести.

– Чего «двести»? – не понял Лягушонок.

– Как «чего»? Заладили с Жабом: чего? чего? Того! Весна – лето, осень – зима, солнце – дождь. Выше и выше. Ветер – снег. Мы на земле совсем маленькими ей казались!

– Так бы и объяснил!

– Молния её свалила. Самая высокая точка на все два леса была. Высунулась! – Последнее слово Филька произнёс осуждающе.

– Но побыть самой высокой... Самой-самой! – У Лягушонка аж дух захватило, как представил взлетевшее в небо чудо. – Может, она улететь хотела? А? До самых звёзд!

Жук встал на задние лапки, на его брюшке набухла ядовито-коричневая капля, похожая на смолу.

– Лизни! – грубо предложил он Лягушонку, – и не будешь мучиться, придумывать чужие жизни. Никуда она не собиралась! Просто высунулась! А молния её хрясть! По кумполу! По стволу!

– Хороший пенёк! – перебил Лягушонок. – Огромный, трухлявый, то что нужно! Подарю Жабу. Жаб, когда очень замерзнет, залезет в него, закопается поглубже, в самые корни, и скажет: «Лягушонок пообещал и сдержал слово».

– Пообещал! Ты, Лягушонок, по-обещал, – почти пропел Филька. – Красивое какое слово «пообещал». А ни ты, ни Жаб мне никогда ничего не обещали. Может, сейчас пообещаешь? И за Жаба тоже!

– Надо у Жаба спросить.

– Мы же друзья! – возмутился жук. – А друзья всегда за друзей. А за друзей – друзья. Я бы сам за вас пообещал, но лучше, если ты пообещаешь, чтобы я это слышал.

– Хорошо. Если ты так говоришь, я обещаю! Теперь слышал?

– Совсем другое дело! Тогда до завтра! – И Жук Филька умчался, только его и видели.

А Лягушонок попрыгал-попрыгал и решительно поспешил к озеру. «В болото всегда успею», – мелькнула мысль.



ОБЕЩАННЫЙ ДЕНЬ

Лягушонок проснулся, открыл глаза. Далеко-далеко, где озеро упиралось в небо, появилась точка и сразу раздвоилась. Одна часть летела в небе, другая – в озере. Двигались в его сторону. Он моргнул и высунул всю голову из воды.

Только что, во сне, он занимался споттингом, фотографировал самолёты. На взлёт, на посадку! Ничего во сне не боялся. «Вот так, Лягушонок! Вот так, земноводное!». И что-то огромное, яркое, неведомое наполнило сердце восторгом. Учащённое дыхание подняло волну от носа и почти до самого берега. «Как же это (Лягушонок перевёл дух) похоже на мою любовь!».

– Выпускай подкрылки, тормози. – Голос Старого Жаба вернул Лягушонка в воду. – Нельзя забывать о законах природы. Задумчивая добыча, как пчела с мёдом... словом, бутерброд. Чем не подарок для бомжующей чайки?!

Лягушонок крепко зажмурился, и в башке тут же включилась темнота, нарастающий раскат грома обернулся рёвом двигателей, высоко-высоко над их озером серебряный крестик тянул белую паутинку.

– Эй! Эй-ей! – с берега надрывался во всё горло Филька. – Эй-ей! Вы мне обещали!

– Мы ему обещали, – повторил Жаб.

– Да. Ничего не поделаешь. – Лягушонок вздохнул, поймал комара, подержал во рту и выплюнул. – Ничего не попишешь. Поплыли! Нет, постой! По-твоему, мечтающий лягушонок для кого-то бутерброд из лягушонка и мечты?

– Фантазиями сыт не будешь, мечту всегда во что-нибудь надо заворачивать или на что-нибудь намазывать, – ответил Старый Жаб, перебираясь с коряги на берег. Он подождал, пока подплывёт Лягушонок, и вместе они направились к Фильке.

Ядовитейший из всех жуков, Филька ждал их в выемке под стволом упавшей берёзки.

– С тех пор, как вы мне пообещали, я места себе не нахожу, – сказал он.

Жаб, протиснулся вглубь.

Лягушонок примостился рядышком.

Так троём и просидели до вечера, до ночи...

«Заморить бы червячка», – мечтал Жаб.

«И зачем выплюнул комара?», – корил себя Лягушонок.

Филька был счастлив и до краёв голоден.

Ровное дыхание ночи убаюкало Лягушонка. Ему снилась бабочка с круглыми чёрными точками на белых крылышках. Старому Жабу приснилась белая цапля с тёмными перьями в хвосте. Фильке – белое поле, а по полю ровными рядами цифры...

Такие вот берёзовые сны.

ДЕНЬ КАК ДЕНЬ

Лягушонок топал в сторону Нижнего Болотца и разговаривал сам с собой:

– Учиться? Ну кто любит учиться? Никто не любит! Может, Старый Жаб любит? Так это он от старости! А что еще остается старым делать – учиться остается. А мне зачем учиться? У меня и времени на учебу нет. У меня пальцев не хватает пересчитать все заботы. Первая – позавтракать, вторая – нырнуть до самого дна, третья – очень секретная, четвертая...

– Кто там растопался? Кто так расшумелся? На все два леса! Пора огнём жечь да камнем бить!

Лягушонок замер. Огляделся. Но вокруг только муравьи да мошки. Он чуточку забоялся, и подумал: «Чей -то противный голос делает замечания, и ты затыкаешься. Как такое возможно? И как может голос быть сам по себе? Утка крикает, лебедь гекает, комар пищит, – голос всегда живёт в теле, маленьком или большом. Так где же тело? А что рассказывала Старуха Лягуха? Хоть тресни, не вспомнить! И зачем пропустил её уроки. Ну да ладно, семи смертям не бывать». Он собрался с духом, закрыл глаза и со всей мочи прыгнул в сторону невидимки.

– Ой, ой, – заорало под ним. – Ты что? Совсем?! Отвали от меня!

Под Лягушонком корчился расплаженный жук Филька. Лягушонок от неожиданности скакнул в сторону и принялся вытирать лапки: «Мало того, что жук ядовитый, так ещё и какой злощип! А грязный... Фуу!». Лягушонок перевёл дух. Посмотрел на приятеля и обомлел: яркий наряд сместился по спине жука вбок, вместо пяти пугающих красных точек остались три розовые, с длинных усов исчезли колючие щётки, а кончики лапок никак не походили на обоюдоострые кинжалы.

Филька уловил перемену в настроении приятеля.

– Каюсь! – сказал он.

– Не понял, – ответил Лягушонок.

– Ладно, – продолжил жук, – друзей не едят!

– Съедобных едят. Если их не есть, знаешь, сколько набралось бы друзей? До луны!

Филька сменил тактику:

– Может, съедобных и едят, может, съедобных и в друзьях не держат, но если вначале подружился, то это прежде всего – Друг. Понимаешь? С большой буквы!

Лягушонок как будто наяву увидел большую букву в тетрадке Старого Жаба и переспросил:

– Раз ты с большой буквы, то тебя и не съест?

– Держи! – Филька сунул Лягушонку косметичку. – Сотри всё и нарисуй заново. Ну что застыл, как муха на куче? Тюнингуй!

Тот как под гипнозом послунывил волоски на кончике соломки, обмакнул кисточку в ореховую скорлупку и, собрав с доньшка краску, стал возвращать Фильке смертельную ядовитость.

К вечеру того же дня Лягушонок объявился у Нижнего Болотца.

– Что-то ты припозднился? – Старый Жаб виртуозно ловил и между слов отправлял в рот одну за другой земляных ос.

– Ну ты и жрёшь! – Лягушонок закатил глаза. – Билайн должен подарить тебе самую дорогую трубку.

– Нет лучшего средства от старости, чем пища, сдобренная ядом, – объяснил Жаб.

– Помогает? – удивился Лягушонок.

– Отвлекает, – повинился Жаб.

– Но если ты не боишься глотать смертельно опасных ос, то почему не съел до сих пор Фильку? – Лягушонок тревожно замер.

– Хм, – начал Старый Жаб, – так он же твой Друг! – и неожиданно с отчаянным храпом уткнулся носом в планету Земля. Погрузился в сон. Яд сделал свое дело. И тут Лягушонок окончательно вспомнил, как Жаб, высунув язык от старания, выводил в тетрадке жирную-прежирную букву, похожую на шалашик на ножках, – «д», потом букву, похожую на веточку с крутым цветком, – «р», потом вырисовывал веточку-рогульку – «у» и в самом конце ставил закорючку – «г».

ДЕНЬ

Лягушонок замер. Он увидел, что Старушка Цапля готовится цапнуть и проглотить Старого Жаба.

Она склонила голову набок, чуть согнулась, примерилась и... ничего не произошло. Громко клацнула клювом, качнулась и с независимым видом сделала шагжок, выпростала крылья, выполнила два маха и с третьего перелетела на другую сторону озера.

А Старый Жаб как сидел преспокойненько на самой верхушке берегового камня, так и остался сидеть, обдуваемый всеми ветрами мира, раздумывая о чём-то жабьем.

Лягушонок по-пластунски вылез из-под кучи старых веток, несколько длинных-предлинных прыжков по мокрому песку, и он очутился перед Старым Жабом. Последний, как сидел на вершине булыжника, так и не стронулся с места. В глазах всё ещё отражалась Старушка Цапля.

– Если никогда-никогда не закрывать глаза, не есть, не спать, а всё время смотреть и смотреть, можно увидеть что ТАМ, далеко впереди нас. – Старый Жаб замолчал, окончательно прогнал из глаз цаплю и спустился к Лягушонку.

Вскоре к ним присоединился Филька.

Тем временем жара расплавила воздух, над озером повисло марево. Другим ничего не оставалось, как схорониться в размытых корнях берёз, что вкривь и вкось торчали по самому краю берега.

– Что можно было углядеть Старому Жабу такого-растакого далеко впереди себя? – размышлял Лягушонок. – Даже Старушка Цапля не тронула!

– Кажется, я надеялся увидеть, что ТАМ. А ТАМ – понедельник! А здесь – воскресенье. А раз я в понедельник, то меня как бы и не было, я исчез для цапли, – гадал Старый Жаб.

– Как все они любят о чём-то помолчать, – бормотал Филька, – и как же я ненавижу думать! Он попробовал подумать про себя, но получилось то же самое: «Как же я ненавижу думать!». Поискал глазами Лягушонка – тот сладко спал. Скосил глаза влево – и Старый Жаб спал. И Филька сам не заметил, как провалился в сон.

ЧЕТЫРЕ ДНЯ ПОДРЯД

У Старого Жаба изнуоряюще ныло плечо, и при малейшем движении острая боль пронзала лапу до ладошки. Даже сделать запись в тетрадку не представлялось возможным, даже громко сказанное слово нарушало связь с миром. Все это без спешки он объяснил Лягушонку.

– А что такого особенного не можешь взять на заметку, чтобы так расстраиваться? – полюбопытствовал тот.

– А температура воздуха? – тихо молвил Жаб. – Она сегодня нормальная. Самая-пресамая летняя.

– А какая ещё бывает температура? – переспросил Лягушонок и сам испугался своего вопроса. А вдруг Старуха Лягуха всё объясняла, а он ни на одном занятии не был и теперь выглядел в глазах друга полным идиотом.

– А ещё температура... бывает ненормальная, – строго указал Жаб и поморщился. – И тогда я отмечаю, что температура воздуха ненормальная.

От такого разнообразия температур у Лягушонка закинуло мозг. И в этот момент объявился Филька.



– Ну и кислые у вас физики, а я сегодня школу окончил. Целых два! Целых два класса. Можно сказать, жизнь безжалостно сократил на целых два. И не депрессию!

Он внимательно оглядел приятелей, обошёл вокруг каждого и обратился к Жабу:

– Ты очень печальный, а сзади вообще... грустный-прегрустный.

– Мне что, задом улыбнуться тебе? – раздражённо буркнул Жаб.

Лягушонок попытался разрядить обстановку и протянул Фильке лапку:

– Привет!

– Мы когда с тобой познакомились, тогда и поздоровались. Зачем нам новое «здрасьте»? – и жук как бы не заметил дружественного жеста.

– Выходит, – рассудил Лягушонок, – если скажу «спасибо», получится, что я на всю жизнь тебе спасибо сказал? Это как лентяй умывальную воду искал: умылся – и на всю жизнь?

– На всю жизнь хорошо только друзей иметь! – вздохнул Старый Жаб.

– Моя жизнечка! До чего сегодня все придурковатые. – Жук искренне расстроился и решил смотаться...

– У него плечо в лапу отдаёт, – поспешил сообщить Лягушонок, – а нам ничего не придумывается.

– Как не хочется, чтобы болело! – со стоном вырвалось у Жаба.

– Вот! Слышал? Болит, как нехочется! – и Лягушонок аж вскрикнул.

– Всё проще простого! – Филька победно оглядел друзей. – Такая болячка называется бобёр!

– Сам ты бобёр! – и друзья постарались объяснить, что бобёр это животное и что когда-то были в лесу Нижние Ручейки, а эти самые бобры понастроили плотины и получилось Нижнее Болотце.

– Хватит с меня уроков! Если не бобёр, значит барсук!

И барсук оказался тоже животным. И лучше никому с ним не встречаться: съест и глазом не моргнёт. И так далее, и тому подобное.

– На вас не угодишь, – совсем расстроился Филька и тут же предложил: – Остаётся – бурсит! Точно! И как это я сразу недогумкал?! Заморочили голову своими «здрасьте» и «спасибо». А природа она же это, которая, сами понимаете... Короче, объявляю больному покой! Никаких движений, писулек, и рот на замок!

Все замолчали, даже перестали дышать.

– И что дальше? – не выдержал напряжения Лягушонок.

– Дальше? Кормить будем! – не подумав, объявил Филька.

Целых четыре дня жук Филька и Лягушонок с утра и до поздней ночи ловили и таскали Жабу еду. Друг, к удивлению, оказался лакомкой и привередой. Ценой невероятных усилий они уговорили огромную зелёную гусеницу самостоятельно приползти к Жабу. Но вместо того чтобы наестся до отвала и дать им передышку, Жаб с гусеницей разговорился, разоткровенничался так, что пришлось кормить и гусеницу, самую прожорливую тварь на свете.

– Как же я люблю что-нибудь брякнуть, не подумав, а потом отдуваюсь, – корил себя Филька. – Хочешь анекдот? – И не дожидаясь согласия, рассказал. – Укусила Лягуху Старуху змея, а она училкой оказалась. Змея тут же сдохла. – И захихикал.

Отсмеявшись, с сожалением посмотрел на притихшего Лягушонка, на стрекозу, на цветок клевера, на торчащую из земли шляпку гриба, перевёл взгляд на бегущие облака, прислушался и припустился бежать. Скоро и следа не осталось. Как будто потерялся.

ПОЛДЕНЬ

Старый Жаб слушал музыку. Она бралась ниоткуда и вдруг. Он не мог её как-то обозвать, не мог повторить или объяснить друзьям; она оставалась в памяти, как время, как солнечный день или лунная ночь. Зримо, чудно и волшебю.

– Выздоровливает, – шепнул Жук Лягушонку. – А ведь какую боль терпел, рядом стоять было нельзя. Больше самого Жаба боль. Представляешь? Эй! Ты меня не слушаешь?

Лягушонок задумчиво молчал. Если такое возможно, что боль в какой-то момент делается нестерпимой и перерастает тебя, это же в точности, как любовь. Значит, любовь может раздуться, как облако, и все-все, кто находится рядом, поймут, что влюблены...

– Молчишь?! Я что, на паузу нажал? – с досадой вопрошал Жук.

Нет, не раздулась, как облако! Лягушонку сделалось смешно. Нет, никто не влюблён! И грустный голос приятеля тому подтверждение. Любовь не переросла Лягушонка. Тогда на поле, среди цветов, она вонзилась в самое сердце и закупорила все выходы, щёлочки, дырочки. И пока не воскреснет в ком-то ответная страсть, и с места эта любовь не стронется. Легла на самое доньшко.

И опять Филькин голос...

– А ты знаешь, что вчера было четырнадцатое? – Жук выпятил нижнюю губу с щупиками.

– Ты когда воображаешь, такой становишься некрасивый. – Лягушонок про себя нахмурился. – И конечно, я не знал, что вчера было четырнадцатое число.

– День взятия Бастилии! – Жук помолчал. – Все знают! – Жук снова помолчал. – Четырнадцатого числа взяли Бастилию. Праздник! А ты меня даже не поздравил.



– А кто её взял? – Лягушонок не ожидал от себя, что задаст вопрос, а спросив, не был уверен: он что, сморозил глупость, а если даже сморозил, то, может, не заметили...

Но тут же получил ответ:

– Французы!

– Не люблю французов! Они лягушек едят! – и выпучил глаза, впервые почувствовав себя едой. И едой, которую глотают не аисты или цапли, а самые настоящие французы, которые взяли Бастилию. Лягушонок представил себе их длинные клювы.

– Знаешь что?! – выкрикнул он. – Не буду я тебя поздравлять с Днем взятия Бастилии! Лучше не жди!

– И не надо, – спокойно отозвался Филька, – мы теперь вместе не будем любить французов. Я уже не люблю!

«Странно! Очень и очень странно, подумал Лягушонок, я так сильно-пресильно люблю, но любовь никак не перерастает меня, ни на сориночку. А когда не люблю, то и Филька “не любит”. Получается, что нелюбовь, как и боль Старого Жаба, может перерасти тебя самого. Как все непросто в нашем лесу».

– Хочешь анекдот? – И, не дожидаясь ответа, Жук рассказал: – Кусает Старуху Лягуху пиявка и думает, а вдруг она училка, тогда мне смерть. И смерть тут же припёрлась.

Жук долго смеялся. А отсмеявшись, посмотрел на Лягушонка, на Старого Жаба и пожелал:

– Ну, вы выздоравливайте, а я как-нибудь забегу.

И был таков.

ВЕЧЕР. НОЧЬ. УТРО. ДЕНЬ

Весь вечер и всю ночь Лягушонок наблюдал из болотной топи за падающей звездой. И пока наблюдал, она всё падала и падала и никак не хотела упасть совсем. А он загадал!

Загадал, чтобы бабочка наконец-то обратила на него внимание. А успеть загадать желание – это же целое искусство. Если звёздочка исчезнет, до того как ты решил подумать: «хочу, чтобы...», а она бац и погасла, – значит не успел. А если поторопишься, все мысленно выскажешь и только после этого звездочка сторит, тогда совсем другое дело: задуманное сбудется.

Лягушонок загадал, для верности повторил, немного подождал и добавил некоторые подробности, а звездочка всё не падала.

На утро рассказал обо всём Фильке. Тот сразу врубился и подробно объяснил об искусственных спутниках. Полюбопытствовал, что такого особенного можно желать, сидя по горло в болоте?

Но идея полёта спутника настолько захватила Лягушонка, что обо всём остальном на свете он забыл. Он раздумывал: как же так, спутник (он своими глазами видел) падал... А оказывается – не падал! И вообще они не падают. Тогда чем они там питаются? И не едят ли они лягушек?

Филька попытался вернуть друга на Землю.

– Меня под самое утречко Загадка поймала.

– Как это поймала? – Лягушонок очнулся и с восхищением уставился на героя.

– Ка-ак?! – передразнил жук. – А так! Загадка тебя ловит, – и он вцепился Лягушонку в горло, – и как начинает душить, как начинает... И душит, и душит... И если не отгадаешь – всё!!! Прощайся с жизнью! С лесом, полем, бабочкой...

Лягушонок, как ему показалось, с трудом высвободился из цепких лапок, проквокался, прочихался.

– Опять пугаешь?

Жук Филька расправил хитиновый панцирь, мастерски крутанулся три раза на одном месте, так что от его красных и черных точек зарябило в глазах, и припустился, что было мочи.

Жаб, дремавший в зарослях земляники, был окончательно разбужен вознёй приятелей и теперь наблюдал за оторопевшим Лягушонком.

Ещё бы! Лягушонок в который раз надеялся поиграть, а Жук ни с того ни с сего уносится сломя голову, ищи-свищи его.

– А ты подрос! – отметил удивлённо Старый Жаб, приник к земле и прыгнул. – И здорово подрос!

Жаб провёл ладошкой над головой приятеля и как бы прочертил линию до своей груди:

– Вот до каких пор дорос! Мне по грудь! А я ещё подумал, когда наблюдал за борьбой: если бы ты умел злиться, ты покалечил бы Фильку.

Лягушонок вспомнил свой испуг:

– Так он меня... так он же меня чуть не задушил. Кха-ква, – закашлялся он.

– «Чуть» не считается, а то, что ты стал в два раза больше Фильки, – считается. И не обижайся, что он не поиграл с тобою. Ему некогда. У него подружка появилась... Удивительного в этом ничего нет, так что захлопни, пожалуйста, рот, а то засохнешь.

Лягушонок закрыл рот, но тут же и открыл:

– А если бы цапля тебя съела? Ну тогда! Помнишь? Ему давно хотелось спросить об этом друга, но все как-то неудобно, как-то неурочно, да и вообще... А здесь сам Жаб отметил ладошкой, как он вырос. Значит и вопрос по росту.

Жаб пожевал губами и слотнул.

– Ты спросил, что если бы цапля меня съела? – Он глянул вниз на спешащего муравья, слизнул его и ответил:



– Значит, съела бы! – посмотрел в глаза Лягушонку. – Однако не съела! И получается, что жизнь состоит из съеденных и несъеденных. Она всё вместе. Ясно?

Лягушонок помолчал. Помолчал ещё. И ещё помолчал.

– Это ты сказал, что я вырос. Даже показал на сколько. Но я прослушал ответ, и он мне не по росту. Ни к берегу, ни от берега. Выходит, нужно ещё подрасти. И если ты не против, мы могли бы поиграть. Тогда и расти быстрее.

Жаб согласно кивнул, но прежде достал тетрадочку и записал: «Мир – красивая обложка книги про войну. Но Лягушонку это ни два ни полтора». Закрыв тетрадочку.

Остаток дня они играли в прятки, в догонялки, в кто самый зелёный?

Выигрывал всё время Лягушонок. Он был по-настоящему счастлив.

По-настоящему счастлив оставался и Старый Жаб.

ЧЕРЕЗ ДВА ДНЯ

Цветок был махонький – премахонький, просто крошечный. Жёлтая точка сердцевинки, и вокруг белые реснички – младшенькая дочка ромашки.

Лягушонок не мог глаз отвести.

После сумасшедшей ночи с оглушительными громами, молниями, мощным ливнем, где каждая капля величиной с голову... Пережить всё это, забыть сном и вернуться в сияющий мир солнца, а перед тобою... Он протянул лапку и цапнул за стебелёк. Цветок кивнул, и нежный аромат поплыл невидимым облачком, позволив себя вдохнуть и выдохнуть... «ква-а»!

Ничего более слабого, ненужного, несъедобного Лягушонок и представить себе не мог. Но это был подарок.

Так сказал Филька.

Подарок от бабочки.

Значит, он всё верно загадал на падающую звёздочку. И на него обратили внимание.

Вновь объявился ядовитейший из ядовитых. Подозрительно оглядел обалдевшего Лягушонка с ромашкой в лапке:

– Спорим на слона!

– Что значит спорить на слона? – Лягушонок аж оторопел.

– Ну, если выигрываю, делаю тебя слоном.

– А если я выигрываю? – выпалил Лягушонок.

– Тогда не делаю тебя слоном.

Филька задрал лапку и посмотрел из-под неё далеко-далеко.

– Ну что? Будем спорить? – почти пропел он.

Лягушонок часто задыхался. Спорить с тем, кто окончил школу. Целых два! Явный проигрыш.

– Не будем. Не будем спорить.

Друзья помолчали.

– А кто или что значит «слон»? – разомкнул тишину Лягушонок.

– Это самый высокий, самый большой, самый сильный зверюга. Уши, как огромные лопухи и до самой земли нос.

Лягушонок попытался представить диковинного зверя, но, как ни старался, воображение рисовало или большие лопухи или длиннющий-предлиннющий нос – вместе не умещались.

– Да, – пришлось ему согласиться, – очень большой зверюга, в голове не укладывается.

– А что я тебе говорил! – Филька старательно выпятил грудь.

– А ещё ты говорил, что своими глазами видел, как бабочка принесла цветок. Надо было тут же меня разбудить.

– Бестолку! Я тебя целых два солнца будил. Маленький, а спишь как слон.

– А как я скажу ей «спасибо»? А подарок? Мне тоже надо сделать подарок. Ну, не знаю! Как теперь быть?

– Закакал. Как? Как? Да никак! Улетела!

У Лягушонка отвисла нижняя губа. Филька замолчал, потёр один глаз, потом другой и уже неторопливо продолжил:

– Лето кончается. Улетела. Одни улетают, другие уходят. Пришла пора и мне уходить.

«Всё когда-нибудь кончается», – от этой мысли Лягушонку сделалось тоскливо.

– А тебе куда уходить?

Спросил и представил себе: два леса, Большое поле, Нижнее болотце и ни одной бабочки. Ни одного жука, осы, муравья, ни одной цапли, ни Старого Жаба, ни комара... .

Филька оценил выражение на лягушачьей мордуленции как горе. И предложил:

– А давай-ка разыщем Старого Жаба.

И они опрометью бросились искать приятеля.



НОЧЬ. УТРО. ДЕНЬ. ЛУНА

Старый Жаб досмотрел сон. Проснулся, проверил, в каком месте на небе Луна, убедился, что до рассвета далеко, и сомкнул веки. Он пересмотрел тот же самый сон во второй и четвертый раз. От начала и до конца. Просыпаться не торопился. Решил поразмышлять. Когда думаешь с закрытыми глазами, ничего не мешает, даже сам не можешь себя отвлечь, тебя как бы нет рядом. Конечно, ты есть, но в то же время тебя нет. Ты здесь и не здесь. Ты не проснулся в этот мир, ты не открыл в него глаза, не включил звук.

Пока сплетались и расплетались мысли, сон стал забываться. А когда Старый Жаб спохватился от сна, остался самый кончик: остров Мадагаскар.

«Вот оно! Наконец-то всё сложилось! Отправим Фильку в посылке. И никаких промозглых осенних дней, никаких заморозков на почве, которых ни один жук не смог бы перенести. Упакуем, надпишем адрес и... пусть поживет в тропическом климате. Ядовитейший из ядовитейших».

– Эрибуза!

Неожиданно прозвучавший голос заставил Старого Жаба подпрыгнуть. В отличие от лягушек и жаб, у жуков нет языка. Потому и голос у них похож на... если потереть камень о камень или просто стукнуть камнем по голове.

Жаб прислушался, Филька поучал Лягушонка:

– Эрибуза какая-нибудь тукнет тебя в морду, и ты не герой. Такое с каждым может случиться. А чтобы подобного не произошло, ходят в школу, набираются ума-разума, как я, например. И Эрибузу близко к себе не подпускают.

– Всё! Убедил! – стал отбиваться Лягушонок. – Как проснусь, так и пойду. И пойду... А сейчас, если ты не забыл, мы ищем Жаба.

– Проснёшься? Можешь не просыпаться: каникулы начались. И никуда не пойдёшь и не пойдёшь. Не допрыгнуть.

– Не повезло! – Лягушонок демонстративно закрыл глаза. – Какая досада! Сердце надрывается, как хочу в школу!

– Но каникулы закончатся, – Филька выдержал паузу, – и закончатся очень скоро.

Лягушонок выдохнул весь воздух:

– Хоть не просыпайся!

– А будешь уроки пропускать – затупишься! Снаружи растёшь, а мозгов на один раз...

Филька не успел договорить: Лягушонку так надоели нравоучения насекомого, что он неожиданно для себя навалился всем телом на жука и полностью отгородил от мира. Досчитал до двух: – рраз! два! – и отпрыгнул. Жук не двигался. И вообще не подавал признаков жизни.

Такого казуса Лягушонок не предвидел. А тем временем события набирали обороты: скрученная в колечко веточка распрямилась и оказалась изящной змейкой. Змея подняла голову, и вот уже уставились глаза в глаза. В одном дыхании ветра промелькнули прожитые дни и ночи и... густая серая пелена накрыла мир.

– Филечка, дружище, беги, – прошептал Лягушонок, – змея!! Ничего не вижу...

Больше не понадобилось ни буквы. Филька подскочил как ужаленный, сообразил, что бежать поздно, и вот тогда-то: злость на судьбу за то, что он маленький, что он не ядовитый, злость на друга, что тот собирается пропускать уроки и жить дурак дураком, злость на то, что в последней игре он застрял на третьем уровне... И тут все злости сложились. Сложились в жуткую ЗЛОБУ с ушами, как огромные лопухи, носярой до земли, и выстрелила она во врага грубыми, бранными, оглушительными словами.

– Тра-та-та...

Змеюга извернулась, словно оказалась в высоковольтной зоне линии электропередач, и, о, чудо, к Лягушонку возвращалось зрение. И тут что-то невообразимо огромное рухнуло с неба. Между змеей и друзьями собственной персоной возник Старый Жаб. В каждой лапе он держал по заострённой с двух сторон палочке орешника.

Враг тотчас же испарился. Был – и не стало. Филька принялся с повышенным вниманием осматривать заостренные палочки. Трогал и представлял их в действии.

– Это «воткнутики», – пояснил Старый Жаб.

За пятнадцать вдохов и выдохов Лягушонку открылось, что это их верный друг брякнулся сверху, а не ужасная Эрибуза. Еще пять вдохов и выдохов придали Лягушонку смелости задать Старому Жабу вопрос мучивший его не один день.

– Скажи, откуда взялся клоп?

– От других клопов, – поспешил ответить Филька.

– Это я сам знаю. А самый первый? Самый первый клоп откуда взялся?

Филька, как и Лягушонку, застыли в ожидании.

Было покойно. В расположающихся сумерках ярче и ярче разгоралась луна. И не заметили, как в их головах любопытные сны заняли лучшие места.



И СНОВА ДЕНЬ

Мелководная часть озера за лето успела зарости камышом и осокой, и лягушки облюбовали новое местечко, но и на новом месте перебивались старые сплетни. Ловили редких теперь комаров, похвалялись друг перед другом в том, что было и чего не было. Так одну и ту же историю приходилось слушать тысячи раз – сколько лягушек, столько и римейков одной лягушачьей жизни.

– И как им не надоедает! – возмущались все нелягушки.

Филька молчал. Не видя разницы между пустой болтовнёй и осуждениями, он увлечённо мастерил что-то наподобие воткнутиков Старого Жаба. Не получалось, хоть вовсе не смотри.

– Эх-хэ-кэ, – приговаривал он, безуспешно пытаясь заточить кончик прутика о серую каменюку.

Лягушонок терпеливо ждал, когда на него обратят внимание, но на пятой, стёртой в пыль, палочке не выдержал:

– Не понимаю! Почему в минуту крайней опасности ты не сделал меня слоном? Я точно бы затоптал змеюку. Я бы... – и Лягушонок вобрал в себя весь видимый ему мир.

– Даже в страшном сне не смогу представить себя болтуном, как эти квакушки, – ушёл от ответа жук.

– Ты жизнями рисковал! – взорвался Лягушонок.

– Хочешь правду? – Филька промолчал несколько слов и закончил вслух, – Я её пожалел!

Червяк, которого в любой момент могли слопать, перестал вгрызаться в землю. Паучок, мирно качавшийся на тарзанке, с размаха ударился о ветку. Кузнечик повалился в траву и сучил ножками.

– Ты в своём, это... – у Лягушонка отключился и снова включился мозг, – в своём уме? Как можно пожалеть ЗМЕЮ?!

– А представь!! – Жук напустил на себя солидный вид. – Я сделал тебя слоном. Огромным! Большеухим! Длинноносым! И ты втаптываешь до мантии Земли, – выдержал паузу, – маленькую, голодненькую гадинку? – Жук выдержал ещё одну паузу. – Своими вонючими грубыми ножищами? А?

И Филька развёл в стороны лапки, приглашая дикую природу в свидетели.

– А вот и стал бы! Ещё как стал бы! И так её! И так! И вот так! – Лягушонок явственно представил себе всё перечисленное и в ужасе зажмурился.

– Стоп! Стоп! Уже затоптал! Остановись! Вспомни, пожалуйста! В тот момент в тебе кричал дикий страх. Ты готов был убить. И убил бы... Но страх прошёл. Прошёл, я спрашиваю?

Мир молчал. Молчали лягушки в озере. Без единого звука металась по небу птица. С дерева сорвалась засохшая ветка и падала, и падала, и падала...

– Ну что, «СЛЮНИЩЕ», в молчанку будем играть?

Лягушонок разожмурился и разжал кулачки:

– Похоже, ты прав. Слоном я бы её точно пожалел. Да я бы её и разглядывать не стал. Я же вон был бы какой!

– А будучи маленьким, убил бы?! М-м? Ну?..

У бедного Лягушонка пересохло во рту. «Что за пытка? Чему их там в школе учат, что они всегда правы? Даже когда не очень».

А Филька рушил последние сомнения приятеля:

– Дело вовсе не в том: справишься ты со змеей или нет. А в том, чтобы не испугаться. Вспомни Старого Жаба. Змея точно приняла его за СЛОНА, только её и видели.

И жук футболнул бесполезные прутики.

– Как они мне надоели!

ПОСЛЕ ХОЛОДНОЙ НОЧИ

У Лягушонка болел живот. Мучительно долго. До слёз нестерпимо. Старый Жаб притащил с солнышка плоский чёрный камешек и втиснул под Лягушонка. Тепло горячей волной растворило и утащило боль.

– Как же у меня грызло в животе, – первое, что вымолвил он, когда очухался.

– Маяться животом в молодости можно счесть за удовольствие – хмыкнул Жаб и стал натирать зёрнышком бузины пяточки друга – левую, правую...

– А разве в старости живот не болит? Это ж здоровски – дожить до такого счастья!

– В старости болит всё! – возразил Жаб.

– Э-эй! Вы меня искали?! – Громкий, бодрый голос Фильки никак не вязался с медленными движениями его лапок. – Надо же какая холодная, промозглая ночь! Так и солнце остынет, последние денёчки греет.

– Зато, когда солнышко улыбается, на душе становится радостно, – боль в животе исчезла, и Лягушонка умиляло всё на свете.

– А если солнце и холодно до смерти? – рассердился Филька.

– А если холодно и солнце одновременно, получается «холодная радость», – нашёлся Лягушонок.



Жук повернулся к Жабу:

– Ты понял? Нет, ты понял?!

Старому Жабу совсем не улыбалось оказаться в роли арбитра и он отрицательно мотнул головой: «не понял».

– А тогда кто в твоей тетрадке наваял, что «наступят страшные времена, когда умные будут не нужны дуракам?». Получается – допрыгались? Ни в школу не ходит, ни меня не слушает. Сам с усам! У него, видите ли, «холодная радость»...

– погоди ругаться! Мы тебя наперегонки искали! – Старый Жаб чихнул. – Правду говорю. И Лягушонок искал, и я. Торопились, чтобы до холодов, до заморозков отправить. На Мадагаскар! Там всегда тепло...

– И там на таких умных никто не обижается, – скороговоркой добавил Лягушонок.

– А найдешь, кому помощь предложить, – уже не одинок! – закончил Жаб.

Чёрная туча затянула полнеба. Лес, из которого солнышко вставало, был всё ещё в свете лучей. Зелёные иголки, жёлтые, рыжие, красные листья фантастическим костром отражались в озере, второй лес, в нём солнышко укладывалось спать, потемнел и уже раскатывал потёмки на весь мир.

Порыв ветра обрушил на друзей мелкий, колючий дождь, в мгновение остудив воздух.

– Мордадон! – объявил Жук. – Он приходит с последними дождями. Ужасно колючий и холодный. Вгоняет всё живое в спячку. Ему даже сны послушны. Случается такой красоты сон, что и просыпаться незачем.

От внезапно наступившего холода больше не хотелось ни разговаривать, ни думать, ни шевелиться. Ветер сник, дождь прекратился. Тишина звенела в ушах. Оба леса укутались в ночь.

МАЛЕНЬКИЙ ДЕНЬ

Небо, как вода в озере, – синее синего. Хотелось нырнуть в него, но нырять вверх ни у кого не получалось, хотя некоторые пробовали.

«Некоторыми» был сам Лягушонок.

Иногда он подолгу всматривался, не мелькнёт ли нос какого-нибудь более удачливого лягуша, сердце замирало в ожидании, но ни носа, ни хвоста, ни пузырьков, ни тени...

– Ты что в небо уставился? – Бесцеремонно вторгся в мечты Филька. Мало этого, что-то тяжёлое ударило Лягушонка по лапке.

– Я тебе телефон приволок. С автоответчиком. Позвониться в Мадагаскар – дело стрёмное.

– Чего-чего? – не понял Лягушонок.

– А ты подумай! Ну кто из нашего леса догадается позвонить в Мадагаскар? Можешь дальше не думать!

Филька посмотрел вверх, вниз, снова вверх и предложил, уже не глядя на друга:

– В общем, как только отправите меня посылкой, оглянуться не успеете, как холода подкатят. Жабы успеют попрятаться, зарыться, Старый Жаб так на самое доньшко Трухлявого пня, тебя сморит сон под какой-нибудь корягой. Но прежде чем придёт сон, сделается так тоскливо, хоть не живи... А грустно, как мне сейчас. Вот тогда вспомни наш разговор и включи автоответчик! Ясно?!

– Ничего мне не ясно! – Лягушонка рассердило, как все было не ясно. К тому же – голодно.

– Вот вы где! – Старый Жаб подпрыгнул поближе, разжал одну лапку, и все увидели двух осенних мушек. – Лопай, пока не улетели!

Лягушонок слизнул с ладошки угощение. Жаб разжал другую лапку, и паучок без подсказки отправился догонять мушек.

– Вы не живёте! Вы едите! И получается, что правильное говорить не «жабы в неволе живут до тридцати шести», а «жабы жрут до тридцати шести».

– Слышь, учёный! – Стрый Жаб обтёр лапки о землю. – Пошли упаковываться!

И Жук Филька, и Лягушонок отправились за Старым Жабом.

Только к середине дня добрались до огромного преогромного дерева.

– Дуб, – указал Жаб, – самое крепкое дерево.

Казалось, они растратили все силы, но предстояло самое главное: отыскать пустой желудь. И нашли. Жаб снял с него шляпку и заострённой веточкой ткнул в малюсенькую точку, расширил до дырочки и высыпал из скорлупы труху, к великому удивлению непонятно откуда достал чистенького, беленького яблоневое червячка и запустил через отверстие в желудь.

– Обещал, ему что не съем, если вычистит плод, – объяснил он Фильке, открыл тетрадку, нашёл адрес и тут же переписал на орех: «261 Мадагаскар».

Червяк высунулся сообщить, что всё готово. Из белого и чистого он превратился в грязно-коричневого.

– Вылезай! Я своё слово держу! – Старый Жаб вытряхнул его на жёлтый лист, и пригласил Фильку занять помещение, потом смолой залепил вход, оставив почти незаметную щёлку для воздуха.

Солнце опустилось до верхушек деревьев второго леса, когда посылка была отправлена. Странное чувство нахлынуло на друзей. Не сговариваясь, они попрыгали в разные стороны. Скоро нельзя уже было расслышать ни мощных шлепков Жаба, ни мелких шлёпиков Лягушонка.



ДОБРОГО ДЕНЁЧКА!

Свет то брезжил, то пропадал, холодный ветер с удвоенной силой гнал тьму, и где кончался день и начиналась ночь, можно было не гадать — одинаково холодно.

Невидимая сила вдавливала спину в живот и прижимала к земле, лишая возможности прыгать.

Лягушонок устал. Он бесконечно долго полз, упираясь задними лапками в любой комочек, травинку, ямку или трещинку. Он в тысячу последний раз напрягся... и провалился в мышиную норку. Сверху посыпались камни, земля, песок. Ветер прекратился, голова кружилась, хотелось спать.

Поиски Старого Жаба ни к чему не привели. Стало быть, Филькино письмо останется тайной и много-много буквочек перезимуют непрочитанными. И Лягушонок почти пожалел, что не научился складывать из них слова.

Ему впервые не хотелось есть. Он почти насильно представил себе толстенького, щекастого, медлительного комарика и тут же прогнал из головы. Улыбнулся. Улыбка позвала улыбку, и он рассмеялся: вспомнились Филькины анекдоты про училку. «Старею — подумал Лягушонок, — смеюсь над тем, над чем раньше не смеялся».

Смех придал сил, и он протиснулся в глубь норки. Подвернулось удачное местечко, можно было освободиться от письма, от автоответчика... Лягушонок нажал на клавишу... и Филькин голос поплыл по всему подземелью:

— Вы не дозвонились до своего друга по лучшей из причин: он отправился приветствовать солнышко, крикнуть ему «доброго нам денёчка!»

— Доброго нам денёчка! — повторил Лягушонок и сладко зевнул...

ДЕНЬ ИЛИ НОЧЬ

Верхний слой трухи был влажным. Изрядно повозившись, Старый Жаб смог таки закопаться почти до нижнего слоя, где от берёзового пня отходили могучие корни, почти не тронутые гниением.

Жаб перебрал в уме картинки. На одной — он и Лягушонок отправляют посылку на Мадагаскар, на другой — он спорит с Жуком.

Да, жаркий получился спор. Рыжие муравьи сгрызли заветную тетрадочку. А Филька заступился:

— Прочешь книжку или её съесть, главное, чтобы от неё польза была, — вот и все его аргументы.

— А муравьям очень даже понравилась. «Сытная книженция».

И Старый Жаб задумался о разнице в обучении в школах: в его время (как же давно это было) и сегодня.

И ещё одна картинка: Филька, напрягаясь изо всех сил, притащил малюпусенькую ромашку, подложил под бочок спящему Лягушонку. Потом расскажет, что сама Бабочка оставила Лягушонку подарок. С одной стороны, Жук наврал, но с другой... Уж и не вспомнить, что он тогда записал в своей тетрадочке.

Истомный покой. Старого Жаба переполнила благодарность, и он её подумал: «Лягушонок пообещал и сдержал слово». Сердце переключилось на самую низкую скорость, и мир, как другая планета, больше не требовал к себе внимания. Даже сны улеглись рядом. В ту ночь берёзовый пенёк припорошило первым снегом.

Неподалёку, в лабиринте мышинных ходов, сладко похрапывал Лягушонок. Перед тем как смежить веки, он воздал хвалу всему, что познал. Попросил Неизвестно Кого, чтобы оберёг Фильку, а Старому Жабу... хрр... хрр...

А дальше далёкого, на самом Мадагаскаре, Жук Филька рассказывал Зелёной Гадюке о своих «друзьях — полярниках». Как и вчера и позавчера и позапозавчера, на самом интересном месте он обрывал повествование колдовскими словами: «дослушаешь завтра» и спокойно засыпал. Он твёрдо запомнил, что главное не в физической силе, главное — не струсить.

ВЯЧЕСЛАВ КАРИЖИНСКИЙ

ЗАБЫТЫХ ЗВЁЗД НАТЕЛЬНЫЙ ОБЕРЕГ

... и падал снег, чарующе-беззвучный,
на гнойные стигматы крыш и стен,
он звёздами летел с небесной кручи
в зияющую бездну вскрытых вен,

на заржавелый рупор граммофона,
на птицу бездыханную в силках,
на бурый наст безлюдного перрона
и на билет в бесчувственных руках.

С утра не слышно даже колоколен,
нет солнца в чаше белого гнезда.
Я жив ещё, но я смертельно болен,
а мир творится с чистого листа.

... и сыплет снег в разрывы сухожилий,
на мёртвый смех и губы, что в золе,
на думы, обескрыленные былью,
на сердце, пригвождённое к земле.

ГОРОДСКАЯ СОНАТА

*... там куда я исчезаю нет океанов только снега холод
там люди ходят о чём-то разговаривают совсем по-иному
там всё что здесь маленький шемащий осколок
в памяти далёких снов о чём-то большем из-невозможного-неземного...*

Кристи

1. ALLEGRO VIVACE

утро и кофе...
и словно из дальних миров сигналил земле электричка
железным каприччо в ритме поспешного пробуждения
стало быть новое где-то уже не за горами
надежд исчезающих в полдень как правило
много с утра разговоров несомых ветрами
и набело небо намылено солнцем пропавшим в белье из густых облаков
в быстром просмотре летят эстакады перила помосты
сфинксы петры-обелиски красивые лица и серы дороги
в привычном маршруте кто-то бренчит о железные трости
оград и контуры и вереницы нечёткие лица так все удивительно близки
в такой ослепляющей мере что даже не думаешь плакать

потом вспоминая в замедленном кадре мелькнувших миров
эндорфинные кванты и непредсказуемые отраженья
парных зеркал на тебя очень быстро взглянувших в серых тонах
прилавки и лаки и кожа они как и холод приметы движенья
людей и ветров
утеряны вечно сейчас и вчера и будут упущены завтра
в таких же потерянных временах...

2. LARGO NON TROPPO

серый питерский звездопад оставляет хвосты из серебряных тонких инверсий
на оконном стекле штрих-пунктир высоты что всегда
troppo largo di vane promesse¹
в серых клумбах дрожит небесами заваренный только уже
слишком холодный почти итальянский чай из цветов
троллей – тролль вечный жид с пожелтевшей цифрой на лбу
зацепился за парные нити опутавших город больших проводов
если падает взор с высоты на венецию питерских снов
замирают часы ритмы сердца и ты но в тетрадь переносит рука
стохастических мыслей забытую начисто новь...

3. ANDANTE

дождь не вечен хотя иногда может так показаться
если небо не выплатит долг значит выплachtet боль за меня
и на льду серых туч появилась уже полынья
в полземли
из неё выливается свет очень чистый и жёлтый
и скоро совсем затвердеют сердца как столетняя глина на плаце
загудят повсеместно нервные злые клаксонные марши
и пробки конечно заткнут все каналы с потёртой дорожной разметкой
на старых проспектах и я
мимо них проплыву на невидимой барже
в каком-то другом измерении в море разлившихся мыслей
чистых как свет и как стрелы амура (с ядом кураре) пронзительно метких
словно меня здесь и не было вовсе
да только осколком шемящим
в сердце болит странный сон что нельзя ни забыть ни упомнить
это мечта что не очень-то дружит с таким дождевым настоящим
ловит сигналы из дома посланья о чём-то значительно большем
и толкования ты не найдёшь если даже откроешь
старинный диковинный сонник...

дом
тишина
выплывает луна одинокой ледышкой
свет фонарей утопающий в лужах
пустую дорогу уже превратил
в большой монохромный витраж
город мой друг ты бываешь волшебным всегда
но радушным не слишком
надежд миновавших свидетель виновник любой из потерь
мой город-мираж...

¹ troppo largo di vane promesse (итал.) – очень щедры на пустые обещания.



РАЗМЫШЛЕНИЯ О НЕВЕЧНОМ

Лесничий Август, звёздная метель
Лисицу-ночь впустили во владенья,
Где спящих хижин тусклая постель
Как новый мир за миг до сотворенья.

*

Предвидя все грядущие черты
И полосы расцвета и распада,
Я отобрал тебя у темноты
В последний миг, уже в преддверье ада,
Чужая Хари.
Верная жена,
Чужого лета грёза.
Зазеркально
Моя мечта в тебе отражена,
(Отделена)...
Так было изначально.

*

Тобою обладать – кратчайший путь,
Минующий коварные пространства.
И жалостью тебя не обмануть
(жалеют те, кто пестует тиранство).
Но как зовут забывшую звезду,
Что снится по ночам тебе доселе?
Надев на мысль незримую узду
И душу раздвоив в усталом теле,
Звезда ведёт.
И, следуя за ней,
Мир сотворённый вижу я ясней.

*

Вино измены слаще прочих вин.
Запрета искус – вежа созиданья.
Из памяти сакральнейших глубин
Императивы страсти и желанья
Вычерчивают контуры путей
В грядущее
(по замкнутому кругу).

На карте исторических осей –
Судеб орбиты, близкие друг другу,
С пересечением в точке или в двух
Да с повтореньем в «Ave Morituri»,
Где с запредельным обвенчали слух
Семь неизменных нот на партитуре...

*

Но «семь холмов» – предел моей мечты.
А Хари, что моею стала ночью
В свободе и триумфе наготы,
И сны её –
Всё стало как-то проще:
Коль человеку нужен человек,
Нет дела мне до призрачных Аркадий!
Забывтых звёзд нательный оберег
И кружево орбит – да Бога ради –
Всего лишь милый взгляду сувенир,
В котором спит несотворённый мир.



БАЛЛАДА О ПРАВДОЛЮБЦЕ

I

Однажды правда подольстилась
С коварной ласкою ко мне:
«Прими меня, как божью милость,
Да запрягай гнедых коней.
И днём, и ночью мчи по свету
С недоброй участью лжецам.
Ты станешь вестником победы,
А не тернового венца.
Возмездья жаждой плотоядной
Наполни свой мятежный дух.
Земель просторы неоглядны,
Гляди – да только ложь вокруг.
Пусть обличений меч разящий
Забудет ножны и покой».
Но нас подслушал древний ящер,
Скользнув морщинистой щекой
По приоткрытой двери в сени,
А за его спиной печаль
Шептала: «Ставь хоть на колени,
Сей мир изменится едва ль».

II

Мне вещим оком стала правда,
А я – глашатаем беды.
И цепью долгою кроваво
Тянулись вдаль мои следы.
Я был непрошеным пророком,
Мне ящер скалился вослед.
И глядя беспощадным оком,
Не прозревал я – только слеп.
Не видя чести без подмеса,
Я оступался на ходу.
Мне ложь стреляла прямо в сердце,
А я разил её в пяту.
И никому не став наградой,
Мой труд умножил только злость
Неверных жён да конокрадов.
Проклятьем мне отозвалось
Упорство, точно зов на плаху,
Когда прозревшие мужи
И те, порвав свои рубахи,
Меня прогнали за межи.

III

Судейской мантии достойней
Ковёр цветочника из роз.
Но мы за истиной в погоне
Несёмся прямо под откос.
И понял я урок нехитрый,
Где сам поставлен был в пример,
Что нет ни ящера, ни гидры,
Ни прочих бестий и химер.
Есть только выбор и стремленье –
Сих благ достаточно вполне,
Чтоб из закона одолений
Ступить свободными вовне.



Самих себя не став рабами,
 Не состязаться с бытием
 В краях, где дышит жизнь хлебами,
 Где нет владык и нет систем.
 Пусть исполняются желанья,
 И каждый день идут с тобой
 Любовь без права обладанья,
 Мечта без воли быть судьбой.

ЧЁРНО-БЕЛЫЙ СОН

Когда на медь утрюмого покоя
 Всё злато страсти сердце разменяло,
 Пленённый странной, лунною тоскою,
 Накрытый ночью, будто одеялом,

Ушёл я прочь из этого столетья,
 И, развенчав мираж немою правдой,
 Собрал полыни горькие соцветья,
 Умылся обжигающей прохладой.

Под неоглядным чёрным небосводом
 Держали путь со мной в иные страны,
 Кружась во мгле звенящим хороводом,
 Лукавые, бездомные дурманы.

Мои глаза густою тёмной краской
 Лихая ночь окутывала снова,
 И мне другой не надо было ласки.
 Лишь тенью сказки были мысль и слово...

Со мною нынче памяти уроки.
 В них спрятан ты – эфир моей печали.
 Твоей судьбы давно я видел сроки,
 С тобою вместе мы их изучали.

Здесь – аромат чужих для нас просторов,
 Где мне заменой станет кто-то лучше,
 Хитросплетенья пепельных узоров
 И ворожба чужой кофейной гущи.

Как две струны не встретятся в созвучье,
 Не склеит жизнь чужие половины.
 Так пусть другие ищут благозвучья
 И вместе покоряют все вершины.

Поток тепла, судьбою отражённый
 От моего безжалостного тона,
 Уходит прочь, и я, навек сражённый,
 Не жду уже ни хлеба, ни поклона.

Теперь за мной дыханье океана,
 Летит волной, безудержной и грозной –
 Холодный мрак, в котором нет обмана,
 В котором всё... Не вместе и не розно.

Я вырвал сердце, чёрное от горя,
 Исчерпан яд – его благословляю.
 Тебе на память, вечный зов раздора,
 Я это сердце молча оставляю.

НАТА СУЧКОВА

СЕРЫЙ ДЫМ И БЕЛЫЙ ДЫМ

Спит Адам в саду соседском
на цепи колодезной,
спит Адам, и только сердце
изнутри колотится.

Рвётся бедное зачем-то,
где искать его к утру?
Разнесёт, рассыплет в щепки
грудь его, как конуру.

Выйдет дедка с коромыслом,
а цепочка порвана,
повисит, потом присвистнет,
сапогом потрогает.

Спит Адам, а снег не тает,
намерзает возле рта,
и волчица вырастает
из адамова ребра.

Девочки идут на лыжах,
мальчики – в военкомат,
белый дым летит пожиже,
серый – гуще во сто крат.

Серый топится соляжкой,
как в потёмках, в том дыму
кочегары в кочегарках
крутят серую махру.

Белый топится дровами –
невесомый, точно вата, –
над девчонок головами,
и над станцией юннатов,

и над флигелем больничным,
точно снег, его крошат,
выбирает симпатичных,
забирается под шарф.



На крылечке две медички
быстро курят, кривят рты,
разгоня рукавичкой
серый дым и белый дым.

След самолёта – ребристый,
как по доске стиральной,
вниз облака стекают,
пенится всё вокруг.
Как тут остановиться?
Мир, точно фартук, засален,
и баба Галя стирает –
белую пену смывает
с красных варёных рук.

В тазиках у колонки
треники и сорочки,
льётся вода проточная
в разнокалиберный сброд,
старенькая болонка –
хочешь ты тут, не хочешь,
мыть тебя, Рекс, не потчевать! –
ждёт обречёно очередь,
нервно свой хвост жуёт.

Льёт баба Галя синьку,
вот уже тёмно-сине
небо схватилось цепко,
сохнет, висит на жаре,
гладит – ворсинка к ворсинке,
чтобы подольше носилось,
чтобы держалось крепко
на голубых прищепках
в пахнущем мылом дворе.

Когда, когда приснится это лето,
когда, когда оно ещё придёт,
чтоб целовать цветки, как сигареты,
и набивать их лепестками рот?
Их кожу тонкую пощёчины хлестают,
они растут, как на щеках горят,
я не плююсь такими лепестками,
я их глотаю, прячу внутрь себя.
Не потерять шмелям меня из вида,
жукам не заблудиться надо мной,
я здесь – цветками жёлтыми набита,
я здесь – налита розовой водой.
И так упасть, так заблудиться в этих
цветках – шмелей, жуков круговорот! –
как могут только мёртвые и дети,
всё дорогое прячущие в рот.



Ночью приснится тебе музей,
зверь краеведческий, тигр саблезубый,
только барашков бессонных успеи
ты от него под подушку засунуть.

Все пересчитаны, сложены в ряд,
— жутки полоски матраса! —
вот они тут, под подушкой, сидят,
только один — потерялся.

Здесь новогодний у них карнавал,
сон твой парит дирижаблем,
только барашек один упал
из рукава пижамы.

Утром проснёшься — мурлыкает кот,
свесилось небо в окошко,
а по нему потеряшка идёт
в розовых тоненьких рожках.

Когда твоя девушка спит, то её обнимает лисёнок,
набитый крупной синтетической, точно искусственным снегом,
он так обнимает её, что бывает почти человеком,
с блаженным, как сон, выражением морды весёлой.

Когда твоя девушка спит, то её обнимает лисёнок,
он глаз не сомкнёт, он тарачится в тёмный простенок,
он помнит забытое ею из утренников и сенок,
он кашей детсадовской пахнет тревожно спросонок.

Когда бы он мог, она ела одни шоколадки,
солёная хрунка, зелёной набухшая ватка,
и ты никогда бы не сделал ей больно и сладко,
не больно — не больно, не сладко — не сладко — не сладко.

Эти длинные-длинные, эти ситцевые облака,
это солнце, что пело вам,
эта девочка сделана из сгущённого молока,
до чего она белая!
С этикеткой джинсовой Сухонского МК,
с голубою заплаткою,
эта девочка сделана из сгущённого молока —
до того она сладкая.
Мутный берег кисельный плывёт и дрожит,
и над кухней походною
вьётся сладкий дымок, точно старенький джин
с голубою бородкою,
и спускается вниз, где густеет вода,
сквозь верёвки и колышки,
где её для тебя, как всего и всегда,
остаётся на доньшке.



Где два кота в кустах дрались,
там пух и перья драки,
сирень рассыпана, как рис,
наложенный собаке.
И в ночь уходит, побеждён,
облезлый старый кот,
собака дрыхнет под дождём
и ухом не ведёт.

И трепыхается, парит,
как будто бы живой,
забытый тонкий силуэт
на нитке дождевой.
Как на верёвке бельевой,
кольшется слегка,
не видно – белый, голубой? –
сирень иль облака?

То у тебя под окнами –
лютики-цветочки,
кружева намокли там
у твоей сорочки.
Под твоей сорочкою –
ни дождя, ни тени,
облетает клочьями
белое с сирени.

пока кто-то там где-то там тебя поджидает,
у тебя на шее голубая рыбка живая,
голубая жилка живая.
я тебя слишком сильно к себе прижимаю,
но в тебе, как в воде, очень быстро всё заживает,
и любая вода под прозрачными плавниками,
не прикасаясь к тебе, сквозь тебя утекает.
голубая рыбка бьётся, дрожит, мелькает,
её можно поймать на сбившееся дыханье
невесомым выдохом, сохнувшими губами
или просто голыми, точно вода, руками,
отделив от других – всего лишь пока мальков,
её можно поймать, её можно поймать – легко.
рыбка, рыбка, чудесная рыбка моя,
голубая форель, серебро на солнце,
как не пораниться о тебя,
не уколоться?

Фотографического аппарата
вылетит птичка и сядет обратно,
белую вату и серую вату,
в небе положенную аккуратно,
точно в аптекарской склянке под гнёт,
то раскопает, то подоткнёт.

Вылетит птичка – останется лето
в брызгах из водного пистолета,
где ты стоишь, закрываясь от ветра,
в списке желаний настолько заветных,
что и русалке в фонтане драмтеатра
кажешься невероятным.

ЛЕВ БОЛДОВ

У САМОГО СИНЕГО МОРЯ

Я мечтал бы прожить, как буддистский монах,
Обитающий сразу во всех временах,
Отрешась от мирской круговерти.
И выращивать розы ветрам вопреки,
И следить за течением неспешной реки
В размышленьях о жизни и смерти.

Я мечтал бы не биться, как рыба в сети.
А с улыбкой провидца по жизни брести,
Чётки времени перебирая.
И проделав богами отмеренный путь,
Под раковой присесть и спокойно уснуть —
Где-нибудь на обочине рая.

Но к несчастью в другой я родился земле —
Где кровавое солнце вставало в золе,
Где вели на костёр и на дыбу,
Где кипящей смолой заливали уста,
Где огнём и мечом насаждали Христа
И катили сизифову глыбу!

В этой дикой стране я родился и рос.
И вонзались под кожу шипы её роз,
И полярные звёзды сияли.
И бессмертный пахан усмехался в усы,
И страну раздирали под грохот попсы!
И всем этим отравлен не я ли?!

Так что мне не сидеть на речном берегу
И не взращивать сад в ледяную пургу,
И духовной не мучиться жаждой.
А рыбёшкой потерянной биться в сети,
И с улыбкой по минному полю брести,
И, конечно, взорваться однажды.

Нам Перестройка крикнула: — Вдохните!
И мы вдохнули радостно, вздохлёб.
И были мы в расцвете и в зените,
И солнечные золотились нити,
Ложась, как нимб, на некрещёный лоб.



Литература хлынула потоком –
 Цветаева, Булгаков, Мандельштам...
 И мы сдавались в плен волшебным строкам,
 И в зрелость прорывались не по срокам,
 Не ведая, что ожидает там.

А рядом убивали и нищали,
 И все столпы державные трещали,
 И шёл, как самурай, на брата брат –
 А мы стихи крамольные вещали,
 Раскачивая рифмами Арбат.

Но маятник качнулся незаметно.
 Всё сделалось реально и конкретно,
 И взяли руль крутые пацаны,
 И золотой телец взошёл победно
 Над нищими руинами страны!

А мы всё строчки вещие вязали,
 И души неокрепшие терзали,
 И Коломбины нам смотрели в рот.
 ... А выдохнуть нам так и не сказали –
 Нам просто перекрыли кислород!

Ирине

Заели невзгоды.
 И, с веком продажным не споря,
 Все жду я погоды
 У самого синего моря.

Где белые шхуны
 И гор горделивые склоны,
 Где всё ещё юны
 Платанов тенистые кроны.

Где бомж выползает
 На свет, как солдат из окопа,
 И где не терзает
 Мне нервы моя Пенелопа.

У синего моря,
 У самого синего моря –
 С богами не споря,
 Соперникам кости не моя.

И пусть не пугает
 Грядущее дремлющий разум,
 Покуда мигает
 Маяк мне рубиновым глазом,

И волосы треплет
 Порывистый ветер-холерик
 Под вкрадчивый лепет
 Волны, набежавшей на берег.

И с каждым приливом
 Себя убеждаешь привычно,
 Что быть несчастливым
 Здесь просто почти неприлично!



Почти неприлично
Страдать о несбывшейся славе –
В нирване античной –
В Керчи, в Судаке, в Балаклаве!

Копаться в обидах,
Казнить своё время публично
При этих божественных
Видах – почти неприлично!

Ты жив. Ты причастен
К волшебным дарам мироздания.
И горько несчастен.
И нет для тебя оправдания!

Товарищ Коба был большой учёный.
Он знал: писатель – как особый плод.
Одним – кайло и роботы заключённых,
Другим – квартиры, премии, почёт.

И пусть одни ему слагали гимны,
Другие зубы скалили тайком –
Культуры опыляются взаимно –
Любой с такой ботаникой знаком.

Генсек бровастый тоже был не промах.
Кого – в дурдом, или пинком под зад.
Кого – душить в объятых многотомных,
Украшив побрякушками фасад.

Одних из клетки вышнурнув позорно,
Других сажали ласково на цепь.
Но там и там проклёвывались зерна,
И там, и там выковывалась крепь!

А нынешним – не до литературы.
Мошну набить да оседлать «грубу».
Ни диссидентов нет, ни креатуры –
Влачите сами жалкую судьбу!

Печатайтесь за собственные бабки,
Потуже подтянувши ремешки.
Мы в ваши кошельки запустим грабки –
А вы строчите пьесы и стишки!

А воспевать нас мы и не просили.
А поносить – нам это пополам!
И те, кто были совестью России,
В спивающийся превратились хлам!

Весь мир таков – твердят нам в оправданье.
Не мир таков – таков холёный сброд.
Вернуть бы, что ли, Кобу в назиданье?
Да жалко пострадавший народ.



МАГЕЛЛАН

Хромой командор не увидит крещёной земли.
Под радостным небом Севильи не встретит зари.
Растрезанный труп, надругавшись, сожгут дикари.
Посмертные лавры поделят рвачи и вральи!

Так стоило плыть? И терпеть ледяную пургу,
Цингу и голодные корчи собратьев своих –
Чтоб после три века подряд о тебе ни гу-гу,
Чтоб славили трусов, твоё командорство свалив?!

Так стоило жить, непосильную ношу взвалив,
И лезть в мышеловку лукавой церковной игры –
Чтоб после тобою назвали какой-то пролив,
И тупо на картах искали его школяры?!

Столетия промчат, и другие задуют ветра.
Другие державы поделят мятущийся мир.
А ты станешь мифом, растаявшим дымом костра
И строчкой в учебниках школьных, затёртых до дыр!

И всё же, проникнувшись горькой легендой твоей,
Какой-то безумец наладит свои паруса –
Чтоб вновь бороздить безоглядные дали морей,
Чтоб штормы хлестали, и соль выжигала глаза!

Так стоило жить и сражаться, хромой командор –
За души безумцев, что будут столетья спустя
Моря штурмовать, за их юный азарт и задор –
Живущих всерьёз и готовых погибнуть шутя!

... И однажды поймёшь, что тупик в судьбе,
Что больше не хватит сил.
И сжалится Бог, и пошлёт тебе
Такую, как ты просил.

И будет она твоя плоть и кровь.
И не упрекнёт ни в чём.
И будет хранить твой очаг и кров,
Пока ты машешь мечом.

И будет в объятьях твоих стогать,
В твоих небесах летать.
И будет сорочки тебе стирать,
И строчки твои шептать.

И станет тебе надрываться лень,
Карабкаться, рваться в бой.
И станешь спокоен ты, как тюлень,
Вполне доволен судьбой.

А она будет стол тебе накрывать
И заскоки твои терпеть.
И станет не о чем тосковать.
А значит, и не о чем петь.



И однажды поймёшь, что тупик в судьбе,
Что выдохся, опустел.
И сжалится Бог, и пошлёт тебе
Такую, как ты хотел.

Чтоб лежал, как полкан, у её колен
И лаял, когда велит, —
Богиню, прекраснее всех Елен,
Желаннее всех Лилит!

И будешь ты счастлив от пустяков,
От редких её звонков.
И будешь строчить вороха стихов,
Штурмуя её альков!

И будет она простодушно врать,
Изменчива, как дитя.
И будет она тебе нервы рвать
И колесовать шутя.

И ты будешь топить в алкоголе боль,
Не чувствуя вкус вина.
И пропасть откроется пред тобой
В квадрате чёрном окна.

И взмолишься, руки воздев, скорбя,
К темнеющим небесам.
И плюнет Господь, и пошлёт тебя —
Крутись, как сумеешь, сам!

И воздух предутренний тонок,
И страхи ночные крадёт.
И Андерсен, гадкий утёнок,
По берегу Леты бредёт.

Как лебедь в объятиях Леды,
Впервые блаженством объят,
Бредёт он по берегу Леты
В смешном балахоне до пят.

Птенец, поседевший ребёнок,
Не ведавший женской любви!..
Как воздух предутренний тонок!
Лови его грудью, лови —

Его, уловимое еле
Дыханье любви и весны —
Покуда душа ещё в теле
И снятся ей странные сны.

Трущобы убогих окраин,
Где в плошке лучина горит,
И Кай — неприкаянный Каин —
Актёров своих мастерит.

Где Герда — портовая девка,
И пьяных духов аромат.
И знамени тонкое древко
Сжимает безногий солдат.

Забудь эту страшную сказку,
Забудь навсегда и иди –
Чтоб горя мазутную краску
Грибные размыли дожди.

И вот он идёт, долговязый,
Сановности скинув парик, –
Герой своих солнечных сказок,
Нелепый и грустный старик.

Идёт, от земли удаляясь,
Под нос бормоча дребедень.
И тянется следом, кривляясь,
За ним его долгая тень.

МАРИНА МАТВЕЕВА

ОТПЕВАНЬЕ МАТУШКИ-ПЛАНЕТЫ

Стою, отдыхаю под липами
под ритмы собачьего лая.
Больна, как Настасья Филипповна,
сильна, как Аглая.

С короткими слабыми всхлипами
река берега застилает. . .
Люблю, как Настасья Филипповна,
гоно, как Аглая.

Мне б надо немного молитвы, но
в спасение вера былая
мертва, как Настасья Филипповна.
Жива, как Аглая,

лишь память. Вростая полипами
в кровинки, горячкой пылает
в душе у Настасьи Филипповны,
в уме у Аглаи.

Но либо под облаком, либо над
землёю – в полёте поладят:
с судьбою – Настасья Филипповна,
с собою – Аглая.

Я тоже не просто улитка на
стволе. Оторвусь от ствола я.
Сочувствуй, Настасья Филипповна.
Завидуи, Аглая.

КАТАСТРОФА, НО НЕ БЕДА

Народы, а Гольфстрим-то остывает!

. . . На роды женины не успеает
мой друг Иван, хотя и обещал ей
присутствовать. . . Противные пищальки
орут из пробки инорассекаек,
и дела нет им, что беда такая:
не увидеть семейшего начала
новой жизни. . .
Чтоб не опоздало



на отпеванье матушки-планеты,
раскрученное вещим Интернетом,
скопление конференции из Рима –
толпа машин спасателей Гольфстрима –
спешащее на важные доклады...

– Гуляйте садом!
– С адом?
– Хоть с де Садом!

Вы, пассажиры новеньких визжалок,
чьё время так безжалостно безжало,
спасатели – но не – и в этом ужас! –
спасители, –
глаза бедняги-мужа
виднее сверху и прямой наводка:
вот он стоит и взглядом метит чётким
всех тех, кому хреново, но не плохо.

...А тут, где ждут, меж выдохом и вдохом –
столетия, стомилия, стотонны...
Стозвездиями небо истоплённо
сточувствует и к стойкости взывает...

А где-то там чего-то остывает...

ГУРМОНИЯ

Весь этот мир тихонько что-то ест:
жует мой комп потоки из розетки,
а дом – квартплату... Даже свет небес
туманит воду медленно и едко...
Что удивляешься: я ем тебя,
как канныбал – законную добычу.
Он тоже это делает – любя.
Любить еду – потребность, не обычай.
А мой сосед на завтрак съел жену,
а бабушка – возлюбленного внука,
а Гитлер – пол-Европы, и в вину
ему поставить можно ту же штуку,
что и мобильнику: работать бы,
функционировать, ходить ногами...
Вот только голод-мышь и голод-бык –
тут каждому – своё. Играя гаммы,
моя подруга чьи-то уши ест,
что, в очередь свою, съедают Баха
иль Цоя, иль какой-нибудь виршец,
что я писала, кушая с размахом
клавиатуру и свою судьбу –
отпетых едолюбов-любоедов,
а те, съедая пиво и шурпу,
являли поражение победы
собой. ...И, лёгким облачком утрясь,
как белоснежной хлопковой салфеткой,
сказал Господь кому-то: «Грешен Азь –
мне надоели души... Дай конфетку!».



У каждого бога есть маленький чёртик ручной:
сидит на груди – для людей – отвечать на вопросы.
И именно он говорит, ухмыляясь, со мной.
Такое... от имени Сама, и шефа, и босса.

Наверное, так. А иначе б... откуда призы
и бонусы от интеллекта в этических спорах?
И даже, играя в траве, бриллиант стрекозы
врезается в мозг раскаленной алмазною шпорой.

Еще бы! У той стрекозы хоть сознания нет:
сожрёт ее кто-то – она ничего не заметит.
А здесь... От осознанной боли приходишь на свет,
в осознанном страхе живёшь. И уходишь... в поэте.

В поэте, в святом идиоте, в *не страшно б туда*...
Там Царствие, реинкарнация или Валгалла.
Да как бы оно ни звалось, говорения «да»
такому от сердца – поэтность в тебе возалкала.

«Аз есмь человек – почему мне животно тогда?»
Вот сильного право в отборе естественном тварном,
вот падает кто-то... его подтолкнуть – не беда,
вот «принцип курятника»... Кармы, и касты, и варны...

Да как бы оно ни звалось – объяснение всему,
за ним – биология, комплексы и ПМСы...
Зачем ты явилось, все это, – живому уму,
познавшему некогда – Бога? И позже лишь – беса.

Зачем – на приборах? Зачем ты не веришь, душа?
Зачем тебе ауру – видеть? За тем и не видишь.
А жизнь, не смотря ни на что, хороша, хороша...
И кто бы ни сожран тобой – на Творца не в обиде.

Человек имеет право на имхо.
Вот пират рыдает спьяну: «Йо-хо-хо!..»
Вот старлетка томно ножкою сучит.
Вот полковник ждёт письма, сидит, молчит.
Человек имеет право на себя.
Бабка-травница, губами теребя,
шепчет заговор на чей-то скорбный зуб.
А веганка ест постылый постный суп.
Человек имеет право на не быть.
Возле входа образцовые гробы
выставляет похоронное бюро.
А вот я сижу, зажать пытаюсь рот
человеку, что имеет право на
все древнейшие до боли письмена,
их на свой язык корявый перевод.
Человек имеет право, и вот-вот
поймеем целых два, а то и три,
право вызвать даже Господа на ринг,
право даже победить Его в бою.
Ну, а я победу эту воспою.



Человек имеет право на меня.
 Эта девочка, что сладко тянет: «Ня...»
 Этот мальчик, что сверлит дыру в стене
 женской сауны – он ближе всех ко мне.
 И полковник, и шептуха, и пират,
 и веганка, что выходит на парад
 по защите нас от кожи и мехов...
 Человек имеет право. Йо-хо-хо!

ПЕРЕВОДЧИКУ

Хоть и мастер, но – ремесленник.
 Перевод моих страстей
 ты не выдожишь. Ни весть тебе,
 ни известье из сетей
 собственных рученок маленьких
 не извлечь под Божий свод.
 Я себе цветочек аленький,
 ты – чудовище его.
 Ах, у зверя очи витязя!
 Ах, душа его чиста!
 Но и-змеи-чиво извивисты
 мысли стебля и листа.
 Лепестки мои – заутрени, –
 лепишь ты вечерний звон
 там, где мозоньки запудрены
 соспряжением времён.
 Над цветком живые тапочки
 нарезают виражи –
 ты бессильно скажешь «бабочки» –
 и попробуй не скажи.
 Ах, спасибо, что цветочек ты
 размножаешь в неродных
 цветниках. Но корня прочного
 не нажить ему у них.
 И у нас твои раст(л)ения
 рассыпаются в руках.
 Ты – живое воплощение
 вавилонства в языках.
 И мучимы строки жаждою
 вне чужого бытия...
 Но душа у нас – у каждого –
 непереводаемая.

Окрылённая – окрылённая...
 Полуостров – что полусон...
 В тёплой дымке сады зелёные...

Уходи, нелюбимый, вон,
 город северный, осфинксованный –
 освинцованный – и пустой.
 На куски-дворцы расфасованный
 пилл-хавальной красотой.
 Изначально такой – построенный
 под туриста. И на крови.
 Не окно в Европу – пробоина,
 дефлорация без любви...



Без обиды, брат-петербурженец, –
он прекрасен, твой город-бог.
Но спала я в нём, а разбужена
теплой пылью горных дорог.

Возвращение – как прощение.
Крым, и тишь моя, и кураж,
у тебя прошу разрешения
на чужих городов мираж,
на барочные, на порочные,
на дворцы и хибары их,
на разлуки с тобой бессрочные,
не тебе посвящённый стих...

А пока пускай на лицо моё
сядет бабочка – вещий знак.
Опыльцована – окольцована –
с принцем-эльфом вступаю в брак.
Крым, возьмешь ли меня, неверную,
вилу-посестру блочных чаш?
Я беру тебя. Чую, верую:
ты единственный – настоящ.

ЯН СТОЛЯРЧИК

КНИЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ТВОРЧЕСТВА ТАДЕУША РУЖЕВИЧА (2008 – 2012)

В составленном Анной Насиловской списке польских современных писателей, переведённых на самое большое число языков, Тадеуш Ружевич занимает первое место (50 языков). Столь высокую его популярность убедительно доказывает основательный, почти трёхсотстраничный труд Ирены Буркот и Малгожаты Беды «Произведения Ружевича в мире. Библиография переводов до 2007 года». Книга знакомит читателей с географией переводов, их частотой в отдельных странах, показывает, как в мире воспринимается творчество автора «*Bespokojstwa*». Взглянув на «Индекс языков переводов» можно заметить, что здесь доминирует Германия: по причине исторического соседства и тяжёлого военного наследия, оставшегося в памяти до сих пор. Стоит вспомнить, что уже в 1954 г. бывший партизан, брат убитого гитлеровцами офицера Армии Краёвой говорил о необходимости примирения (стихотворение «*K Niemcom na Zachodzie*»), несмотря на то, что по причине глубокой военной травмы поляков и господствующей тогда идеологии этот жест в Польше был воспринят неприязненно. В Западной Германии лишь в 1959 г. были опубликованы первые переводы Ружевича: несколько стихотворений в известной в то время антологии польской лирики Карла Делециуса под названием «*Lektion der Stille*» («*Лекция тишины*»). Гораздо раньше, уже в 1950 г., в ГДР была издана идеологически направленная антология «*Im Lande der Sowjets*» («*В Стране Советов*») с заглавным стихотворением Ружевича.

По другую сторону нашей границы, в Стране Советов, лишь в период так называемой оттепели «Иностранная литература» (1956) опубликовала стихотворение «*Старая крестьянка идёт берегом моря*». Это был знаменательный для того периода выбор, который учитывал аспект идеологической осторожности (стихотворение можно было интерпретировать следующим образом: вот над морем, благодаря изменению строя, сегодня отдыхают представители освобождённого из-под гнёта класса), и вместе с тем давал возможность познакомиться в выдающейся, отличающейся от русской, поэзией.

Первый отдельный том стихотворений Тадеуша Ружевича под названием «*Bespokojstwo*» вышел лишь в 1963 г. Автором подборки и предисловия был выдающийся критик и литературовед Владимир Огнев, а среди переводчиков оказались известные российские поэты, такие как Владимир Бурич, Давид Самойлов, Борис Слуцкий, Евгений Винокуров. В антологиях и журналах того времени произведения польского писателя появлялись часто, а вот отдельных книжных изданий я насчитал только семь, в том числе один польско-российский проект вроцлавского издательства «Gajt» совместно с московским «*Летним садом*»: «*Przyjechali żeby zobaczyć poetę*» («*Они пришли увидеть поэта*») (2011). Поскольку вместе с Тадеушем Ружевичем я подготовил эту подборку и написал предисловие, осенью 2011 г. с инициатором этого издания – профессором Николаем Ивановым я полетел на презентацию книги в Санкт-Петербург и Москву. В Санкт-Петербурге мы посетили музей Анны Ахматовой (Фонданный Дом). Работники музея подготовили удивительную выставку, состоящую из польских книг Тадеуша Ружевича и вырезок из польской прессы с его стихами из Ленинградского архива Иосифа Бродского. Я написал «удивительную», поскольку экспонатов было огромное количество, а я никогда прежде не читал о том, что нобелевский лауреат так сильно интересовался Тадеушем Ружевичем.

Следует также вспомнить о вроцлавском двуязычном сборнике стихов Тадеуша Ружевича, подготовленного для осенней книжной ярмарки в Москве в 2001 г. («*Na powierzchni poematu i w środku*» («*На поверхности поэмы и внутри*»). Он был издан Нижнесилезским издательством, составители – автор и Ян Столярчик, а вступительные статьи к нему написали Рышард Шибибельский и Владимир Британишский. В сборник вошли старые и новые переводы многих авторов.

От Андрея Базилевского, замечательного переводчика и издателя польской литературы (в том числе тома поэзии Тимотеуша Карповича) я узнал, что он уже подготовил к изданию обширный сборник поэзии Ружевича. Быть может, в 2013 году он появится в российских книжных магазинах?

Почему Тадеуша Ружевича так охотно переводят? В общем можно сказать, что он выражает те тревоги XX и начала XXI века, которые вследствие цивилизационных процессов стали повседневными тревогами на всём земном шаре. Его формально прозрачная поэзия обращается к общим чувствам, к обыденному опыту, принимает во внимание личность, подвергающуюся разнообразным притеснениям. Он отвергает обобщения – непроверяемые понятия, являющиеся коварным материалом для манипуляции. Искусство правды в пространстве между газетой и Евангелием. А начинается оно от безжало-



стного взгляда на самого себя, отказа от самооправдания, что является основой великого творчества и подлинного сосуществования в мире. Ружевица волнует отсутствие Бога, «вымирание Абсолюта», поскольку с деградацией этой высшей ценности религии и культуры связан закат традиционного гуманизма, в центре которого находится человек и его благо. Из фрагментов релятивизированной речи авторский синтаксис складывает причудливый (глубоко личный и легко узнаваемый) комментарий, относящийся как к повседневности, так и к богатству традиций культуры. В его произведениях комизм сталкивается с трагизмом, стиль высокой культуры с банальностью субкультуры, при этом из такого слияния рождается смысл, вектор надлежащей жизненной позиции. Из мутных категорий дистиллируется этическая и когнитивная прозрачность. Эта всепоглощающая, открытая на противоречия и сиюминутность жизни, поэзия остро замечает грядущие преобразования. Читатель доверяет проводнику, который ведет его сквозь пространства неопределённости, ничего ему не навязывая, взамен ожидая самодельного мышления.

Важным фоном для приведённых выше замечаний была бы небольшая антология мнений переводчиков и зарубежных средств массовой информации. Выслушаем же хотя бы несколько малоизвестных голосов представителей «литературы малых народов».

Яна Унук (Словения): «Восприятие Тадеуша Ружевица в Словении принципиально связано с его опытом Второй мировой войны, но также соотносится с экзистенциальными проблемами современного человека, который в окружении нигилизма и “цивилизационного шума” противопоставляет небытию. Как переводчица поэзии Ружевица я восхищаюсь простотой её формы (которая вовсе не такая простая, она является результатом добросовестного и сознательного творческого труда) и её способностью всегда выражать существенное содержание».

Йосеп Исерн и Лагарда (Каталония): «По моему мнению, Тадеуш Ружевиц – поэт тонкий, новаторский и вместе с тем чрезвычайно глубокий с точки зрения этической рефлексии в поэзии. Его творчество, с одной стороны, дополняет ещё очень неполную в Каталонии картину польской поэзии XX века (поскольку здесь главным образом звучит слово, хотя бы в книжной версии, Милоша, Шимборской, Херберта, Липской и Загаевского), с другой стороны, оно наполняет нашу лирику болью и трагедией военной и послевоенной Европы, особенно подчёркивая одиночество и изолированность человека во враждебном ему мире (особенно в больших городах). Именно благодаря этой “другой стороне”, выражающей тревогу и беспokoйство о человеке, наш читатель чувствует, что рефлексия Ружевица ему ближе, чем он думает».

Свен Кивисильдник, известный эстонский писатель, в передаче радиостанции Eest Radio (09.02.2008 г.) сказал о книгах Ружевица в переводах Хендрика Линдепуу: «Alati fragment» («Всегда фрагмент», Laiuse 2007) – это одна из наиболее выдающихся поэтических книг, какие были переведены на эстонский язык в период республики. [...] Я рекомендую книжные издания пьес Ружевица. К счастью на эстонском языке у нас есть даже две книги: *Valge abielu ja teisi näidendeid* («Непорочный брак» и другие пьесы, Laiuse 2006), а также изданная в «Библиотеке Looming» в 1973 г. Kartotek (*Картотека*; в книге также пьеса *Смешной старичок*) в переводе Александра Куртны. Прекрасная литература, понижывает до мозга костей».

Поэты, пишущие на многих языках, посвящали польскому мастеру свои стихи. Вот фрагмент «Похвалы Ружевицу» Кемалья Махмутефендича, написанной в 2002 г. (на польский это стихотворение было переведено Юлианом Корнхазером):

*Ты начал низко и у самой земли (читай: без фальши
и фальшивого утешения) как напалм;
и всё же по-человечески, чертовски по-человечески,
так, что буквы, слова
и строки озирались вокруг:
Можно ли писать поэзию
После дымящейся чумы Аушвица?
[...]
Ты синкопировал миром
без Бога, без человека
который аж до небытия
проник в наши уязвлённые сердца.
И ты не смирился.*

Боснийский поэт, после только что закончившейся балканской войны, находит в польском писателе своего «мастера и учителя». Он сопоставляет свой собственный опыт с серьёзностью художественной правды, пронизательности суждений, открытости на другого человека. Такие стихотворения, как это, обнажают особенный образ восприятия Ружевица за границей. Я бы даже сказал, они являются «экзаменом» для творчества, их вдохновившего, подтверждением его имманентной этико-эстетической целостности.

Книги Тадеуша Ружевица широко обсуждались в тех странах, в которых они были изданы, некоторые были награждены или номинированы на высокие премии, их переводчики также получали награ-

ды. В 2008 г. поэт получил в Страсбурге Европейскую Литературную Премию, вместе с ним были награждены за перевод сборника его стихотворений «*Regio et autres poemes*» («*Regio и другие стихотворения*») Клод-Анри ду Борд и Кшиштоф Ежевский. Несколько книг Ружевича перевёл Хендрик Линдепуу, а за «*Valitud luuletused 1945-1995*» («*Избранные стихотворения 1945-1995*») в 2010 году он получил премию Эстонского Фонда Культуры. Недавно в международный список четырёх финалистов канадской премии Griffin Poetry Prize (2012 г.) попал обширный том поэзии «*Sobbing Supergrower. Selected Poems of Tadeusz Rozewicz*» («*Заплаканная сверхдержава. Избранные стихотворения Тадеуша Ружевича*»). Параллельную номинацию за достоинства перевода получила Иоанна Тшецяк. За эту же самую книгу переводчица была удостоена престижных премий Found in Translation и Best Scholarly Translation into English.

Ниже я представляю перечень книг переводов творчества Тадеуша Ружевича за последние пять лет: девятнадцать наименований из разных стран мира. Надеюсь, что не пропустил какой-нибудь позиции.

- *Siempre fragmentos. Poemas selectos* [Всегда фрагмент. Избранные стихотворения], Каракас 2008, перевод: Жерардо Белтран, Абель А. Мурсия;
- *Wiersze wybrane Tadeusza Różewicza* [на обложке двойное название – польское и корейское], Сеул 2008, перевод: Чой Сунг Еун (Эстера Чой);
- *Théâtre II: Drôle de petit vieux; La Vieille Femme qui couve; La Sortie de l'Artiste de la Faim* [Театр II: Смешной старичок; Старая дама высиживает; Уход Голодаря], Лозанна 2008, перевод: Жак Донги, Мишель Масловски;
- *Regio et autres poèmes* [Regio и другие стихотворения], Париж 2008, перевод: Клод-Анри ду Борд, Кшиштоф Ежевский;
- *Mutter gebt* [Мать уходит], Пассау [Австрия] 2009, перевод: Иоланта Дошек, Бернхард Хартман, Алоис Волдан, послесловие Херман Ритц;
- *Valitud luuletused 1945–1995* [Избранные стихотворения 1945–1995], Тарту 2009, перевод: Хендрик Линдепуу;
- *Zapisano na vodi* [Написано на воде, стихи], Любляна 2009, перевод: Яна Унук;
- *Ma fille* [Моя доченька], Бельваль [Франция] 2009, перевод: Лидия Валерьяшак;
- *Kupi mačku i džaki. work in progress* [Купи котика в мешке (work in progress)], Вршач [Сербия] 2010, перевод: Бисерка Райчич;
- *Udols d'un llop de paper* [Вой бумажного волка, двуязычный сборник стихотворений], Каркахент [Испания] 2010, перевод на каталонский язык: Йосеп-А. Исери и Лагарда;
- *Przyzłi żyby zobaczyc poete. Они пришли увидеть поэта* [двуязычный сборник стихов], Москва–Вроцлав 2011, переводы разных переводчиков, предисловие Яна Столярчика;
- *Пьесы* [Театральные пьесы: Картоотека, Группа Лаокоона, Свидетели или наша малая стабилизация, Непорочный марьяж, Уход Голодаря], София 2011, перевод: Божко Кожков;
- *They Came to See a Poet. Selected poems* [Они пришли увидеть поэта. Избранные стихотворения], Лондон 2011, перевод и предисловие: Адам Чернявский, изд. 4.;
- *Una morte fra vecchie decorazioni* [Смерть в старых декорациях], Удине 2011, перевод: Сильвано Де Фанти;
- *Sobbing Supergrower. Selected Poems of Tadeusz Różewicz* [Заплаканная сверхдержава. Избранные стихотворения Тадеуша Ружевича], Нью-Йорк–Лондон 2011, перевод: Иоанна Тшецяк, предисловие Эдвард Хирш;
- *Und sei's auch nur im Traum. Gedichte 1998–2008* [Что ж с того что во сне. Стихотворения 1998–2008], Пассау [Австрия] 2012, перевод: Бернхард Хартман;
- *Tadeusz Różewicz* [серия: Poesiealbum, № 299], Вильгельмхорст [Германия] 2012, перевод: Гюнтер Кунерт, Хенрик Береска, Карл Делециус, Бернхард Хартман, Генрих Ольшовски;
- *Без. Выбранные вершиы*, Минск 2012, перевод: Марина Козловская;
- *Recycling*, Стокгольм 2012, перевод: Ирена Гренберг, Томас Хакансон.

Перевёл с польского Владимир Штокман

ГАДЕУШ РУЖЕВИЧ

в переводах с польского Владимира Штокмана

СТИХОТВОРЕНИЯ

SEKSCJA ZWŁOK ANIOŁA UPADŁEGO

W prosektorium na stole
leży anioł upadły
pochyleni nad nim
członkowie Akademii Papieskiej
Akademii Nauk Brytyjskiego
Towarzystwa Naukowego Akademii Szwedzkiej
(Nagroda Pokojowa)
ateiści
wierzący niepraktykujący
fundamentaliści

spadły dwa anioły
jeden czarny drugi biały
ten biały to był mój anioł stróż
a ten czarny to był mój diabeł stróż

jakiś miły pan
powiedział (w radiu)
że Tibaldi miała
głos anioła
ale ponieważ nikt
nie słyszał śpiewu anioła
lepiej brzmi
anioł ma głos jak Tibaldi
nie można powiedzieć
ze Callas miała nos anioła
natomiast można powiedzieć
że anioł (pewien anioł) miał nos jak Callas
nie można też pisać
i mówić że „madonna”
ma pupę anioła
bo nikt nie widział pupy
anioła a „wszyscy” widzieli
pupę „madonny”

ВСКРЫТИЕ ПАДШЕГО АНГЕЛА

В прозекторской на столе
 лежит падший ангел
 склонились над ним
 члены Папской Академии
 Академии Наук Британского
 Научного Общества Шведской Академии
 (Премия Мира)
 атеисты
 не практикующие верующие
 фундаменталисты

упали два ангела
 один чёрный другой белый
 белый был моим ангелом хранителем
 чёрный был моим дьяволом хранителем

какой-то милый господин
 сказал (по радио)
 что у Тебальди был
 голос ангела
 но поскольку никто
 не слышал пения ангела
 было бы лучше сказать
 у ангела голос как у Тебальди¹
 нельзя сказать
 что у Каллас был нос ангела
 но можно сказать
 что у ангела (некоего ангела) был нос как у Каллас²
 нельзя также писать
 и говорить что у «мадонны»³
 попка ангела
 поскольку никто не видел попки
 ангела а «все» видели
 попку «мадонны»

¹ Рената Тебальди – итальянская оперная певица (*прим. переводчика*).

² Мария Каллас – греческая и американская оперная певица (*прим. переводчика*).

³ Мадонна Луиза Вероника Чикконе – американская эстрадная певица (*прим. переводчика*).

POŁÓW

błękitnieje
 płowieje
 bieleje
 wietrzeje
 krajobraz i obraz człowieka
 dlaczego nie mogę tego biedaka
 dotknąć wierszem piórem
 jeszcze raz powołać do życia

złowiłem go przypadkiem
 a teraz przez pamięć
 przez słowa przecieka
 odpływa w nieistnienie

a przecież to mgnienie
 zdjęcie zrobione moimi oczami
 było objawieniem Istoty Ludzkiej



żadnego głosu z nieba
tylko dwa słowa
„dobre utro”
i jego stara twarz

w niebieskim drelichu
oczy wypłowiałe
biaława szczecina
czapka wymięta zamiast laski
kijek sękaty
czarne (zakurzone) buty

ЛОВИТВА

голубеет
выцветает
белеет
ветшает
пейзаж и облик человека
почему не могу я к этому бедняге
прикоснуться стихом пером
ещё раз вдохнуть в него в жизнь

поймал я его случайно
а теперь он сквозь память
сквозь слова протекает
уплывает в небытие

а ведь это мгновение
снимок сделанный моими глазами
было явлением Человеческого Существа

никакого гласа с небес
лишь два слова
«доброе утро»
и его старое лицо

в голубой робе
выцветшие глаза
белесая щетина
смятая кепка вместо трости
сучковатая палка
чёрные (запылённые) ботинки

O JEDNĄ LITERĘ

umierając jeszcze się gryzą
odbywają się jakieś targi
o jedno słowo
o jedną literę
na pomniku
gdyby to chociaż chodziło
o to że słowo
bochater
ma o jedną literę za dużo
gdyby chodziło
o literę „c”



lecz im chodzi o całe słowo
 o sens historii
 o to że ich bohater
 że nasz
 że ich że nasz
 że wasz
 krew serdeczna
 krew przeszłości
 rozwodniona słowami
 bezzębnych starców
 którzy gryzą się
 o kości pogrzebane spopielone

młoda krew przelewana teraz
 z pustego w próżne

jakieś targi przetargi liczydła
 o liczbę trupów o dym krematoriów
 czy słyszycie poszczekiwanie
 sfory psów
 wszelkiej maści
 nacjonalistów
 którzy
 napełniają słowo
 „przebaczam” nienawiścią

czy widzicie starców
 nad grobem
 nieznanego i znanego żołnierza
 którzy trupim jadem nienawiści
 zarażają młode serca
 i głowy wnuków

a przecież powiedział Nieznany
 wam poeta nasz poeta
 „Nie Bóg stworzył przeszłość, i śmierć, i cierpienia,
 Lecz ów, co prawa rwie (...)”
 Przeszłość – jest to dziś, tylko cokolwiek dalej (...)”

ЗА ОДНУ БУКВУ

умирая они ещё грызутся
 они ещё торгуются
 за одно слово
 за одну букву
 на памятнике
 если бы дело было только в том
 что в слове
 геррой
 больше на одну букву
 если бы дело было
 в букве «р»

но для них всё дело в целом слове
 в смысле истории
 в том что их герой
 что наш
 что их что наш
 что ваш



кровь сердечная
кровь прошлого
разбавленная словами
беззубых старцев
которые грызутся
за кости похороненные сожжённые

молодая кровь проливается сейчас
из пустого в порожнее

какие-то торги расчёты счёты
за количество трупов за дым крематориев
слышите ли вы полаивание
своры собак
бешеной масти
националистов
которые
наполняют слово
«прощаю» ненавистью

видите ли вы старцев
над могилой
неизвестного и известного солдата
которые трупным ядом ненависти
заражают молодые сердца
и головы внуков

а ведь сказал Неизвестный
вам поэт наш поэт
«Смерть, муки, прошлое – не господа создание,
А дело сатаны (...)
Прошедшее – оно сейчас, но чуть подале (...)»¹

¹ Циприан Камиль Норвид. «Прошлое». Пер. Давида Самойлова (*прим. переводчика*).

АНДРЕЙ КРАЕВСКИЙ

ДЖЕЙМС БОНД НАЧАЛА XX ВЕКА очерк

Рейли Джордж Сидней (Соломон Розенблюм) 1873 – 1925 гг.

Боже, кто в Одессе только не был рождён! Стоит лишь внимательно перечитать последнее произведение Валентина Петровича Катаева «Алмазный мой венец», или послушать известную в нашей стране песню-шансон «Одесса зажигает огоньки» из кинофильма «Одесские каникулы», как сразу становится понятным, что половину всех творческих союзов в СССР составляли уроженцы этого удивительного черноморского города! Революция, как социальный вселенский катаклизм, словно гигантской приливной волной смыла почти всю русскую интеллигенцию старого образца, а отхлынув, оставила на её месте новую, в большей своей части одесского происхождения. И теперь, почти через сто лет после этого одесского потопа, мы не можем игнорировать того сильнейшего влияния, которое оказал на наше миропонимание мир Одессы. Да, не Украины, не Южной России, а именно Одессы, благодаря князю Воронцову сорок лет развивавшейся в условиях порто-франко. Что это значит?

Это означало беспощинную торговлю в обе стороны, то есть, бесплатный ввоз и вывоз товаров, необходимых как Одессе, так и тем, кто в товарах из Одессы остро нуждался. Но в 1859 году город-порт на Чёрном море лишился прежнего своего экономического статуса, как ни странно, из-за тех же экономических соображений: накануне глобальной модернизации Российской империи, начатой в 1861 году с отмены крепостного права, оставяя зону, где перестала развиваться промышленность, а вокруг свободной экономической зоны буйным цветом расцвели бандитизм и коррупция, царская администрация посчитала нецелесообразным. Однако, ностальгия по тому вольному и особенному статусу города долго ещё будоражила воображение одесситов, что замечательно отобразили Ильф и Петров (кстати, оба одесситы!) в своём хрестоматийном романе «Золотой телёнок», когда описывали споры маразмизирующих старцев города Черноморска.

Но ничего, как известно, не ново под луной – наступили времена, когда статус, как застаревшая болезнь, напомнил о себе, и Одесса вновь приобрела возможность беспощинного вывоза, то есть экспорта. Но не ввоза! И товаром теперь стали не сырьё, не сельскохозяйственная или промышленная продукция, а люди, интеллектуальное и гуманитарное богатство Одессы. В конце XIX – начале XX веков, а особенно после революций 1917 года, началась эмиграция умов и талантов, обогатившая культуру не только России, СССР, но и всего мира. При этом за мировую славу своих граждан Одесса очень дорого заплатила: её интеллектуальный потенциал был исчерпан, и с того самого момента, как началась эмиграция: «Не может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов Одесская земля рождать». Правда, на благословенной одесской земле рождались и такие персонажи, что в пору не гордиться ими, а стыдиться, или, на худой конец, – забыть. Но это не всегда получается по причине их колоритности и своеобразия.

Герой этого очерка – известный британский шпион, один из когорты рыцарей плаща и кинжала, вошедший в историю под именем Джорджа Сиднея Рейли, – был уроженцем Одессы. Человек, всю свою сознательную жизнь посвятивший британской разведке, старался утаить истинное своё происхождение, официально представляясь ирландцем, по материнской линии – русским дворянином, а неофициально – любым носителем одного из семи языков, которые знал в совершенстве. Кем же на самом деле был Джордж Сидней Рейли, имевший титул «король шпионов», чуть было не свергнувший советскую власть в России, ставший прототипом героя нашумевшего романа Этель Войнич «Овод» и, абсолютно точно, – оригиналом, с которого Ян Флеминг калькировал своего Джеймса Бонда?

Конечно, как со всеми шпионами, так и с Рейли, задача определения его истинного прошлого – задача сложная, но в данном случае, к счастью, давно решённая. И решена она была органами ВЧК-ОГПУ, что годами вели на шпиона облавную охоту, закончившуюся его поимкой и смертью в кулуарах сего однозного ведомства. Теперь ни у кого не вызывает сомнений первый, начальный период жизни Сиднея Рейли, как бы он в своё время ни скрывал истинного происхождения, места и время рождения.



Будущий британский шпион родился в Одессе 24 марта 1874 года. Его отцом был одесский маклер Марк Розенблюм, а матерью — Софья Рубиновна, в девичестве Массино. В будущей своей шпионской жизни Шломо (Соломон) неоднократно появлялся в разных концах земного шара под этой фамилией. А женой у него было несколько, и в этом он чем-то походил на известного героя Александра Дюма-отца графа Монте-Кристо. Что же, Одесса, как и Марсель, была городом портовыми, многонациональным, кишасшим авантюристами, как пчелиный улей пчёлами. Молодому Шломо было с кого брать примеры и, ориентируясь на эти примеры, прокладывать свою жизненную дорогу. Наверное, он стал одним из последних авантюристов в XX веке, чья судьба занимает наше воображение до сих пор.

С детскими годами маленького Шломо вышло небольшое затруднение: неясно, почему он лишился отца. То ли потому, что отец умер, то ли потому, что родители его развелись. Биография супершпиона на две трети — вопрос на вопросе. Главное, что мать вышла замуж за двоюродного брата бывшего супруга и перебралась с сыном к нему жить на Александровский проспект, как говорят в Одессе, в номер 15. Отчим был человеком жестоким и часто колотил мальчика без всякой причины, тем самым выработав в нём привычку к скрытности и изворотливости, что в будущем стало ему незаменимым подспорьем в шпионской деятельности. Шломо был определён в 3-ю городскую гимназию, а после её окончания поступил в Новороссийский университет на физико-математическое отделение. Но не удалось ему уберечься от тогдашнего поветрия — участия в студенческом революционном кружке, что обернулось для него арестом и отчислением из университета за антиправительственную деятельность.

А в это время в Одессе, кроме названного выше поветрия, существовало и другое — спорт. Футбол, борьба, велосипедные гонки, роликовые коньки, плавание и гонки яхт — во всех этих видах спорта первенствовал кумир одесситов Сергей Уточкин, не имевший, кстати, законченного среднего образования. Шломо был с юности человеком тщеславным, стремившимся к богатству, роскоши и влиянию на окружающих. Но в Одессе ему реализовать свои амбиции было, мягко говоря, затруднительно: славу Уточкина превзойти было невозможно. Попавшему в полицейский список неблагонадёжных Соломону Розенблюму путь к получению высшего образования был закрыт. Чтобы стать тем, кем хотелось, надо было срочно покидать тюрьму, которой для Шломо стала Одесса. Надо было заканчивать жизнь прежнюю и начинать новую. Будущий супершпион в 1893 году не раздумывая покинул Одессу, сел на британский пароход и отправился в Южную Америку.

В Одессе перестал существовать Соломон Розенблюм, оставивший матери записку, в которой говорилось о самоубийстве писавшего и указывалось место, где можно было найти его тело: подо льдом одесской бухты, на дне морском. На несколько лет Шломо стал Зигмундом, выходцем из российской части Польши, бывшим студентом-химиком Гейдельбергского университета. Вырвавшись из замка Иф, Эдмон Дантес в первые годы своего пребывания на свободе тоже сменил несколько имён и фамилий, пока не купил себе графский титул Монте-Кристо. Правда, герой Дюма действовал из соображений мести, в какой-то момент возомнив себя Тем, Кому принадлежат слова: «Мне отмщение, и аз воздам». Но потом, раскаявшись в гордыне, не довёл месть до конца. И исчез в небытие. Зигмунд Розенблюм не мстил никому до последних лет своей жизни, покуда уязвлённое самолюбие не привело его к навязчивой мысли отомстить всем виновным в его фиаско в России в 1918 году. Современники рассказывали позже, что эта мысль сжигала его изнутри, лишала возможности разумно действовать. В итоге — гибель от рук чекистов и последний приют в земле внутреннего дворика тюрьмы на Лубянке.

Несколько лет Зигмунд пробивался в Южной Америке случайной работой: был докером, портовым служащим, работал на строительстве дорог и на плантациях, везде заводя полезные связи, которые могли бы пригодиться в будущем. Он ждал своего звёздного часа и ничуть не сомневался, что в скором времени дождётся. Интуиция, развитая до абсолюта, не подвела: он столкнулся с британской экспедицией, которой срочно требовался носильщик. Зигмунд не медлил ни секунды. Он присоединился к этой экспедиции и не прогадал: в дебрях Амазонки он спас жизнь её руководителю майору Фрезерджилю, чем завоевал его расположение к себе. Когда экспедиция вернулась в Англию, выяснилось, что научные цели, стоявшие перед ней, это только прикрытие — настоящими целями были разведывательные. Майор, благодарный Зигмунду за спасение, помог ему в получении английского паспорта и завербовал его на службу в разведку Её Величества. Примерно в это же время Зигмунд женился на Маргарет Рейли, вдове пастора, который покупал у Зигмунда патентованные лекарства. Бизнес одессита не был очень прибыльным, но выгодным в ином смысле: женившись на вдове клиента, он перевернул ещё одну страницу своей жизни, получив, пусть и формальные, основания называть себя ирландцем и католиком. Многие исследователи жизни британского шпиона считают, что это идеальное преступление никогда не было расследовано.

Прошлое, казалось, навсегда осталось где-то далеко позади, а настоящее открывало перед Сиднем (так теперь он стал себя называть, всё реже вспоминая об обучении в Гейдельберге и всё чаще — в Оксфорде) головокружительные перспективы. Дело заключалось в том, что где бы Сидней ни находился по заданию британской разведки, он никогда не упускал случая поучаствовать в какой-нибудь афере, благодаря которой можно было увеличить своё состояние. К тому же женщины и азартная игра, без которых Рейли не мог обходиться, требовали от него больших финансовых расходов. Вот несколько заметных эпизодов из деятельности Рейли в первое десятилетие службы в разведке.

Джордж Сидней Рейли однажды как бы случайно сошёлся с супругами Войнич, Михаилом и Этель,

стал для них приятным собеседником, сопровождал Этель Лилян в некоторых её поездках. Мадам Войнич, состоявшая в «Обществе друзей русской свободы», с неподдельным трепетом относилась к революционному движению в Европе и особенно в России. Но ещё больший трепет вызывали у неё сами революционеры, такие, как её муж, сбежавший из сибирской каторги; Степняк-Кравчинский, убийца шефа жандармов Мезенцева и основатель «Общества друзей русской свободы»; Джузеппе Гарибальди и Джузеппе Мадзини. Она внимательно выслушивала от Рейли его пересказ своей биографии, откорректированной специально для мадам Войнич. Никто никогда не узнает, был ли между ними роман, но Рейли, по прошествии лет, неоднократно намекал, что образ Артура Бертон «Овода» написан был с него. Скорее всего интерес Рейли к молодой писательнице объяснялся исключительно её принадлежностью к «Обществу» Кравчинского и той информации, которой она располагала о перемещении денежных средств.

Через короткое время, после общения с будущей популярной в СССР писательницей, во время поездки в железнодорожном вагоне, Рейли познакомился с неким господином, оказавшимся курьером анархистов. Легко войдя к анархисту в доверие, Рейли выяснил, что этот господин везёт своим идейным коллегам немалую сумму денег от «Общества друзей русской свободы», в котором состояла и его знакомая писательница Этель Лилян Войнич. Отношения между пассажирами прекратились внезапно: Рейли убил курьера, а труп выбросил на ходу в окно вагона. За ним потом долго охотились анархисты, надеясь отомстить за убийство друга и похищенные средства. Ян Флеминг, многолетний сотрудник британской SIS, или МИ-6, не мог не знать об этой истории. Биография придуманного им агента 007 Джеймса Бонда буквально нашпигована «подвигами» такого же уровня, в духе Сиднея Рейли.

Есть не обосновательные подозрения, что к распространению в 1898 году фальшивых русских ассигнаций на территории западных губерний Российской империи Рейли имел прямое отношение. Михаил Войнич, уроженец Ковенской губернии, продолжал поддерживать связи со своей малой родиной и, видимо, не мог отказать «обаятельному негодю» Рейли в пособничестве по распространению там купюр такого высокого качества, что без специальной аппаратуры их невозможно было отличить от настоящих. Дело давнее, не расследованное до конца, но одна его особенность заставляет задуматься над вероятностью прямого участия Михаила Леонардовича в изготовлении фальшивок. Дело в том, что в 1912 году Михаил Войнич в числе 30 манускриптов, приобретённых им у римской курии, получил и так называемую «Рукопись Войнича», одну из самых таинственных книг, написанную в первой половине XV века неизвестным автором, неизвестным языком, использовавшим неизвестный алфавит. За сто лет учёным даже близко не удалось подойти к содержанию написанного, а подозрения по отношению к Войничу в мистификации и фальсификации до сих пор не сняты. Вернёмся к фальшивым рублям. Не вызывает сомнений, что Рейли нажил большие деньги на акции, поставившей под угрозу всю российскую экономику.

Когда следы фальшивых рублей привели русских зарубежных агентов в Лондон, где у Михаила Войнича был антикварный магазин, а у Рейли – химическая лаборатория, шпион-коммерсант перебрался в Порт-Артур, где на паях с Моисеем Гинзбургом, выходящем из Одессы, стал заниматься поставками в русскую армию американского леса, лекарств и одежды. Заводил нужные знакомства с полезными людьми и стал своим человеком генерал-лейтенанту Стесселю, коменданту Порт-Артура и начальнику укрепрайона. От Рейли английская разведка получила подробные отчёты об укреплениях русской крепости, состоянии войск и флота. Но махинаций с поставками в армию было недостаточно. Пребывание Рейли в Порт-Артуре завершилось продажей им японскому военному ведомству тех же самых сведений, что он добыл для британской разведки, после чего в Порт-Артуре его уже никто не видел.

В декабре 1904 года генерал Стессель постыдно капитулировал и сдал Порт-Артур японским войскам. А в мае 1905 года в морском сражении у острова Цусима погибла 2-я Тихоокеанская эскадра адмирала Рожественского. Русско-японская война приближалась к своему бесславному концу. А Джордж Сидней Рейли в это время пребывал в Баку и в персидском Азербайджане. Изучив обстановку на нефтедобывающих приисках, он по заданию разведки отправился напрямик к французским Ротшильдам, чтобы с фактами на руках отговорить их покупать у британского магната Д`Арси земли, где предполагались богатые нефтяные залежи. В итоге сделка между Ротшильдами и Д`Арси не состоялась. А через четыре года из тех же скважин принялась бешено фонтанировать нефть, что стало основанием для создания British Petroleum, или просто В.Р. Многие ли сейчас, подъезжая к автозаправкам, знают, когда и при каких обстоятельствах, а главное, при чьём непосредственном участии появился этот всемирно известный логотип? Представляется, что сам Рейли остался доволен своей работой. За то, что нефть осталась в руках британцев, он получил немалое вознаграждение.

Завершив свои дела в Персии, Рейли вновь перебрался в Россию, куда возвращался снова и снова, едва успев завершить свои «дела» в других странах. В качестве помощника военно-морского атташе Великобритании, Рейли обосновывается в Санкт-Петербурге, став сотрудником концерна «Мандрович и Шубарский» – «Мандро». Как профессиональный брокер, он связывает русскую фирму с немецкими верфями, где наладились строительство боевых кораблей для русского военно-морского флота. Британская разведка регулярно получает от своего агента самую свежую информацию о русском морском флоте, его состоянии, боевой и ударной мощи, о качестве кораблей и их боеготовности. А агент Рейли неплохо нажился при посредничестве на поставках вооружения в русскую армию и флот.



Его связи напоминают странную паутину, всё время увеличивающую площадь охвата, но теряющую при этом прочность. Выступая посредником при поставках в российскую армию британского вооружения, Рейли при этом заводит связи с Распутиным, за которым стояла лоббирующая интересы Германии финансовая буржуазия. Если до германского военного ведомства доходили сведения об объёме и характере военных поставок Великобритании Российской империи, то не без участия Джорджа Сиднея Рейли и не бесплатно. Уже на заре двадцатого века информация для него стала высокооплачиваемым товаром.

Оборотистый делец, вхожий почти во все петербургские салоны, Рейли постоянно нуждался в деньгах, привыкнув никогда и ни в чём себе не отказывать. Касалось ли это женщин, дорогой одежды или немислимых кутежей в самых дорогих ресторанах. В Великобритании Рейли не мог занять нишу природного аристократа, как бы внешне он не пытался походить на такового. Консерватизм во взглядах аристократов на составляющую их страны как Великая Китайская стена отделял потомков саксонормандско-анжуйских герцогов и графов от выслужившихся ловкачей нового и новейшего времени. Тем более не природных британцев, тем более не имеющих стабильной ренты. Это обстоятельство раздражало Рейли вдвойне ещё и потому, что за пределами Соединённого Королевства отношение к нему было противоположным: его внешность и жизнь на широкую ногу вызывали восхищение, а самое главное – иностранец! со времён Петра I почти как инопланетянин – рождало зависть и подобострастие. Понятно, почему Рейли так сильно влекло в Россию.

Что говорить – Джордж Сидней Рейли даже внешне производил впечатление неординарного человека. Хорошо знавший его Борис Алексеевич Суворин, тогдашний медиамагнат, сын медиамагната, издатель и журналист, оставил о Рейли следующую зарисовку. «Очень замкнутый и неожиданно откровенный. Очень умный, очень образованный, на вид холодный и необыкновенно увлекающийся. Его многие не любили, я не ошибусь, если скажу, что большинство его не любило. “Это авантюрист”, – говорили про него... Он был очень верующим человеком (по-своему) и очень верным в дружбе и полюбившейся ему идее... Он работал в Интеллидженс вервис... Рейли был очень сильным и спокойным человеком. Я видел его на дуэли. Он был очень добрым и иногда очень заносчивым, но для друзей своих, очень рендикх, он был своим человеком, закрываясь, как ставнями, перед посторонними». Многим современникам казалось, будто походка Рейли выдавала в нём военного человека.

Ещё раз повторюсь: Рейли был великим имперсонатором, но никогда тем, кем являлся на самом деле, по природе своей – выброшенным из жизни, бедным, молодым одесситом. Поэтому своё прошлое он так тщательно скрывал. Поэтому жил как набоб, как современный граф Монте-Кристо, стараясь чуть ли не намеренно быть всегда и везде впереди всех, даже если это касалось такого необычного явления, как воздухоплавание. Санкт-Петербург, воздухоплавание, Рейли... это тема особая, и о ней нельзя не упомянуть.

8 мая 1910 года в Санкт-Петербурге прошла первая в России международная неделя авиации на Коломяжском ипподроме. Одним из устроителей этого праздника стало товарищество воздухоплавателей «Крылья», в состав учредителей которого вошёл Сидней Рейли. Из русских пилотов над «Коломягами» взмыл лишь один – остальные все были иностранными. Но уже в сентябре, когда на этом же поле проводился Всероссийский праздник воздухоплавания, в небо поднялись исключительно отечественные пилоты. В том числе Сергей Уточкин и Лев Мациевич. Есть фотография, на которой запечатлены Сидней Рейли, Анатолий фон Крум, Сергей Уточкин, Михаил Ефимов и Борис Суворин. К великому горю петербуржцев 24 сентября над взлётным полем потерпел аварию самолёт Мациевича, и пилот с остатками летательного аппарата упал на землю с высоты 350 метров. Хоронить авиатора вышла половина Санкт-Петербурга. На месте падения Мациевича в 1912 году был установлен памятный камень. А уже на следующий год, потрясённый гибелью отважного лётчика, Глеб Котельников изобрёл первый в мире ранцевый парашют.

Но трагедия с Львом Мациевичем не ослабила внимание товарищества «Крылья» к «Коломягам». Пустовавшее рядом с ипподромом пространство очень подходило для устройства на нём аэродрома. Однако оно с петровских времён принадлежало комендантам Петропавловской крепости, отчего и называлось Комендантским полем или Комендантской дачей. Его арендовала одна старая англичанка по фамилии Клосс, сдававшая обывателям на правах субаренды территорию поля под огороды. Рейли отправился к старушке, с присущей ему лёгкостью очаровал старую англичанку манерами истинного джентльмена (это одессит!), прекрасным знанием родного ей языка и... получил от миссис Клосс право на использование территории. Благодаря удачному ходу товарищества «Крылья», использовавшего уникальные возможности своего учредителя, в Санкт-Петербурге появился первый аэродром и аэропорт, до сего времени называемый Комендантским, хотя давно уже застроен жилыми домами.

Не без участия Рейли был организован исторический авиAPERелёт из Санкт-Петербурга в Москву в июле 1911 года.

За первым в истории российской авиации столь дальним перелётом наблюдала широкая общественность и самая разнообразная публика, которой не были безразличны первые опыты российских авиаторов и судьба отечественного самолётостроения. Перелёт готовился около года, и пресса регулярно освещала этапы этой подготовки. Организаторами перелёта официально считались великий князь Александр Михайлович, выдающийся отечественный организатор флота и авиации, и генерал барон Александр Васильевич Каульбарс, известный русский географ, один из первых руководителей



отечественной военной авиации. Однако непосредственно технической подготовкой перелёта, а тем более его коммерческой стороной занимались менее известные люди. В их среде оказался «антиквар и коллекционер» (как он значился в телефонном справочнике «Весь Санкт-Петербург») Джордж Сидней Рейли. И надо признать, что подготовка, как выяснилось после окончания перелёта, была скверной: средства технической поддержки, запланированные на трассе перелёта, никак не удовлетворяли требованиям и нуждам перелёта очень примитивных аэропланов того времени. За день до старта практически все авиаторы отказались лететь. Разрекламированный перелёт, за которым следил и сам Николай II, оказался на грани срыва. И вот Сергей Уточкин, разносторонний спортсмен, гонщик, пловец, боксёр и авиатор, любимец всей Одессы, заявил, что полетит, даже если ему придётся это сделать в одиночку. Николай Шиманский закатил истерику, пообещав, что застрелится в случае отмены старта. 11 июля 1911 года старт был дан и первым с Комендантского аэродрома в Санкт-Петербурге в небо поднялся «Блерио» Сергея Уточкина, который крикнул провожавшим его зрителям: «Еду чай пить в Москву. Прощайте!».

Возможно, Уточкину хотелось поддержать реноме своего земляка, но более вероятно, что Рейли, знавший Уточкина ещё по Одессе (кто же в Одессе не знал Уточкина?!), сыграл на простодушии и доверчивости «третьего пилота России», убедив Сергея, что волноваться нет оснований и он непременно будет в Москве первым. Но, не долетев до Новгорода, аэроплан «Блерио» сломался, Уточкину пришлось сделать вынужденную посадку, кое-как починить двигатель и продолжить полёт. А за Новгородом его ожидала другая беда: перестал вращаться пропеллер. Сергей на своём аппарате врезался в землю. Он получил при этом сотрясение мозга, смещение позвонков, переломы рук, ног, рёбер и растяжение коленной чашечки. А вот Шиманскому повезло меньше: он летел в паре со Слюсаренко и во время падения их «Фармана» разбился насмерть. Вообще, до Москвы долетел только один авиатор из одиннадцати – Васильев. Все остальные до Москвы не долетели, застряв в госпиталях. Московский губернатор Владимир Джунковский, лично встречавший Васильева на Ходынском поле, навещавший Уточкина в больнице и исследовавший причины аварий, констатировал, что виновато столько драм в воздухе явилась безобразная организация перелёта. Этот перелёт стал для Сергея Уточкина «лебединой песней». Сломленный, он вышел из больницы и за пять отведённых ему после этого Богом лет не смог совершить ничего выдающегося ни в небе, ни на земле, ни на воде.

Как Рейли относился к коммерции, было известно многим, но никто его не смог «поймать за руку». Ему всегда удавалось без потерь для собственного бюджета и статуса выходить сухим из воды. Виртуоз перевоплощения, он умудрялся сохранять репутацию человека, которому можно было доверять не только коммерческие, но и военные тайны. А в его профессии и то и другое шли рука об руку. В его личной жизни случались неприятности, но и их Рейли преодолевал с присущим ему профессионализмом. Так в России он тесно сошёлся с Надеждой Залески, ставшей его любовницей и посредницей в делах с нужными людьми теневой политики и бизнеса. Жена Сиднея Маргарет, уставшая ждать от него вестей из России, однажды нагрянула на его квартиру с ревизией без предварительного уведомления. Разразился скандал, не ставший, впрочем, достоянием публики. Сразу после этого Маргарет внезапно скончалась, как полагают некоторые биографы легендарного шпиона, от того же средства, которое из рук Сиднея принял её первый муж накануне смерти.

В 1916 году Рейли совершил один из самых блестящих своих шпионских подвигов, похитив военно-морские коды Германии. К этой операции он готовился долго, вживаясь в роль (которую сам для себя выбрал) личного шофёра полковника Германского Генерального штаба. Так вот, однажды, совершенно неожиданно для полковника, во время ночной поездки на очень важное совещание, шофёр его убил, после чего оделся в его форму, тщательно, но не броско загримировался и отправился на это совещание под видом своего пассажира. Уверенность, с которой Рейли всегда держался, не подвела его и в этот раз. Никто из присутствовавших не заподозрил подмену. Зато именно доверие к лже-полковнику помогло получить Рейли вожделенные коды военно-морского флота Германии. Это была последняя, блестяще завершившаяся операция Джорджа Сиднея Рейли, агента британской разведывательной службы МИ-6, имеющего свой агентурный шифр СТ-1. Все остальные «подвиги» Джорджа Сиднея были впечатляющими, невероятными, но к ожидаемому от них результату не привели.

Революции в России 1917 года и гражданская война открыли перед британским агентом и бывшим подданным Российской империи безбрежное поле деятельности как шпионской, так политической и коммерческой. Отречение Николая II и возникшее в России двоевластие поставило под сомнение продолжение участия России в первой мировой войне. Страны Антанты, и в первую очередь Великобритания, предприняли определённые шаги, чтобы удержать своего союзника от подписания с Германией сепаратного мира. Были они самыми разнообразными, но, как можно догадаться, во множестве своём – закулисными, то есть и диверсионного характера. Сидней Рейли был бесспорным асом в подобных играх секретных служб, поэтому его появление в России можно было предсказать с абсолютной вероятностью.

Едва до Запада дошёл смысл большевистского декрета о мире, как в сторону Советской России были выдвинуты первые отряды рыцарей плаща и кинжала. Без лишнего шума и суеты британские агенты проникли в Россию под видом сотрудников официальных организаций, что позволило им беспрепятственно передвигаться по стране. В начале 1918 года во главе союзной миссии в Мурманск



прибыл и Джордж Сидней Рейли. Мурманск и Архангельск – два северных русских порта, через которые во время первой мировой войны Россия получала по морю материальную помощь от союзников и где этой неиспользованной помощи за четыре года накопилось на несколько десятков миллионов золотых рублей. И вот, возле этих неисчислимых богатств возникла фигура бледного, милого человека, длиннолицего, с высоким покатым лбом и беспокойным взглядом. Невозможно представить, чтобы наш герой не совместил шпионскую деятельность с личной коммерцией, ибо других источников доходов (кроме разве что наследства предыдущих мужей своих жён) у него не было. А на русском севере в первые месяцы фактического безвластия пожить было чем!

Следующим пунктом назначения Рейли или сферой его интересов стала родная Одесса, где он появился в феврале 1918 года в составе миссии английского полковника Боуля, перед которой стояло несколько задач: обмен военнопленными и их эвакуация; оказание посреднических услуг в мирных переговорах между румынскими властями и представителями советской власти в Одессе; воссоздание шпионской сети в этом регионе России; анализ политической и экономической ситуации на Юге России и, конечно, поиски способов привлечь на это стратегическое направление с западного фронта немецких частей за счёт консолидации политических сил антигерманской направленности. Представляете, после двадцати пяти лет отсутствия, никем не узнанный, Соломон Розенблом появляется в красивейшем из черноморских городов, в когда-то родной для него Одессе. Ну, очень похоже на появление графа Монте-Кристо, которого никто не узнал по прошествии двадцати пяти лет! Только с одной, очень существенной разницей: в графе никто не признал Эдмона Дантеса, а Соломона Розенблома никто из жителей Одессы не вспомнил, отчего и сравнивать преуспевающего мистера Рейли было не с кем.

Безусловно, Рейли не мог не встретиться в Одессе с людьми, представлявшими интерес для английской миссии одним только своим отрицательным отношением к брестским соглашениям, из-за которых страны Антанты лишались поддержки со стороны Восточного фронта. Одним из самых влиятельных людей в городе в это время был «красный диктатор Одессы» Михаил Муравьёв, формально не состоявший в партии эсеров, но находившийся под влиянием их идеологии. Командуя армией в составе южной группы войск, Муравьёв захватил Полтаву, а вскоре и Киев, установив в этих городах режим террора и крови, попустительству грабежам, производимым его красноармейцами, накладывая на местную буржуазию колоссальные контрибуции, расстреливая тысячами бывших военнослужащих царской армии, проводя оголтелую антиукраинскую национальную политику. В своём донесении Ленину о захвате Киева он писал:

«Сообщаю, дорогой Владимир Ильич, что порядок в Киеве восстановлен, революционная власть в лице Народного секретариата, прибывшего из Харькова Совета рабочих и крестьянских депутатов и Военно-революционного комитета работает энергично. Разоружённый город приходит понемногу в нормальное состояние, как до бомбардировки. . . Я приказал частям 7-й армии перерезать путь отступления – остатки Рады пробираются в Австрию. У меня были представители держав Англии, Франции, Чехии, Сербии, которые все заявили мне, как представителю советской власти, полную лояльность. . . Я приказал артиллерии бить по высотным и богатым дворцам, по церквям и попам. . . Я сжёг большой дом Грушевского, и он на протяжении трёх суток пылал ярким пламенем. . .»

В этом донесении Муравьёв опустил «маленькие» подробности «героического» штурма «вражеского» города: по Киеву было выпущено более 15 тысяч артиллерийских снарядов, в том числе с отравляющими газами, было одномоментно расстреляно 3 тысячи офицеров, столько же лиц гражданского состояния, уничтожены все портреты Тараса Шевченко, а митрополита Киевского Владимира (Богоявленского) с целью грабежа вывели из Лавры и злодейски расстреляли в ста метрах от ворот. Владыка Владимир был единственным в истории Русской Православной Церкви архиереем, возглавлявшим поочерёдно все столичные кафедры: Московскую, Санкт-Петербургскую и Киевскую. Уже в Одессе Муравьёв так рассказывал о своих киевских «подвигах»: «Мы идём огнём и мечом устанавливать Советскую власть. Я занял город, бил по дворцам и церквям. . . бил, никому не давая пощады! 28 января Дума Киева просила перемирия. В ответ я приказал души их газами. Сотни генералов, а может и тысячи, были безжалостно убиты. . . Так мы мстили. Мы могли остановить гнев мести, однако мы не делали этого, потому что наш лозунг – быть беспощадными!».

Полководцем Муравьёв был посредственным, победы одерживал только при многократном превосходстве своих войск над противником, над регулярными частями не одержал ни одной победы. Но был крайне амбициозен и тщеславен, во время публичных выступлений буквально наэлектризовывал толпу своей революционно-пафосной лексикой, граничившей с истерией. Преклонялся перед Наполеоном, совершенно необоснованно полагая, будто и он сможет повторить судьбу великого корсиканца. Ох уж этот Наполеон – Муравьёв был не последним, кто грезил из армейских офицеров шагнуть к императорскому престолу. В Одессе он надеялся повторить киевский успех, устанавливая диктатуру Советской власти теми же средствами, которыми орудовал в Киеве. Муравьёв потребовал от одесской буржуазии 10 миллионов рублей, уничтожил винные склады и объявил город на военном положении. И вот к такому «крупному военно-политическому деятелю времён Ленина и Мишки-япончика» направил свои стопы ас британской разведки, урождённый одессит Соломон Розенблом.

Конечно, Муравьёв не скрывал своего отвращения к германским империалистам, призывал к мировой революции и, вообще, использовал фразеологию геркулесовых столбов большевизма Ленина и

Троцкого. Но в отличие от них, прикрывавших фразой истинную политику капитуляции перед Германией, Муравьёв, фактически эсер, рвался защищать родину от посягательств кайзера на её территориальное единство. В этом отношении Муравьёв представлял для британской миссии и её агенты определённый интерес. А для Сиднея Рейли, шестым чутьём улавливавшего направление «чёрных» финансовых потоков и возможности сделать гешефт, Муравьёв, потребовавший от одесской буржуазии 10 миллионов в виде контрибуции, явился просто рогом изобилия. Надо признать, что политическую задачу Рейли решил с блеском: Муравьёв — таки поднял в июле мятеж в Симбирске, пытаясь ликвидировать Брестский мир. Справился ли Рейли со своей коммерческой задачей — неизвестно. Зато известно другое: вместо 10 миллионов Муравьёву доставили только два (есть подозрение, что одессит Соломон Розенблюм перенаправил поток остальных 8 миллионов в другое русло), после чего «диктатор Одессы» принялся изымать наличность из банков и касс одесских предприятий.

Ещё один контакт Рейли в Одессе стал настоящей находкой для британской разведки. В своём родном городе, где авантюристы произрастали чуть ли не в каждом номере (так в Одессе называют дома, имеющие нумерацию), супершпион познакомился с Яковом Блюмкиным (Симха-Янкев Гершевич Блюмкин), членом партии левых эсеров, достойным рыцарем плаща и кинжала новой формации. Блюмкин был одним из тех, кто выполнял приказ Муравьёва, экспроприровал ценности Государственного банка. Его потом упрекали в том, что он часть этих ценностей присвоил себе. Но, кажется, не только он стал счастливым обладателем этой доли. Британский агент Сидней Рейли стоял за спиной юного Блюмкина, не только потому, что готовил исполнителя ответственного диверсионного задания, но ещё и потому, что вокруг Блюмкина бурлили потоки шальных денег, правильно направить которые Рейли никогда не отказывался.

Вскоре после их встреч и бесед Блюмкин перебрался из Одессы в Москву и был направлен руководством своей партии на работу в ВЧК. Так как в это время Дзержинский осуществлял очередную попытку сформировать подведомственную ему политическую контрразведку, ему потребовался руководитель этой службы. Снова левые эсеры «продавили» свою кандидатуру на этот пост, после чего Блюмкин был назначен Дзержинским заведующим отделением контрразведывательного отдела по наблюдению за охраной посольств и их возможной шпионской деятельностью. Так как на тот момент врагами № 1 считались немецкие шпионы, Блюмкин всё внимание направил на германское посольство в Москве. Именно в этом посольстве в Денежном переулке 6 июля 1918 года Блюмкин убил посла Германии в Советской России графа Мирбаха, пытаясь таким образом спровоцировать разрыв Брестских соглашений.

Муравьёв и Блюмкин были не единственными, с кем встречался и вёл переговоры в Одессе Джордж Сидней Рейли. Он встречался с Григорием Котовским, Верой Холодной, Михаилом Винницким (Япончиком), позже — с Гришиным-Алмазовым. Трудно даже представить, какие интересы преследовал британский шпион, налаживая контакты с этими людьми. Этого уже, увы, никогда не узнать. В начале марта 1918 года Рейли уже в Петрограде. А 12 марта того же года советские войска под командованием Муравьёва начали в панике покидать Одессу. На следующий день в Одессу вошли войска Австро-Венгрии и Румынии. Отступая, Муравьёв отдал приказ полевой и корабельной артиллерии «открыть огонь по городу и его буржуазным кварталам и национальной части города, разрушить её до основания». К счастью, подчинённые Муравьёва приказ не выполнили, за что Одесса должна быть благодарна артиллеристам, сохранившим для потомков эту жемчужину черноморского побережья.

В Петрограде Рейли был прикомандирован к военно-морскому атташе Кромби, а также к главе британской миссии Роберту Брюсу Локкарту. В это же время Рейли пытался войти в доверие к начальнику Высшего Военного Совета Республики бывшему царскому генералу Михаилу Дмитриевичу Бонч-Бруевичу, брат которого Дмитрий, заведующий делами Совнаркома, был лицом приближённым к Ленину и пользующимся полным его доверием. Но безрезультатно. Михаил Дмитриевич, один из столпов российской контрразведки, на контакт с Рейли не пошёл. Вскоре большевистское правительство перебралось подальше от наступающих на Петроград немцев, заодно сменив и столицу: с марта 1918 года вместо Петрограда ею стала Москва. Здесь Рейли активно включился в работу по организации антибольшевистских заговоров, передав заговорщикам более пяти миллионов рублей для деятельности национального и тактического центров. В мае 1918 года Рейли ненадолго оставил Москву, перебрался на Дон к Каледину, где встретился с Александром Фёдоровичем Керенским. Известно, какими мотивами руководствовался Рейли, получал ли он задание от своего ведомства или это была безвозмездная (странно звучит применительно к Рейли) помощь бывшему главе Временного правительства, но, тем не менее, британский шпион сделал, казалось, невозможное: через всю европейскую территорию России он перевёз Керенского в Мурманск, где посадил на британский корабль и отправил в Европу. Ни до, ни после они никогда не встречались. Очень не похоже на Рейли...

6 июля 1918 года в Москве был убит германский посол Мирбах: убит левыми эсерами Андреевым и Блюмкиным, Брестский мир висел на волоске, как и власть большевиков. В этот день решалась судьба советской власти в России: или она падёт в Москве и по принципу домино начнёт валиться всё дальше и дальше от центра, или удержится и, используя прецедент, начнёт уничтожать всех своих политических и идейных врагов. Как это было, например, во время французской революции, когда якобинцы открыли неслыханный террор, воспользовавшись убийством Марата. А якобинцев, как известно, большевики считали своими учителями, регулярно сверяя свою государственную деятельность с их крова-



вой резнёй. Правда, за Шарлотой Корде, зарезавшей в ванне «друга народа» не стояли никакие политические силы. А вот за спинами эсеров явно наблюдается силуэт британского агента Джорджа Сидней Рейли. И деньги, которые он щедрой рукой раздаёт эсеровским инсургентам.

Вслед за событиями в Москве 6 июля 1918 года белогвардейские (в основном эсеровские) мятежи вспыхнули в Ярославле, Рыбинске, Муроме и Симбирске. Большинство из них было организовано «Союзом защиты Родины и Свободы», во главе которого стоял один из известнейших эсеровских боевиков Борис Викторович Савинков, друг и соратник Рейли, разделивший с ним не только антибольшевистскую деятельность, но и гибель в стенах политической тюрьмы на Лубянской площади в Москве. Обстоятельства подавления восстания в Ярославле отрядами Красной Армии напоминают события в Киеве и Одессе, когда «красный диктатор Муравьёв» восстанавливал на юге России власть Советов. Вот телеграмма Юрия Гузарского, одного из «усмирителей» Ярославля, своему начальству: «Срочно шлите 10 000 снарядов, половина шрапнель, половина гранат, а также пятьсот зажигательных и пятьсот химических снарядов. Предполагаю, что придётся срыть город до основания».

Из Москвы ему отвечали: «Пленных расстреливать: ничто не должно остановить или замедлить применение суровой кары... Террор применительно к местной буржуазии и её прихвостли... должен быть железным и не знать пощады». На город с самолётов было сброшено около двухсот килограммов динамитных бомб, что привело к уничтожению исторического центра Ярославля. По самым скромным подсчётам «усмирители» расстреляли и уничтожили в Ярославской губернии более пятидесяти тысяч жителей, в то время как в так называемом «Ярославском отряде Северной Добровольческой армии» на бумаге числилось не более 6 000 бойцов. В Рыбинске, Муроме и Симбирске восстания также не увенчались успехом и были подавлены с не меньшей жестокостью.

Но Рейли рук не опускал. Он установил связь с командирами латышских интернациональных подразделений, которые смело можно было назвать «преторианской гвардией большевиков». Латыши несли охрану Кремля и отвечали за безопасность большевистских вождей. Чтобы оценить обстановку на месте, Рейли проникает в Кремль и неоднократно пробирается в самые укромные места этой московской цитадели. Друг Савинкова Владимир Орлов обеспечил Рейли документами на имя Сиднея Георгиевича Ролинского, сотрудника ВЧК, что способствовало неуловимости легендарного шпиона. К тому же шпиону, как всегда, помогали его романтические отношения с женщинами. На этот раз перед его чарами не устояла некая Ольга Стрижевская, не случайно оказавшаяся секретаршей ЦИКА. Локкарт щедро снабдил Рейли деньгами, и те в количестве 1 миллиона 200 тысяч рублей перешли в руки Эдуарда Берзина, командира артдивизиона латышской стрелковой дивизии. За свержение большевистской власти и ликвидацию её лидеров Рейли предлагал латышам помощь Великобритании в установлении независимой Латвийской республики. Однако даже Рейли не мог предположить, что вербовка латышских командиров – это одна из первых и самых удачных провокаций ВЧК, режиссёром которой являлся сам Дзержинский. После того как 21 августа 1918 года при последней их встрече Рейли передал Берзину оставшуюся часть суммы, они больше не виделись.

От латышей, оставшихся верными Советской власти, стало известно, что во время обсуждения с британским шпионом судьбы большевистских вождей после переворота, Рейли высказал довольно оригинальную мысль. Он предложил латышам, если удастся, взять в плен Ленина, Троцкого и Свердлова, не казнить их сразу, а сначала без штанов провести по Тверской улице для публичного обозрения и осмеяния. Моральный ущерб, нанесённый таким образом Советской власти, полагал Рейли, будет страшнее и более убийственным, чем ущерб политический.

30 августа эсер-террорист Канегиссер убил в Петрограде Моисея Урицкого, главу Петроградского ЧК, а в Москве на заводе Михельсона в тот же день эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, после чего игра ВЧК с британскими спецслужбами закончилась. Был объявлен ответный «Красный террор», начались повальные аресты и массовое уничтожение врагов советской власти. Уже на следующий день в Петрограде чекистами была предпринята попытка захвата британского посольства с целью изъятия секретной документации. Капитан Кроми героически отстреливался на лестнице здания, пока другие сотрудники уничтожали ценные бумаги. Застрелив троих чекистов, Кроми получил пулю в голову и на месте скончался. Джордж Сидней Рейли бесследно исчез. Сотрудникам ВЧК не удалось его схватить или выйти на его след.

Большевики несколько раз в разных местах России репетировали применение «Красного террора» к населению страны, власть в которой они захватили. Но с нетерпением ждали, когда закончится репетиционный период и постановка людоедской пьесы «Кто не с нами, тот против нас!» с головокружительным успехом пройдёт на подмостках театра площадью в одну шестую часть суши. 5 сентября 1918 года премьера этой пьесы началась. Зная историю французской революции, большевики легко нашли повод (или сами его создали, пребывая в состоянии нетерпения) для ответа контрреволюции на её вражеские происки. Рейли, сам того не осознавая, определённым образом ускорил начало «Красного террора».

В Советской России Рейли был приговорён к смертной казни, с бессрочным её приведением в исполнение. В приговоре говорилось, что как только Джордж Сидней Рейли вступит на территорию РСФСР, убить его может каждый... Вернувшись в Великобританию, Рейли стал консультантом Уинстона Черчилля, военного министра, выражавшегося в ту пору по отношению к стране Советов безальтернативно жёстко, предлагая «задушить большевизм в колыбели». Консультируя министра по



русским вопросам, Рейли нашёл в нём внимательного слушателя, с пониманием относившегося к его собственной фразеологии «большевики – раковая опухоль, поражающая основы цивилизации», «архиврапи человеческой расы», «силы антихриста», «любой ценой эта мерзость, народившаяся в России, должна быть уничтожена». . . Существует лишь один враг. Человечество должно объединиться против этого полного ужаса». Порой становится непонятным, кто у кого заимствовал эти яркие эпитеты.

Но служба консультантом – дело малоприбыльное. А материальное положение Рейли после фиаско с ликвидацией большевиков оставляло желать лучшего. Вот и отправился он поправлять свои дела в. . . Россию. Узвлённое самолюбие требовало реванша. Реванша политического и финансового. Проведя два месяца в ставке Деникина, Рейли, офицер связи союзной миссии, вновь устремился в Одессу, лелея надежду поймать золотую рыбку в мутной политической воде. В родном городе Рейли сошёлся с военным губернатором Гришным-Алмазовым, протезе Колчака и Деникина. Однако быстро разочаровался в генерале. При всей внешней кажущейся артистичности и несерьёзности, Гришин-Алмазов жёстко насаждал порядок в городе, где крутились тогда бешеные деньги, свежённые чуть ли не со всей России, а налётчики грабили обывателей и банки среди бела дня. Губернатор не останавливался ни перед бессудными расстрелами, ни перед облавами, заканчивавшимися казнями на месте.

Но и во второй приезд Рейли в Одессу ему не повезло с коммерцией: все денежные пироги были разрезаны и перераспределены без учёта его аппетита. И не только в долю брать его никто не хотел, но и в виде премиальных оплачивать его сомнительные услуги никому на ум не приходило. Чужим был для одесситов Джордж Сидней Рейли. Его двухмесячное пребывание в Одессе, куда он больше уже никогда не возвращался, обозначилось разве только публикацией в газете «Призыв» №3 за 3 марта 1919 года его автобиографии, где Рейли описывал свои заслуги в борьбе с большевизмом. Существует мнение, будто автобиография была опубликована на средства самого Рейли, чтобы привлечь к его персоне интерес местных коммерсантов и вызвать у них доверие к его персоне. Увы, ожидаемого эффекта не последовало.

И уже совсем, видимо, от безнадёжности, не зная, как и чем заслужить доверие белоэмигрантской одесской публики, в той же газете за 20 марта 1919 года Рейли поместил сообщение, которое фактически являлось доносом в контрразведку на трёх, находившихся в тот момент в городе сотрудников ВЧК, лично ему известных: Грохотова, Петикова и Жоржа де Лафара. Последний из этой троицы был потомком эмигрировавших в Россию французов, активно разрабатывал возможность привлечения Веры Холодной к деятельности в ВЧК и стал, по одной из версий, причиной её таинственной гибели. Лафар был расстрелян так же, как и Жанна Лябурб со всей «Французской Иностранной коллегией», активно агитировавшей французских военнослужащих оставить берега Одессы и вернуться к мирной жизни на своей исторической родине. Контрразведкой в это время руководил знакомый Рейли профессионал-контрразведчик, генерал Владимир Орлов, а он своё дело знал не хуже, если не лучше кого-то из асов ВЧК.

А 3 апреля 1919 года вместе с французскими войсками навсегда оставил Одессу её блудный сын Соломон Розенблум, который, видимо, никогда не называл её мамой, мамочкой, Одессой-мамой, эгоистично и капризно относясь к ней, как к мачехе, не признающей к себе потребительского отношения.

Наступило «тёмное время» всевозможных делишек, провокаций, авантур и подлогов, являвшихся лишь тенью тех громких дел, которые в своё время организовал и в которых участвовал британский супершпион Джордж Сидней Рейли. Он ещё теснее сблизился с таким же легендарным авантюристом эпохи, оказавшимся выброшенным за борт большой политики, с Савинковым Борисом Викторовичем. Их обоим влекла в Россию жажда мести за свои несбывшиеся мечты и нереализованные планы. Осенью 1920 года Рейли и Савинков приняли участие в рейде на территорию Белоруссии отрядов Булак-Балаховича. Военная авантюра с треском провалилась, а Савинков и Рейли понесли не только моральные, но и политические, а также, что было более существенно для их положения, материальные убытки.

В 1922 году Рейли вместе с Савинковым и Эльфергреном создал группу террористов, готовивших покушения на представителей Советской России, участвовавших в работе Генуэзской конференции. Но благодаря работе сотрудников ИНО ВЧК и его руководителя Соломона Могилевского все попытки терактов были предотвращены. И лишь в 1923 году капитану Морису Конради «повезло» больше: 10 мая 1923 года в Лозанне, в ресторане отеля «Сесиль» он застрелил из пистолета советского дипломата Вацлава Воровского. На суде, превратившемся в суд над большевизмом, капитан Конради, Георгиевский кавалер, боевой офицер-дроздовец, был оправдан.

В 1924 году Рейли принял участие в создании фальшивки, получившей название «письмо Зиновьева», следствием которой стала отставка лейбористов и приход к власти правительства консерваторов во главе со Стенли Болдуином. Новое правительство не ратифицировало заключённый ранее общий и торговый договор между СССР и Великобританией. А Уинстон Черчилль получил в правительстве пост канцлера казначейства.

Но ни одно из дел, в которых Рейли принимал участие в эти годы, не принесло ему ни морального удовлетворения, ни поправки финансового положения. А главное, его гордость и тщеславие были ущемлены настолько, что он не мог ни о чём другом думать, как только о реванше, возвращении к большой международной политике, чтобы, стоя за кулисами, режиссировать происходящим на миро-



вой сцене. И чтобы его режиссура щедро оплачивалась заказчиками не только по официальным каналам, но, что ещё лучше, по неофициальным. Но время шло, шпион не молодедел, а дел, участие в которых могло бы поправить его пошатнувшееся положение, не предвиделось, как не предвиделось его изменение образа жизни, его тяги к роскоши, азартным играм и женщинам.

Великая война завершилась, мир вновь стал обретать порядок и осмысление. Исчезли неразбериха, паника, контрибуции, поставки в армию, артобстрелы, экспроприации и всё то, на что можно было легко списать украденные миллионы. А в России к тому же были ликвидированы частная собственность и рыночные отношения. За счёт чего, спрашивается, оплачивать непредвиденные расходы и, вообще, жить безбедно? Пришлось джентльмену Рейли пойти на крайние меры: в 1921 году он за 100 000 долларов продал принадлежавшую ему и трепетно собираемую годами коллекцию вещей, личным владельцем которой был в своё время Наполеон Бонапарт. Дело заключалось в том, что Наполеон был чуть ли не единственной личностью, перед которой Рейли преклонялся, почти фетишизировал. Он писал друзьям: «Если лейтенант-корсиканец сумел уничтожить следы Французской революции, то и британский агент Рейли с такими возможностями, какими он располагает, сумеет оказаться хозяином Москвы». Подобная завышенная самооценка стала для Рейли навязчивой идеей, лишила его критического взгляда на происходящее.

Да, Михаил Муравьёв, как уже говорилось, был не последним, кто преклонялся перед Бонапартом и пытался повторить его политическую карьеру. Странно, все подражатели великого корсиканца были мужчинами среднего или маленького роста, мучимые комплексами непризнанности, неценённости, зависти к успехам других. Полковник Павел Пестель, Владимир Ульянов, дуче Муссолини, Соломон Розенблюм, выходец из Одессы, так и не ставший не только графом Монте-Кристо, но и «хозяином Москвы». Да и не только Москвы. Ведь писал же он: «Я был в миллиметре от того, чтобы стать властелином России». Чего-то всё-таки не хватало им, видимо, великого, чтобы дотянуть до уровня французского императора.

В 1923 году Рейли в очередной раз женился. Его супругой стала молодая актриса Пепита Бобадилла, ранее выступавшая в Мулен-Руж, лет на двадцать пять моложе Рейли, но успевшая овдоветь после пяти месяцев «счастливой» брачной жизни с шестидесятилетним предпринимателем. Настоящее её имя было Нелли Вартон, а о её происхождении можно было услышать немало историй, мало отличавшихся от биографии английского супершпиона. Они нашли друг друга. Правда, женитьбе на Пепите предшествовал головокружительный роман с выпускницей школы искусств Кэрилл Хауслэндер, которая была намного моложе Пепиты. 18 мая 1923 года свадьба была сыграна с размахом, в лондонском отеле «Савой». Рейли, естественно, не поставил молодую жену в известность, что имеет ещё двух жён, браки с которыми он не счёл нужным расторгнуть. Пикантная подробность о свадебных венчаниях Джорджа Сиднея Рейли: одно из них было совершено по католическому обряду, а другое – по православному.

Рейли пробавлялся каким-то табачным бизнесом, из разведки уволился, и его друг Борис Савинков прожил не лучшим образом – дальнейшее существование с каждым годом представлялось всё менее и менее перспективным. И вдруг... Савинков воспринял это как чудо, как подарок судьбы: он оказался востребован и незаменим! Его пригласили в Россию законспирированные либерал-демократы, создавшие подпольный антибольшевистский центр. Им недоставало самого главного – харизматичного лидера. В лице Савинкова они надеялись получить такового. Савинков согласился на их предложение и стал собираться в Россию, чтобы встать во главе не только заговора, но правительства, которое должно было прийти на смену «архиврагам человеческой расы», как Рейли называл большевиков. Перед отъездом Борис Викторович связался со своим другом и поставил его в известность относительно вояжа в Россию. Рейли дал уклончивый ответ, в том духе, что он, конечно, не против такого шага, но следует всё семь раз отмерить...

Савинков отмерил несколько раз и поехал. А 16 августа 1924 года был арестован в Минске группой сотрудников ОГПУ, препровождён в Москву и допрошен в следственной тюрьме на Лубянской площади. И уже 29 августа Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила его, Савинкова Бориса Викторовича, к расстрелу. Правда, после ходатайства перед Президиумом ЦИК СССР приговор был смягчён и расстрел был заменён на 10 лет тюремного заключения. Есть достаточно достоверные сведения, что тюремная камера бывшего эсеровского боевика напоминала гостиничный номер, а не тюремный застенок. Савинков имел возможность прогулок в парках Москвы (правда, под надзором конвоя), а также занятий литературой, что являлось неотъемлемой частью его жизнедеятельности. В это время из-под его пера вышло следующее заявление:

«После тяжкой и долгой кровавой борьбы с вами, борьбы, в которой я сделал, может быть, больше, чем многие другие, я вам говорю: я прихожу сюда и заявляю без принуждения, свободно, не потому, что стоят с винтовкой за спиной: я признаю безоговорочно Советскую власть и никакой другой».

Он также написал письма некоторым руководителям белой эмиграции с призывами прекратить борьбу против Советского Союза. Всех, хорошо знавших Савинкова в эмиграции, случившееся с ним и эти обращения повергли в шок. С трудом верилось, что такого последовательного борца сначала с царской, а потом с большевистской властью можно было принудить к подобному низкопоклонству и ренегатству. Вот и Рейли не верил. Не верил, что пленение Савинкова – это провокационная операция ОГПУ, руководимая самими Дзержинским и Артузовым, что такого зубра конспирации, как Савин-

ков, удалось обвести вокруг пальца, что обращения Савинкова к эмиграции – это не фальшивка советских спецслужб. И так как Рейли мало отличался от людей, готовых верить в то, во что они хотят верить, он тоже попался на подобную провокацию, организованную ОГПУ. С небольшой разницей: Савинкова заманили в СССР в ходе операции «Синдикат 2», сделав наживкой конспиративную организацию либерал-демократов во главе с Андреем Фёдоровым, а Рейли – в ходе операции «Трест», когда в виде наживки послужила монархическая организация, Монархическая организация Центральной России (МОЦР), возглавляемая бывшим действительным статским советником Якушевым Александром Александровичем.

Рейли был приглашён в СССР лично Марией Владиславовной Захарченко, профессиональным боевиком-террористом, доверенным человеком генерала Кутепова, легендой белого движения. Эта женщина воевала против красных в годы гражданской войны наравне с мужчинами, ни в чём им не уступая, а в части преданности белому движению, многих из них превосходя. Кутепов доверял ей безоговорочно. Рейли знал её лично, знал Кутепова, что, собственно говоря, подтолкнуло его отринуть сомнения. К тому же, чего греха таить, Рейли, как и многие боевые офицеры и генералы в эмиграции, полагал, будто Савинкова подвёл низкий профессиональный уровень его резидентов в СССР и заговорщиков из подпольного объединения либеральных демократов. А Кутепов, один из руководителей Русского Общевоинского Союза (РОВС) и Захарченко – это те, кому можно доверять. И Рейли поехал в СССР.

Зачем? Во-первых, самоутвердиться. Получить гарантию, что он ещё востребован в больших политических играх, которые невозможно организовать без участия суперагентов спецслужб международного класса. А во-вторых, что являлось для него главным, поправить материальное положение, относительно чего у Рейли имелся проверенный, надёжный план, открыть который он намеревался перед членами МОЦР. Рейли не остановило даже официальное сообщение о том, что 7 мая 1925 года Борис Викторович Савинков покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна внутренней тюрьмы на Лубянке. Джордж Сидней оставил жене записку: «Мне необходимо съездить на три дня в Петербург и Москву». Своё пребывание в Советской России Рейли рассматривал как краткое, временное. Совершенно не подозревая, что в этой стране не бывает ничего постоянного временного.

Ночью, с 25 на 26 сентября 1925 года, Рейли был перенесён через советско-финскую границу на спине чекиста Тойво Вякя, изображавшего из себя члена МОЦР. Здесь к Рейли присоединился Якушев, и они вдвоём отправились в Ленинград, а затем в Москву. Сотрудники ОГПУ, убедительно изображавшие заговорщиков, жаловались Рейли на скромное финансирование МОЦР, не покрывающее потребности растущей организации. В подмосковной Малаховке на совещании «руководителей МОЦР» Рейли, наконец, раскрыл перед ними план финансирования, составленный им заранее. Было два канала, по которым МОЦР могла финансироваться при посредничестве мистера Рейли. Первый: регулярная поставка разведанных, в которых заинтересованы британские спецслужбы. Так как среди руководителей МОЦР было несколько высокопоставленных царских генералов, продолжавших занимать высокие посты в РККА, дело это для Рейли не представлялось сложным.

Второй вариант, предложенный Рейли, подразумевал изъятие из русских музеев шедевров искусства мирового значения, продажа их на Западе и получение за это огромных сумм. Естественно, Рейли при этом получает комиссионные, поскольку поиск покупателей целиком и полностью зависит от него. Становится очевидным, что сама по себе деятельность МОЦР его мало интересовала. Цинизм британского супершпиона, к этому времени уволенного со службы Его Величества, поразил даже руководителей ОГПУ, убедившихся, что Рейли работает только на самого себя, то есть на свой карман. Заманивая Рейли в СССР, ОГПУ предполагало через него выйти на сеть иностранных агентов, действующих на территории СССР, или внедрить в британскую разведку своего агента. Действительность разочаровала Дзержинского и Артузова, главного контрразведчика советских спецслужб. Рейли был арестован, а на границе, через которую он планировал вернуться в Европу, агенты ОГПУ устроили перестрелку, в результате чего контрабандисты, под видом которых Рейли и проводник якобы проходили через «окно», убиты. При этом Мария Захарченко, со стороны наблюдавшая за этой постановкой, убедила эмигрантские круги, что Рейли погиб в результате случайного недоразумения. Что и требовалось руководителям ОГПУ, чтобы не вызвать подозрений в ангажированности МОЦР советской контрразведкой.

А Рейли начали плотно «разрабатывать» Артузов и Стырнэ, главные контрразведчики ОГПУ, проводя допросы и психологически активно воздействуя на его сознание. Рейли, естественно, «колотся» сразу не стал, чтобы не вызвать подозрений. Но после имитации расстрела, принял «сливать» известную ему агентуру. Следует сказать, что содержание его в тюрьме было щадящим, похожим на то, которое было предоставлено Савинкову. Правда, он числился и назывался исключительно под номером и постоянно пребывал в форме ОГПУ без знаков различия. Нередко Рейли вывозили для прогулок на окраину Сокольнического парка в Богородское. Но 5 ноября 1925 года в том же Богородском, во время очередной прогулки Рейли застрелили сопровождавшие его сотрудники ОГПУ. Таким образом, был приведён в исполнение приговор 1918 года, не отменённый и висевший над супершпионом как дамоклов меч. После соответствующих действий в судмедлаборатории, когда смерть и личность Рейли были подтверждены, тело бывшего британского агента предали земле во внутреннем дворике тюрьмы на Лубянке. На месте захоронения Рейли в конце XX века было выстроено новое



административное здание КГБ-ФСБ. Информация о перезахоронении останков британского шпиона отсутствует.

Возникает вопрос: неужели руководители ОГПУ пожертвовали столь ценным и перспективным агентом, способным внедриться в любую разведсеть и поставлять интересующую руководство ОГПУ информацию, только ради соблюдения формальной законности? Ответов несколько. И все они противоречат друг другу. Например, Рейли делился со следователями «липой», а когда они это поняли, то ничего иного им не оставалось, как застрелить лживого и строптивого шпиона.

Версия вторая: Рейли, действительно, «гнал дезу», а когда понял, что прошло время, достаточное для её проверки сотрудниками ОГПУ, во время прогулки в Богородском попытался сбежать, чтобы не быть казнённым за столь наглый обман. Но пуля из нагана сопровождавшего Рейли сотрудника ОГПУ настигла шпиона, попав ему в затылок, после чего был произведён контрольный выстрел в сердце.

Версия третья: как только руководство ОГПУ (Дзержинский и Артузов) убедилось, что от Рейли никакой новой информации получить не удастся, а он к тому же давно не на службе в британской разведке, с ним, как с отработанным и неперспективным материалом, решено было больше не возиться. Приговор 1918 года был приведён в исполнение в 1925 году.

Так закончилась бурная, фантастическая жизнь британского супершпиона, в ранней молодости покинувшего Одессу в поисках птицы-счастья. Что в итоге он нашёл? Долгую, спокойную, обеспеченную старость? Почитание потомков? Загадки, не оставляющие в покое исследователей его жизни? Пулю в Богородском? Овод, граф Монте-Кристо, Джеймс Бонд – литературные образы, которых он напоминал? Смею заключить – ничего! Он не любил своей родины, Одессы, напоминавшей о неблагоустроенной и небогатой юности, не сделавшей его богатым и влиятельным в зрелые годы. Ко всему на свете Соломон Розенблюм относился потребительски, в том числе и к Одессе.

Он не любил людей, с которыми сводила его судьба и, не моргнув глазом, жертвовал ими ради собственных, большей частью корыстных, интересов. Рейли, до сих пор загадочный уроженец Одессы, обладал очень странной, инфернальной особенностью: огромное количество людей, с кем он контактировал, по той или иной причине закончили свои жизни в результате неестественных смертей. Он словно вакуум, абсолютная пустота, при каждом прикосновении к кому-нибудь вытягивал из них жизни, потому что, как известно, в вакууме жизни быть не может. Единственное, что следует признать – некоторые погибли уже после смерти самого Джорджа Сиднея Рейли или Соломона Марковича Розенблюма, как в Одессе его нарекли родители сразу после рождения.

Вот неполный список людей, прикоснувшихся к этому Вакууму:

Пастор Томас Рейли

Маргарет Рейли

Мацневич Лев Макарович 1877 – 1910 гг.

Уточкин Сергей Исаевич 1876 – 1916 гг.

Муравьёв Михаил Артёмевич 1880 – 1918 гг.

Мирбах Вильгельм граф 1871 – 1918 гг.

Кромби Френсис Ньютон Аллан 1882 – 1918 гг.

Ефимов Михаил Никифорович 1881 – 1919 гг. Один из первых российских дипломированных авиаторов. Расстрелян по приказу Орлова Владимира Григорьевича, главы белогвардейской контрразведки в Одессе, в районе Ближние мельницы.

Холодная Вера Васильевна 1893 – 1919 гг.

Лафар Георгий Георгиевич (Жорж де Лафар) 1894 – 1919 гг.

Винницкий Мойше-Яков Вольфович «Мишка Япончик» 1891 – 1919 гг.

Гришин-Алмазов Алексей Николаевич 1880 – 1919 гг. Пароход, на котором Гришин-Алмазов с семьёй пересекал Каспийское море, направляясь в ставку к Колчаку, был захвачен красноармейцами. Алексей Николаевич застрелился.

Савинков Борис Викторович 1879 – 1925 гг.

Котовский Григорий Иванович 1881 – 1925 гг.

Орлов Владимир Григорьевич 1882 – 1941 гг. Убит сотрудниками гестапо выстрелом в затылок. Ему принадлежат слова: «Пройдет много времени, прежде чем русский народ сможет искоренить бездушное и предательское жонглирование словами, которым занимаются беспринципные негодяи, стоящие у власти. Сознание народа пробуждается, необходимо покончить не только с ложью, но и с теми, кто ее распространяет. Если глубоко вникнуть в происходящее, можно впасть в отчаяние, поскольку в то время, когда одни совершают все эти чудовищные преступления против человечества и цивилизованного мира, другие безучастно остаются в стороне».

Захарченко Мария Владиславовна 1893 – 1927 гг. Убита во время перестрелки с сотрудниками ОГПУ.

Эльфенгрэн Юрьё (Георгий Евгеньевич) 1889 – 1927 гг. Расстрелян по постановлению ОГПУ во внутренней тюрьме.

Блюмкин Яков Григорьевич (Симха-Янкев Гершевич) 1898 – 1929 гг. Расстрелян во внутренней тюрьме на Лубянке за связи с Троцким.



Кутепов Александр Павлович 1882 – 1930 гт. Был выкраден на улице Парижа сотрудниками ОГПУ, дальнейшая судьба неизвестна.

Конради Морис Морисович 1896 – 1931 или 1944 гт. Служа в Африке во французском Иностранном легионе, был убит сослуживцами. По другой версии: участник французского Сопротивления, убит немецким патрулём при задержании.

Булак-Балахович Станислав Никодимович 1883 – 1940 гт. Убит в Варшаве немецким патрулём.

И, наконец, руководители и сотрудники советских спецслужб, занимавшиеся долгие годы делом британского разведчика Джорджа Сиднея Рейли.

Дзержинский Феликс Эдмундович 1877 – 1826 гт. 20 июля 1926 года после двухчасового доклада на пленуме ЦК, посвящённом состоянию экономики СССР, «железный Феликс» внезапно скончался от сердечного приступа.

Якушев Александр Александрович 1876 – 1931 или 1937 гт. За участие в контрреволюционной деятельности был репрессирован, отправлен в Соловецкий лагерь, где скончался от инфаркта миокарда.

Все остальные сотрудники ОГПУ, профессиональные чекисты, были уничтожены в ходе массовых репрессий конца 30-х годов XX века. Никто из них меньше двух ромбов в петлицах не носил.

Артузов Артур Христианович (Фраучи) 1891 – 1937 гт.

Стьрне Владимир Андреевич 1897 – 1937 гт.

Пузицкий Сергей Васильевич 1895 – 1937 гт.

Пилляр Роман Александрович 1894 – 1937 гт.

Сосновский Игнатий Игнатьевич 1897 1937 гт.

Берзин Эдуард Петрович 1893 – 1938 гт. С 1931 года – руководитель треста «Дальстрой». Был осуждён как руководитель «Колымской, антисоветской, шпионской, повстанческо-террористической, вредительской организации». Приговорён к высшей мере наказания и расстрелян.

Сыроежкин Григорий Сергеевич 1900 – 1939 гт.

Гендин Семён Григорьевич 1902 – 1939 гт.

Существует вероятность, что в Одессе может появиться памятник Сиднею Рейли. Идею его создания выдвинули писатели Юрий Овтин и Валерий Смирнов. Неизвестно, каким видится памятник инициаторам его создания, но пока его не существует, предлагаю таковым считать тот печальный мартиролог, что приведён мною чуть выше.

По странному стечению обстоятельств, на Александровском проспекте, рядом с домом, в котором прошли юные годы Соломона Розенблюма, воздвигнут памятник милиционерам, погибшим при исполнении служебного долга. Как и при жизни, они и после смерти оказались рядом...

Есть предание, исходящее от жителей Пироговской улицы в Одессе, соседей по дому писателя Катаева. Они утверждают, будто Валентин Петрович рассказывал о личных встречах с Сиднеем Рейли своему брату Евгению, и эти рассказы легли в основу создания им в соавторстве с Ильёй Ильфом образа Остапа Бендера, Великого Комбинатора, к тому же и Великого Имперсонатора. Кто теперь это проверит?

ВЕРОНИКА КОВАЛЬ

ШКАТУЛКА С СЕКРЕТОМ

рассказ

Нелли Георгиевна застыла возле прилавка. На миг показалось, что её оглушили, только в одном ухе противно зудел комар.

Сердце готово было выскочить из клетки рёбер.

Без сомнения, это – она. Малахит и серебряная скань. Рисунок на спиле камня уникальный – три кольца.

– Откуда у вас эта шкатулка? – волнуясь до спазм в горле, спросила Нелли Георгиевна торговку.

– А в чём дело? – хрипло выдавила та.

– Понимаете, это шкатулка моей мамы. Она её когда-то приобрела на аукционе. К ней в пару было круглое зеркальце в серебряной оправе.

– Эка невидаль! Таких безделушек осталось от бывших хоть пруд пруди.

– Да нет же! На внутренней стороне крышки должна сохраниться гравировка «Л.Ш.». Разрешите взглянуть?

Торговка не дала и сама не проверила. Но что-то с ней случилось – с этой нахохленной совой в очочках колесом. Её обрюзгшее лицо растеклось, как опара, в подобие улыбки. Она рассматривала покупательницу с непонятым жадным любопытством. Долго в упор разглядывала, так что Нелли Георгиевна засуетилась, отвела глаза.

– Интересуетесь или желаете приобрести?

– Ну, если не очень дорого, то в память о маме. . .

– А зеркальце? Оно тоже имеется. Интересуетесь? Только я его не захватила.

– Откуда всё-таки у вас эти вещицы?

– Небось, бог знает что подумали? Нет, дамочка, я не воровка. И краденое не скупаю. Знакомая уехала на ПМЖ в Америку. Мне для продажи оставила всякие цацки.

– Хотелось бы и зеркальце!

Торговка застыла. В зрачках её отражалась то ли отчаянная борьба намерений, то ли цифры мелькали, как на счётчике.

– Ладно! – перчаткой с обрезанными пальцами она вытерла нос. – Пошли, я неподалёку живу. У озера, в частном секторе. Да ты, видно, нездешняя, города не знаешь.

– Да, я приезжая. Но выросла здесь, на улице Смирнова.

Щёки торговки заколыхались, из улыбки прорвалось удовлетворённое кудахтанье. Она принялась бросать в клеёнчатые сумки мешанину старья: мотки шерсти, заляпанный воском подсвечник, куклу-голыща, ёлочные игрушки из ваты с блёстками, фаянсовые розетки, чугунную подкову, потрёпанный букварь. Вышла из-за прилавка. Нелли Георгиевна подивилась: на дворе май, а она в валенках с галошами, поясница обвязана рваным оренбургским платком. Вязаное пальто не сходило с на шарах грудей. «Да, колоритный типаж», – подумала Нелли.

На Потылихе, рынке подержанных вещей, колоритные типажы водились в изобилии. Здесь копошилась, гудела, колобродила, филярничала особая среда. Нелли Георгиевне она казалась сошедшей со странич Диккенса. Интеллигент в профессорской камиллавке продавал открытки с видами Парижа рядом с кикиморой в грязном тряпье; наглый отрок в краснозвёздной буденовке соседствовал с божьим одуванчиком; прожжённый, даже на вид, авантюрист – со смиренным старцем, разложившим иконки и кресты на обрывке бархата. Не отходя от рабочих мест, продавцы столовались, играли в шахматы и нарды, поминали усопших, отмечали бесконечные государственные праздники и дни рождения друг друга. Здесь кипели шекспировские страсти – до убийств и поджогов.

Интересны были и покупатели. Вдоль рядов антиквариата фланировали и вроде равнодушно приглядывались к нему коллекционеры бог знает чего – икон, воинских штандартов, химической посуды, советского фарфора, медных ковшей и братин, ключей, наконечников знамён. Вечно беременные круглоглазые матрёшки грудью наступали на обалдевших иностранцев. То, что проходило по военному ведомству, влекло суровых мужиков в камуфляже и зелёных юнцов.

Нелли Георгиевна, с тех пор как вернулась в родной город, частенько заглядывала на блошинный



рынок. Не с целью что-то купить, а будто в музей. Порой, разумеется, под сердцем ныло – так хотелось красивую вещицу. Однажды на Потылихе она присмотрела изящного ангела с лютой, но продавец отшил её: «Проходи, бабка! На твою пенсию и одно крыло не купить!». Вроде одета не хуже других, пальто с песном, кашемировый шарфик, сумочка из крокодила. Конечно, это остатки достатка, но как поймаешь? Нет же, барыги нюхом чуют некредитоспособность.

Пристрастие ко всему красивому перешло к ней по наследству. Добротный дом был уставлен старинной посудой, подсвечниками, вазочками. Их собирала бабушка, потом мать. Особую страсть они питали к статуэткам балерин. Детство Нелли прошло среди застывшего балета под неслышимую музыку.

Когда Нелли оканчивала музыкальную школу, умерла мать. После десятилетки девушка уехала в большой город, поступила в консерваторию. Отношения с отцом еле теплились. О его смерти Нелли известил телеграммой инкогнито, но она сама лежала в реанимации после инфаркта.

На старости лет Нелли Георгиевна вернулась в город детства. Сердце её предательски стучало, когда она подходила к родительскому очагу. Однако на месте деревянного дома в зарослях персидской сирени уродовала пейзаж облезлая пятиэтажка. Дом со всем содержимым исчез с лица земли, словно его и не бывало, не кипели здесь человеческие страсти. Нелли ощутила полное и безотрадное одиночество.

Нелли Георгиевну влекла на рынок не только тяга к красоте. Втайне она надеялась, что увидит на прилавке милые сердцу вещицы из детства, хотя умом понимала – едва ли что сохранилось. Сколько воды утекло! С другой стороны, даже самые хрупкие предметы могут жить куда дольше владельца, что, в общем, справедливо – так передаётся память. Вот увидела шкатулку, и такое в душе всколыхнулось!

Так думала Нелли Георгиевна, поспешая за торговкой. Та тяжело ступала, расталкивая людей. Вспугнула стайку размалёванных баб в цветастых сарафанах под фольклор, которые нестройно голосили:

*«Меня усатый капитан
в каюту пригласил,
налил шампанского вина
и выпить попросил».*

На выходе торговка что-то шепнула охраннику, кивком указав на попутчицу.

Дорога, по которой шли женщины, оказалась знакомой для Нелли. Улица изменилась, но странным образом. Одну сторону снесли и настроили хрущёвок, а частные дома на другой стороне почему-то не тронули. Состарившаяся бревенчатая школа, где училась Нелли в начальных классах, осела, насквозь пропылилась, но тоже устояла.

С каждым шагом сумки всё больше тянули торговку к земле.

– Может, я одну понесу, – робко попросила Нелли Георгиевна, с ужасом глядя на бесформенное клетчатое чудище.

– Ещё чего! Вы, мадамочки, хилые. Не то что я. Я в литейке двадцать лет оттарабанила!

Прямо напротив пятиэтажки поблескивал окнами крепкий, как боровик, дом. Но внутри он оказался сумрачным. Окно в кухне было завешено рваной простыней.

– Пришла, так проходи в залу, – бросила хозяйка, разматывая платок. – Погоди, я свет зажгу.

Сильная лампочка безжалостно обнажила кучи барахла на старинных креслах. Нелли Георгиевна отвела глаза – и вдруг будто ножом по сердцу! С полок на неё смотрели вещицы из родительского дома! Балерины застыли в тех же позах, тонко позванивало богемское стекло, фаянсовый пограничник Карацупа всё так же держал за поводок овчарку. Да, многое исчезло, но и осталось немало.

Ей стало дурно, она опустилась на диван. Хозяйка не помогла, уставилась с ухмылкой:

– Попалась, принцесса!

– Что? – вытолкнула из пересохшего рта гостя.

– Хорошую я тебе наживку бросила? Знала – клонешь. Сидориха нашептала, что ты вернулась. Долго я охотилась, но господь помог, он всё видит!

Она принялась рыться в ящике старинного секретера. Выбрасывала бумаги, квитанции, конверты. Наконец выгатила паспорт и сунула его под нос Нелли.

– Читай! Разговор будет.

Нелли Георгиевна с перепугу не стала искать в сумочке очки. Буквы в паспорте прыгали, расплывались. Но прочитать сумела:

– Куприда Тамара Георгиевна. – Не может быть! – вырвалось у неё.

– А как твоя девичья фамилия?

– Куприда.

– А звать Неля Георгиевна, так?

– Так. Выходит, вы...

– Вот и выходит – папаня у нас один. Только ты законная дочь, а я подзаборная, – с какой-то торжествующей злостью сказала Тамара.



– Сколько же вам лет?

– На восемь моложе тебя. Не гляди, что я такая. Это ты как сыр в масле каталась, а меня жисть хорошо потрепала.

Тамара уселась напротив Нелли. Их разделяла столешница и – пропасть.

– Знаешь, зачем я тебя ловила? Только один вопрос задать.

– Какой?

– Почему одним всё, а другим ничего?

– В смысле?

– Вот тебя растили, как принцессу, а я – безотцовщина, беспризорница. Росла, как трава. Мать уйдёт затемно и придёт затемно. Твоя-то не работала да ещё домработницу держала. В вашем доме была тишь да благодать. Только папаша-то ещё тот кобель был! Далеко не ходил, в доме напротив нашёл дуру.

В этот момент погас свет. Нелли ощутила себя, как в западне. Почему-то вспомнился громила-охранник с рынка. Она похолодела. Банда! Заманили! А может, она уже на том свете?

Нелли услышала, как Тамара матерится и чем-то шелестит. Через минуту в круге стола заплясало пламя витой свечи. По стенам запылали тени.

В замутнённом сознании Нелли что-то прояснилось. Опасности нет, точно. Потом она начала вдумываться в слова Тамары, которая растворилась в темноте. «Тишь да благодать!». Как бы не так! Ей всегда казалось, что между родителями какой-то нарыв назревал, а они его прятали под холодной вежливостью. Но Тамаре она не могла говорить правду, предать отца с матерью. Сейчас ей стало понятно: отцу чего-то не хватало в жене, и он нашёл это, наверное, у соседки. Нет, осуждать его она не вправе.

Вытянутая тень Тамары, переломленная углом комнаты, нависла над ней.

– Когда я в розум вошла, мне до страсти хотелось прижать тебя к стенке и сказать правду. Да мать пообещала уши оторвать, если я вякну, а у неё рука тяжёлая. Я только из калитки смотрела, как ты с твоей матерью, в креп-жоржет одетые, в «Волгу» садитесь, и папаня вас увозит в гости – к начальству, наверно. И ещё перед глазами стоит: ты в синем платье с кружевным воротником сбегаешь с крыльца и нотной папкой размахиваешь. А коса у тебя расплелась, кучерявится. Не то что мои лохмы, не расчесать. Ох, как я тебе завидовала! Аж хребет ломило. Ну почему тебе дали такое красивое имя, а мне Томка – их на нашей улице с десяток было. Я ненавидела твои белые чулки и туфельки лаковые – помнишь их? Так завидовала, что попросила купить мне такие же. Но на мою ногу в нашем магазине только из свиных чешуек были.

Тамара бросала слова, как раскалённые угли. Нелли сжалась от сознания своей вины. Они жили в достатке, потому что отец был начальником конторы «Облтопливо». И, наверно, чтобы сгладить семейные раздоры, родители баловали её. В детстве она была эгоистичной девчонкой, которая считала нормой исполнение любого своего желания!

Нелли всё больше проникалась сочувствием к... Ей трудно было назвать Тамару сестрой, но она пересилила себя. Бедный внебрачный ребёнок! Отец тоже хорош – прижил на стороне и бросил!

– А как вы... ты про отца узнала? – спросила она.

– Мать сказала. Он ведь к нам ходил. Не часто, но захаживал. Меня мать тогда гулять выпроваживала.

– Так он на тебя внимания не обращал?

– Почему? Обращал. Конфеты приносил. «Мишка на севере» и «Красная шапочка». По голове гладил.

– А денег вам давал?

– Наверно. Мы ели, что хотели. Но мать прятала деньги. Знаю, потому что после её смерти я сберкнижку нашла. Было на что похоронить, и мне осталось.

– Получается, ты могла в институт поступить?

– Почему нет? Могла. Да попался на пути стервец – уж таким орлом прикинулся! Закружил голову дурёхе, уехала я к ему в Ставрополь. Года три он меня мурьжил, а потом на Север слинял. Вернулась. Твоей и моей матери уже на свете не было, а папаня другую бабу нашёл. Деньги мне давать отказался, если я в институт поступать не буду, а работать пойду. А куда мне? Я и в школе не рвалась, так что позабыла всё. Пошла на шинный завод. Платили там хорошо и молоко бесплатно давали. Так и жила – грязный цех и дом, грязный цех и дом. Света белого не видела. Ни мужа, ни детей. Это ты на своих пианинах – белыми пальчиками! А мужа какого отхватила! Видала я свадебную фотку. Ребёночка, Сидориха говорила, завели?

– Завели, – ответила Нелли. – Подожди, не тараторь, дай в себя прийти.

Она отстегнула песочный воротник, сняла колючий шарф. В голову бросился тяжёлый жар.

Рассказать ли Тамаре, что счастья-то у неё было три годочка? Работала концертмейстером в филармонии большого города, иногда давала сольные концерты. Дмитрий играл на тромбоне в симфоническом оркестре. Жену на руках носил. Её считали перспективной, на республиканский фортепианный конкурс посылали. Она и сама чувствовала, что набирает силу как пианист.

Так было, пока не родился Юрочка. Как оказалось, безнадежный инвалид. Работу пришлось бросить. Муж держался долго, почти три года, но всё-таки ушёл к Неллиной подруге.

Для пианиста перерыв в занятиях означает дисквалификацию. Когда ушёл Дмитрий, пришлось



нанимать женщину смотреть Юрочку, а работать аккомпаниатором команды гимнасток. Только когда они все уходили из зала, ей разрешали поиграть для души. Это было блаженство. Нелли сливалась с музыкой и опять становилась счастливой. На несколько минут.

Сыну исполнилось девять, когда к соседям приехали родственники из Австралии, чтобы здесь усыновить ребёнка. Пришли к Нелли, увидели Юрочку, воспылали сочувствием и любовью. Предложили забрать его.

Нелли терзалась, но понимала, что там будет возможность поставить сына на ноги. И согласилась. Провернуть это дело приедем было трудно, но немислимая по нашим масштабам взятка решила всё.

Несколько недель прошли в беспамятстве.

Когда Нелли кое-как собралась с силами и принялась наводить порядок, под клеёнкой на кухонном столе она нашла пачку долларов. В те времена их и иметь-то было опасно. Только спустя годы она сумела на них приодеться, сделать ремонт. А сын действительно усилиями австралийских врачей стал почти полноценным человеком. Он даже изредка писал матери.

Дмитрий было вернулся, но вместо прежней тонко чувствующей жены обнаружил чужую замкнутую женщину. И ушёл опять.

А Нелли поняла, что ей предопределено вернуться на родину.

Рассказать ли об этом сестре? Нет, не стоит.

– Тамара, у каждого своя судьба. Я вот в бога не верю, а у тебя, смотрю, лампада перед иконой горит. Это ж христова заповедь – не завидовать.

– Может, мне эта зависть нужна была? Силу давала. Ох, как хотелось мне тебя ущучить! И ущучила. Знаешь, сколько у меня денег? За ваши цапки теперь дорого дают. Небось, теперь ты мне завидуешь? Уж как вы над ними тряслись, а я к рукам прибрала. Когда папаня богу душу отдал, я их у евоной бабы из горла выгатила. А ты не приехала, слава богу. Я знала: наступит час, ты придёшь и будешь выпрашивать. Так вот – шиш тебе. Шиш с маком! Хошь в суд подавай. А подашь – охранника видела на Потылихе?

Пламя свечи колыхалось, и на Нелли нахлынуло ощущение нереальности происходящего. Она вглядывалась в жёсткое лицо сестры, выхваченное светом из мрака, и наконец поняла, на кого та показала ей похожей при первом взгляде. Да на неё саму! А обе они – на отца. Тот же нос с крутым вырезом ноздрей, разрез глаз под густыми бровями.

– Получила – и владей. Не пойду я в суд, успокойся.

Тамара растерялась. Плдохнулась в кресло, прямо на шмотки, будто ноги подкосились. Тень её съёжилась.

– Как? Я бы на твоём месте...

– А ты не на моём. Мне уже пора раздавать, а не брать.

Тамара долго и мучительно осмысливала ситуацию.

– Ну ладно, – наконец подытожила она. – Вот, держи, шкатулка и зеркальце.

– Спасибо. Ты бы меня ещё чайком попоила.

С натужным хрипом Тамара поднялась. Её тень распласталась по потолку чёрной птицей.

Было слышно, как она на кухне загремела в темноте посудой.

В это мгновение вспыхнул свет. Нелли снова обвела взглядом балерин, погладила овчарку Карацупы. На стене увидела лицо отца.

– Папа, – прошептала он и погладила запылённую фотографию. – Спасибо за сестру. Теперь я не одна. Какая радость!

СЕРГЕЙ ИЛЬНИЦКИЙ

РЕИНКАРНАЦИЯ ПРИГОВА

РЕИНКАРНАЦИЯ ПРИГОВА

рассказ

Давным-давно жил на белом свете известнейший писатель Дмитрий Пригов. Он писал, его издавали, он получал за это деньги, покупал бумагу, чернила и снова писал. Больше ни на что денег не тратил, только на бумагу. Ну, жил, жил и умер. От старости. И вот утром проснулся уже мёртвым, сидя на стуле в каком-то коридоре, по которому в обе стороны спешили люди с очень занятым видом. Ещё несколько человек с видом глупым сидели на стульях вдоль стены коридора, как и Дима. Тут из громкоговорителя на стене властный голос говорит:

– Дмитрий Пригов, писатель, кабинет № 8, по коридору направо.

Дима направился в кабинет № 8. Постучал, входит.

– Дмитрий Пригов, известный писатель?

– Да.

– Назовите число от 0 до 9.

– Два.

– Хорошо. Подойдите к столу и найдите карточку с номером 2.

Дима пошарил в бумагах, лежащих на столе, покрытом липкими кругами от стаканов с лимонадом. Вытащил карточку с номером 2.

– Прочитайте, что там написано.

– Карточка номер два...

– Дальше, дальше, – нетерпеливо произнес краснолицый человек в нарукавниках.

– Реинкарнация, код 3, 14159265.

– Вам 3-й этаж, 14-я комната. Карточку возьмите с собой.

– И что?

– Вам скажут, не задерживайте меня, я очень занят.

И человек в нарукавниках склонился над толстой учётной книгой, потеряв к Диме всякий интерес. Диме ничего не оставалось, как отправиться на 3-й этаж, в комнату 14. Там его уже ждали. Симпатичный молодой человек в дорогом костюме протянул руку для приветствия:

– А, Дмитрий Пригов, известный писатель!

Диме нечего было ответить молодому человеку. Он всё ещё не понимал, что происходит.

– Добро пожаловать!

– Добро пожаловать... куда?

– Как куда? Вы... Ах, да, всё время забываю. Вам, наверно, всё кажется очень странным?

– Ну, вообще-то да, я...

– ...Вы проснулись в коридоре на стуле, затем вас вызвали в кабинет № 8, потом карточка... Добро пожаловать... как бы лучше выразиться... ну, на небеса, скажем. Вы умерли, мой дорогой, а в данный момент решается вопрос вашей реинкарнации.

– Я... Моей... чего?

Дима выпучил глаза на молодого человека, как будто тот вдруг превратился в варёного кальмара. Но человек придал своему лицу сочувственное выражение и утешительным тоном произнес:

– Да, да, все вы смертны и в этом нет ничего ужасного. Умирая, все попадают к нам. Здесь определяют количество предыдущих реинкарнаций и, если оно меньше девяти, случайным образом выбирается объект вашего воплощения в следующей жизни. Это, кстати, вы уже сделали. Назвав число от 0 до 9, вы определили свою судьбу на целую жизнь вперёд. Садитесь, сейчас мы узнаем, который раз вы живете. Точнее, жили.

На ватных ногах Дима подошёл к роскошному кожаному креслу и плюхнулся в него, едва дыша. Не хотелось верить, что всё это с ним происходит, но он верил. И от этого было только хуже. Умер! Всё. Больше никаких прогулок перед сном и все переиздания «Двадцати рассказов о Троцком» пройдут мимо него, как и гонорары. Гонорары?



Деньги! Деньги в подушке усопшей бабушки! Всё, всё, что нажито...

Это был самый тяжёлый удар. Мысль о деньгах послала Диму в кокаут.

– Дмитрий Алексеевич! Дмитрий...

Слова доносились издалека. Кто-то звал Диму, возвращая его в неправдоподобную, но от этого не менее омерзительную реальность. Как хотелось умереть! Умереть по настоящему, насовсем и никогда больше не увидеть этого до отвращения симпатичного молодого человека. Надо же! Все вы смертны! А этот? Неужели он бессмертен? Какой ужас! Реинкарнация. И во что же его воплотят эти..? И который раз он живёт? Вернее, жил? Что, если в девятый? Что делают с теми, кто прожил девять жизней? Они умирают насовсем и больше не воплощаются? Их ждёт что-то настолько ужасное, что об этом не говорят вслух? Или наоборот, их ждёт вечное блаженство, настолько блаженное, что никогда не надоест? На этот раз мысль придала Диме сил и он смог открыть глаза. Над ним нависла озабоченная физиономия симпатичного молодого человека.

– Дмитрий Алексеевич, с вами всё в порядке? Как вы себя чувствуете?

– Что теперь со мной будет? – еле слышным шёпотом спросил Дима, в тайне гордясь тем, что к нему обращаются по имени-отчеству. Он ненавидел, когда его упоминали как Дмитрия Пригова, даже если к этому добавляли «известный писатель». Это было как-то по школьному, не солидно. А вот фраза «Дмитрий Алексеевич», даже без «известного писателя», заставляла Диму чувствовать себя на голову выше своего отражения в зеркале.

– Ну, не стоит так волноваться.

В руке молодого человека появился стакан с водой.

– Выпейте.

Дима выпил воду, после чего смог взглянуть на ситуацию более трезвым взглядом.

– И что со мной будет? – уже ровным голосом повторил Дима.

– Сейчас узнаем, для этого мы и встретились! – молодой человек заметно повеселел. Похоже, ему не очень нравилось, когда при нём падали в обморок и теперь он радовался тому, что инцидент был исчерпан. В комнате работал кондиционер, омывая тело Димы приятными волнами прохладного воздуха, что позволило ему окончательно расслабиться. У него даже мелькнула шальная мысль положить ноги на стол, но симпатичный молодой человек мог не оценить шутку и обидеться. Тем более, вместо стильных ковбойских сапог с серебряными шпорами, которыми Дима хвастал при каждом удобном случае, на ногах у него были драные домашние тапки. Тем временем молодой человек уселся за стол, порывшись в брючном кармане и извлёк оттуда две истёртые игральные кости.

– Ну-с, начнём. Правила просты, как любая мудрость. Сколько раз вы были за границей, Дмитрий Алексеевич?

– А при чём здесь это?

– При том, что это необходимо для точного определения количества ваших воплощений и, соответственно, смертей.

– Пять раз. А страны СНГ считаются?

– Нет. Дальше – в каком возрасте вы женились первый раз?

– Я убеждённый холостяк.

– Хорошо, – молодой человек небрежно вёл какие-то подсчёты на листе гербовой бумаги. – С какой цифры начинается номер вашего телефона?

– Домашний?

– Рабочий.

– С тройки.

– Так, очень хорошо. Теперь минуту подождите.

Молодой человек несколько раз бросил кости, производя вычисления в уме. Дима, затаив дыхание, следил за этими манипуляциями.

– Ну, теперь всё ясно. Вы, Дмитрий Алексеевич, умерли всего в третий раз. Вам ещё жить и жить.

– А в кого меня воплотят?

– Этого я не знаю. Никто из известных мне людей тоже не знает. На вашей карточке объект воплощения закодирован, начиная с четвёртой цифры. Вам нужно спуститься на лифте в подвальное помещение. Там находится машина, распознающая код. Она и перенесёт вашу душу из этого тела в другое. Быстро и безболезненно. О предыдущей жизни вы не будете помнить.

– Понятно. Но что случается с теми, кто прожил девять жизней?

– Это строго секретная информация. Проблемой девяти жизней занимается особый отдел на последнем этаже этого здания. Сами узнаете. Через шесть жизней. Да, хочу предупредить, хотя это не будет иметь для вас никакого значения: ваша душа может проснуться как в теле человека, который ещё не родился, так и в теле того, кто давным-давно забыт историей. Думаю, это всё. Остается лишь пожелать вам удачи в будущей жизни. Всего доброго.

Иосиф Виссарионович шумно вздохнул, отложил ручку, прикрыл чернильницу и потянулся за трубкой. Затем из ящика письменного стола достал пачку «Герцеговины Флор» и размял одну папиросу, выпрямив табак в трубку. Он не признавал других сортов и всегда держал запас этих папирос в своём столе.



Сталин закурил. Перебирая исписанные грубым, уверенным почерком листы бумаги, он скользил по тексту ленивым взглядом из-под полуприкрытых век. Возможно, приятный весенний день, впервые по настоящему тёплый после долгой московской зимы, был причиной сентиментально-ностальгического настроения диктатора. Ему было хорошо. Даже немного весело, что случалось в последнее время крайне редко. «Двадцать рассказов о Троцком» были написаны им всего за несколько часов послеобеденного отдыха.

Иосиф Виссарионович усмехнулся в усы: «Жаль, Лёвы больше нет с нами. Он бы оценил. Что ни говори, но чувством юмора природа его не обделила». Он вспомнил, как дико хохотал Троцкий, узнав от информатора о своей скорой смерти от руки убийцы. «Не дождутся!», – кричал он и снова хохотал.

Сталин усмехнулся ещё раз. Он верил своим информаторам.

За окнами куранты пробили шесть часов. Вождь снова взглянул на своё творение и надолго задумался. «Да, Лёве бы понравилось. Но ведь его больше нет», – с этой мыслью Иосиф Виссарионович скомкал исписанные фиолетовыми чернилами листы и бросил их в корзину под столом.

На улице стоял 53 год, во всём окружающем чувствовалось приближение новой эпохи. Даже мавзолей выглядел как-то моложе, дерзко отсвечивая на солнце пятью золотёными буквами.

Сталин ещё раз шумно вздохнул, выбил трубку в пепельницу и удалился, рассекая клубы табачного дыма грузным телом. Запах «Герцеговины Флор» никогда не выветривался из этого кабинета.

КАК Я СТАЛ ЗНАМЕНИТЫМ ПИСАТЕЛЕМ

рассказ

С детства Дима любил деньги. Не просто любил – обожал!

Болез, когда денег не было. А так как частенько их не бывало, рос Дима мальчиком болезненным. Однажды шёл Дима по улице, видит – книжный лоток.

Спрашивает:

– А чего это у вас тут?

– Это книги.

– А зачем?

– Их читают.

– А вы их продаёте?

– Продаём.

– И деньги за них получаете?

– Получаем.

– А кому деньги отдаёте?

– Тем, кто книги пишет.

Дима поблагодарил продавца, так как был воспитанным мальчиком, отошёл в сторону и стал считать, сколько книг продадут за день. А продавали в этот день знаменитейший бестселлер В. Доценко «Свадьба Бешеного» и продали без малого 1000 штук.

В эту ночь Дима не спал. Перед глазами потоки книг с надписью «Дима Пригов» в ярких сочных обложках уносились вдаль по правой полосе дороги, а по левой к нему, Диме, нескончаемой рекой текли купюры разного достоинства.

Утром Дима в школу не пошёл. Раскрыл тетрадь по математике, вырвал все листы с записью карточных долгов своих одноклассников, спрятал их под подушку давно усопшей бабушки и начал творить. К вечеру того же дня родились «Двадцать рассказов о Троцком».

И, хотя впервые опубликовали их лишь много лет спустя, начало было положено. К тому времени, как Дима постарел и умер, в подушке его давно усопшей бабушки скопилась огромная сумма – миллион долларов в средних купюрах, вырученная от многочисленных переизданий «Двадцати рассказов о Троцком».

После смерти Димы на это деньги был организован фонд поддержки молодых авторов, который существует и поныне.

Все персонажи и события, описанные здесь, являются вымышленными и любое сходство с реальными людьми и событиями в их жизни может быть только случайным.

«ДРУЖБА ЖУРНАЛОВ»

В СЛУЖЕНИИ РУССКОМУ СЛОВУ

о литературно-художественном журнале «Новая Немига Литературная»

Кажется, это было вчера. Презентация первого номера нового журнала в конференц-зале республиканского Дома прессы, ликование русскоязычных литераторов республики по поводу обретения, наконец, собственного издания, злой шепоток недругов, упорно продолжавших считать, что в русскоязычной и русскодумавшей Беларуси литература должна создаваться исключительно на белорусском языке... Так или иначе, новый республиканский литературно-художественный журнал «Немига Литературная» с 1999 года начал своё шествие по городам и весям. Кстати, само название журнала тоже было выбрано не случайно. Как известно, некогда легендарная, упоминавшаяся ещё в «Слове о полку Игоревом», река Немига уже много десятилетий течёт под землёй, упрятанная в железобетонные трубы. Так и русская литература в республике долгие годы считалась как бы не существующей, а её представители являли собой своего рода «людей из коллектора», творчество которых не замечалось десятилетиями... Был период, когда после распада СССР книги русскоязычных авторов Беларуси вообще не включались в издательские планы, и даже Пушкин издавался, как... иностранный автор.

Впрочем, время брало своё. Взвешенная политика Президента нашей страны Александра Лукашенко, не раз заявлявшего, что русский язык тоже является языком белорусского народа, не могла не дать своих плодов. Постепенно книги русских писателей Беларуси вновь стали выходить в государственных издательствах, а лучшие из них – даже включаться в школьную программу.

И тут нельзя не отметить, что значительная часть лучших произведений русских писателей Беларуси прошла свою апробацию на страницах «Немиги Литературной». С первых дней своего существования журнал взял курс на поиск новых дарований, особенно из глубинки, которым до этого попросту нигде было публиковаться. Очень быстро вокруг издания сложился тесный круг авторов, искренно преданных русскому слову и традициям русской литературы, но при этом не забывающих, что их Родина – Беларусь.

Интересом к большой русской Литературе и стремлением максимально широко познакомить читателя с её лучшими образцами объясняется и появление на страницах журнала имён российских авторов и их коллег из дальнего зарубежья. Скажем, немало лет прожившие в Минске известные российские прозаики Иван Сабито и Николай Коняев активно включились в работу редколлегии журнала, удачно поддержали и поддерживают своими произведениями его художественный уровень. Позднее в редколлегию были включены и активно в ней заработали ещё несколько россиян – нижегородский прозаик Валерий Сдобняков, москвич Глан Онанян, а со второго полугодия 2013 года к ним присоединится и известный ростовский поэт Виктор Петров.

На страницах журнала можно прочесть произведения В. Шемшученко, Л. Котюкова, Н. Рачкова, И. Голубничего, В. Ефимовской, Е. Полянской, Е. Юшина, В. Хатюшина, А. Романова, В. Батшева, Б. Кенжеева, С. Левицкого, М. Калашниковой и многих других известных писателей из большого Русского мира. За почти пятнадцать лет журналом открыты сотни новых имён, немало авторов стали членами Союза писателей Беларуси и российских творческих Союзов.

И всё же было несколько публикаций, которые можно назвать знаковыми в творческой истории издания. В 2000 году именно «Немига Литературная» опубликовала документально-художественную повесть Владимира Якутова «Александр Лукашенко» – первое в истории нашей страны правдивое биографическое повествование о главе нашего государства. В номере первом за 2003 год журнал поместил повесть Александра Чекменева «Волки», до того целых четыре десятилетия пролежавшую в столе у автора. Не так давно с большим успехом прошла премьера фильма, снятого на киностудии «Беларусьфильм» по этому произведению. Уже в «Новую Немигу...» передал для публикации свою киноповесть «Болгарией спасённые» Чрезвычайный и Полномочный Посол этой страны господин Петко Ганчев. Произведение публиковалось с продолжением в четырёх номерах. Журналом был опубликован и новый перевод гениального памятника отечественной литературы – «Слова о полку Игоревом», выполненный замечательным московским поэтом, секретарём Союза писателей России Николаем Переясловым.

Сегодня коллектив авторов, сплотившихся вокруг журнала, являет собой сплав опыта и молодого задора. Давно окрепли и набрали силы голоса Валентины Поликаниной, Светланы Евсеевой, Юрия



Фатнева, Михаила Шелехова, Натальи Татур, Сергея Трахимёнка, Анатолия Андреева, Александра Соколова, Аллы Чёрной, Татьяны Лейко, Елены Крикливец, Владимира Василенко – сложившихся мастеров слова. И почти в каждом номере журнала можно встретить имя нового одарённого автора. Например, девятнадцатилетней гомельчанки Маши Малиновской, уже успевшей стать победительницей нескольких серьёзных поэтических конкурсов, или двадцатилетней выпускницы факультета международных отношений БГУ Дианы Гришукевич, умеющей удивительно по-взрослому всматриваться в мир... Совсем недавно принесли в редакцию свои яркие, запоминающиеся стихи молодые поэты Андрей Фомицкий, Михаил Пегасин, Ольга Маркитантова, интересной прозой вот-вот дебютирует в журнале двадцатичетырёхлетняя Виктория Синюк. Немало среди дебютантов и способной молодёжи из дальнего зарубежья – в редакционном портфеле есть даже произведения авторов из далекой Австралии...

Впрочем, не все так гладко. Журнал из-за финансовых трудностей трижды приостанавливал свой выпуск, вынужденно менял учредителей. И тут нелишне вспомнить с благодарностью имена тех, кто первыми пришёл на помощь новому изданию – ректора Института современных знаний, члена-корреспондента Национальной Академии наук профессора Александра Михайловича Широкова и директора издательства «Технопринт» Антона Петровича Аношко. Тем более, что этих людей уже нет с нами... При смене одного из учредителей изданию пришлось даже частично изменить имя, сейчас он называется «Новая Немига литературная». Впрочем, разве на подобные неурядицы обращаешь внимание, когда знаешь, что читатель с нетерпением ждёт очередного номера, а в редакционном портфеле – десятки произведений самобытных авторов?

Анатолий Аврутин,
*главный редактор журнала,
член-корреспондент Российской Академии поэзии
и Петровской Академии Наук и искусств*

НАТАЛЬЯ КРОФТС

Херсон – Сидней

НА РАЗВАЛИНАХ ТРОИ**ВТОРОЙ КОВЧЕГ**

По паре – каждой твари. А мою,
 мою-то пару – да к другому Ною
 погнали на ковчег. И я здесь ною,
 визжу, да вою, да крылами бью...
 Ведь как же так?! Смотрите – всех по паре,
 милуются вокруг другие твари,
 а я гляжу – нелепо, как в кошмаре –
 на пристани, у пирса, на краю
 стоит она. Одна. И пароход
 штурмует разномастнейший народ –
 вокруг толпятся звери, птицы, люди.
 ...Мы верили, что выживем, что будем
 бродить в лугах, не знающих косы,
 гулять у моря, что родится сын...
 Но вот, меня – сюда, её – туда.
 Потоп. Спасайтесь, звери, – кто как может.
 Вода. Кругом вода. И сушу гложет
 с ума сошедший ливень. Мы – орда,
 бегущая, дрожащая и злая.
 Я ничего не слышу из-за лая,
 мычанья, рёва, ора, стопа, воя...
 Я вижу обезумевшего Ноя –
 он рвёт швартовы: прочь, скорее прочь!
 Второй ковчег заглывает ночь,
 и выживем ли, встретимся когда-то?
 Я ей кричу – но жуткие раскаты
 чудовищного грома глушат звук.
 Она не слышит. Я её зову –
 не слышит. Я зову – она не слышит!
 А воды поднимаются всё выше...
 Надежды голос тонок. Слишком тонок.
 И волны почерневшие со стоном
 накрыли и Олимп, и Геликон...

На палубе, свернувшись, как котёнок,
 дрожит дракон. Потерянный дракон.

ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ МИРОВ

...А между тем всюду ревел прибой
 И выносил песчинку за песчинкой
 На побережье. Воздух был с горчинкой
 От соли океанской – и от той,
 Что выступала на горячей коже
 Там, в комнате, в пылу, у нас с тобой...

А между тем сверху, на потолке,
 Два существа сплелись в кровавой драме:
 Металась муха в крохотном силке;
 Нетерпеливо поводя ногами,
 Паук ждал снеди в тёмном уголке
 И к жирной мухе подходил кругами...



А между тем в романах, на столе,
Кого-то резво догонял Фандорин,
С соседом вновь Иван Иваныч вздорил,
И рдел, как кровь, гранатовый браслет. . .

А между тем извечная река
Текла сквозь наши сомкнутые руки,
Через любовь и смерть, погони, муки,
Сквозь океан, шумевший здесь века, —
И паутинки блеск у потолка.
А между тем. . .

МОЯ ОДИССЕЯ

Рассеян по миру, по морю рассеян
мой путанный призрачный след.
И длится, и длится моя Одиссея
уж многое множество лет.

Ну что, Одиссей, поплывём на Итаку —
на север, на запад, на юг?
Мой друг, нам с тобою не в новость — не так ли? —
за кругом наматывать круг

и загодя знать, что по волнам рассеян
наш жизненный путанный путь. . .
Слукавил поэт — и домой Одиссея
уже никогда не вернуть.

Непонимаемой быть встречным. . .

М. Цветаева

В любой из масок — или кож —
ты неизменно безупречна:
спектакль хорош!
Но вдруг замрёшь,
нежданно понятая встречным,
как беспристрастным понятым —
до глубины, без слов и фальши
дрожащих губ, до немоты. . .
Скорей к нему? Но немо ты
шагнёшь назад — как можно дальше
от беззащитной наготы,
когда — во всём, конечно, прав —
твой гость, не вытирая ноги,
придёт, чтоб разбирать твой нрав,
твои пороки и пороги.
Как театральный критик — строг,
внимателен и беспощаден
он составляет каталог
в тебе живущих ведьм и гадин.
Он справедлив. Отточен слог.
Ему неведомы пристрастие
и со-страдательный залог —
залог любви и сопричастия.
И ты закроешь двери, чтоб
свой собственный спектакль — без судей,
без соглядатаев, без толп
смотреть:
как голову на блюде

несут и, бешено кружа,
в слезах танцует Саломея,
как капли падают с ножа,
как Ева искушает Змея,
как Брут хрипит от боли в такт
ударам, завернувшись в тогу...

А критик видел первый акт.
Не более. И слава Богу.

*На развалинах Трои лежу, недвижим,
в ожиданье последней ахейской атаки...
Ю. Левитанский*

На развалинах Трои лежу в ожиданье последней атаки.
Закурю папироску. Опять за душой ни гроша.
Боже правый, как тихо. И только завывли собаки
да газетный листок на просохшем ветру прошуршал.
Может – «Таймс», может – «Правда». Уже разобрать неохота.
На развалинах Трои лежу. Ожиданье. Пехота.
Где-то там Пенелопа. А может, Кассандра... А может...
Может, кто-нибудь мудрый однажды за нас подытожит,
всё запишет, поймёт – и потреплет меня по плечу.
А пока я плачу. За себя. За атаку на Троию.
За потомков моих – тех, что Троию когда-то отстроят,
и за тех, что опять её с грязью смешают, и тех,
что возьмут на себя этот страшный, чудовищный грех –
и пошлют умирать – нас. И вас... Как курёнка – на вертел.

А пока я лежу... Только воют собаки и ветер.
И молюсь – я не знаю кому – о конце этих бредней.
Чтоб атака однажды, действительно, стала последней.

ЛЮДМИЛА КЛОЧКО

г. Борисов, Беларусь

МЕЖДУ ЛИВНЯМИ...

Две женщины живут во мне.
Страдают – обе.
Я из-за них горю в огне
И бьюсь в ознобе.
Одна чиста, и райский сад –
Её награда.
Другую не пугает ад:
Сама из ада.
Ведь каждая из них другой –
И зверь, и клетка.
Друг друга тянут за собой
И держат крепко.



Кто в небеса, а кто ко дну –
Любая губит.
И каждая – её одну! –
Другую – любит.

Если смотришь – смотри в корень.
Если лечишь – лечи душу.
Что не гнётся – быстрее сломишь.
Корабли влюблены в сушу.

Птицы вольные вьют гнёзда.
Не умеешь летать – падай!
Только ночью видны звёзды.
Если любишь – всегда радуй.

Цель виднее одним глазом.
Шёпот льётся во все уши.
Нет ума – сохраняй разум.
Если хочешь сказать – слушай.

Быть последним – не знать славы.
Быть вторым – хуже нет доли.
Падай словно в снега – в травы.
Не свободы проси – воли!

Для меня не найдется места:
Осуждённая – без ареста.
Я брожу, незаметней тени,
Как Владычица без Владений.

Я теряю свои надежды.
Словно на людях – без одежды.
Может это мне только снится?
Без Короны – Императрица.

Я тяжёлым безумным взглядом
Дико гляну на всё, что рядом.
Под забором разбитым место
Королеве без Королевства!

Спасибо, мой ангел, за то, что такой беспринципный...
За то, что меня не жалел и себя не жалел,
Во всём меня мерил – без меры, без грани, без цифры...
За то, что раздел моё тело и душу раздел –

И выставил из-под крыла. И сомнений не слушал...
За то, что смеялся не раз надо мной, и за то, что рыдал,
За то, что был бережен, но не берёт окрылённую душу!
Спасибо за всё, что мне дал, и за всё, что не дал...

Спасибо, что мне не позволил ни разу – в полсилы...
Спасибо за то, что меня продолжаешь учить.
Ты так терпелив и жесток, ангел мой! И за это – спасибо...
Иначе бы мне – не прожить. И тебе – не прожить...

Любовь не марают
 Названием – «дружба»...
 Любовь убивают
 Притворством ненужным...
 И душатся – взглядом,
 И давятся – словом,
 И травятся – ядом
 Смертельным, любовным...
 Любовью не лечат –
 Любовью дурманят...
 Бездарные речи –
 Безудержно манят...
 Любовь не порочат
 Попыткой сдержаться...
 Пусть тянутся ночью –
 Впечататься, вжаться!
 Клеймом выжигают:
 Целуют и млеют...
 Любовь не прощают...
 Любовь не жалеют...

ОЛЬГА МАРКИТАНОВА

г. Минск

СЛЮДА В ПЕЩЕРЕ

Я – землёю осеннюю
 перед тобой,

Хоть душа моя вспахана
 сильной рукой,

И гудит ещё лето
 в остатках стерни.

Пробежишь ты босым
 осенним дымком
 и почувствуешь вдруг,
 затаясь в борозде:

Я – землёю осеннюю перед тобой.

Я стану песком,
 Морским песком вечным,

Буду влажным, сырым
 В маленьких ладонях ребёнка.

Мои он бока
 Зелёной прихлопнет лопаткой,

Накроет меня
 Ближайшей белобровой волной.



Слюда в пещере,
Паутина в темноте –
Это я.
Камни в поле
Накануне собора,
Папоротник во мраке –
Это он.
И наши инициалы.

ГЛУХОНЕМЫЕ

*А евших было около пяти тысяч человек,
кроме женщин и детей...
Матф. 14:21*

Христовы сестры,
Христовы рыбины на песке

Зевают только,
Не в силах выплюнуть камни.

Не слышат,
Но понимают Тебя,

Как те, свободные,
Возлегли на траве.

ХУДОЖНИКУ

Познай жизнь –
полежи спокойно под её жерновами.

Познай себя –
загляни в собственную ушную раковину.

Скажи спасибо
бессоннице – на горбатой спине топчана.

Не смей спать,
помоги мятушемуся Ван Гогю.

АЛЕКСАНДР МЕЛЬНИК

г. Брюссель

СВЕТЛЫЙ ИСТОЧНИК ЛЮБВИ

МЕТАМОРФОЗА

Снег оживил природу за полчаса,
вызвав у губернатора нервный кризис,
у стариков – надежды на чудеса,
а у детей – безудержные капризы.

Бельгия, брат, не Лазарь, она – мертвей,
если считать по душам, а не по лицам.
Здесь обыватель в большем живёт родстве
со стариком Морфеем, чем с Синей птицей.

Это тебе не шумный степной улус,
где что ни день – хурал или потасовка.
Царство теней... Но с облака, как Иисус,
тихо спустился снег и в мгновенье ока

морфий утратил силу, а скука – власть.
Город воспрял от быстрой метаморфозы,
словно в густую кровь, что едва текла,
кто-то вкатил смертельную overdose.

От сонаты вмиг перейти к сонету,
невзначай сорваться с высоких круч.
Повстречав Харона у сонной Леты,
обнажить перо и скрипичный ключ.

По второму кругу летать и падать,
разбиваться насмерть и оживать.
Губы смерти – в чёрной губной помаде,
а глаза – андова тишь и гладь.

Пусть по-детски Муза сопит в кровати –
чтобы Парка прясть не устала нить,
от сонета вновь перейти к сонате,
умереть от счастья и снова жить...

ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ

Соседний парк опять постригся наголо,
как призывник в поволжском городке,
где жизнь одной рукой ласкает ангела,
другой – чертёнка треплет по щеке,
где полуправдой мягкой всё укутано,
а глас народа – робкое нытьё,
и всё вокруг настолько перепутано,
что лучше впасть с природой в забытьё.

Исчезли птичий гомон и жужжание
неугомонных пчёл. В моём окне
дожди с картины смыли содержание,
лишь парк остался в мутной желтизне.
Опять октябрь – привычная история...
Ритмичный дождь навевал полусон,
полудремоту – женщину, в которую
я с неких пор отчаянно влюблён.

Рано утром разбудит не кочет,
не извозчик подъедет, как встарь.
Заскрежещет вокруг, загрохочет,
в нос ударит машинная гарь.



По ушам пробегут децибелы,
лишь с опаской шагнёшь за порог.
Белый свет – лишь в преданиях белый,
потому что над городом – смог.

Взятый в круг уравнений и функций,
прежний мир усложнился в разы.
...Усмехается грустно Конфуций.
Подавляет зевок Лао-цзы.

В синеве идеального купола
над покрывшимся ряской прудом –
там, где облачко брови насупило
перед тем, как пролиться дождём,

в плотной массе дымящего воздуха –
там, где правит природой весна,
где пернатые братья без отдыха
голосят над землёй дотемна,

в глубине бесконечного космоса,
где-то там, где живёт херувим –
будто кролик в классическом фокусе,
спрятан светлый источник любви.

МАРИЯ МАЛИНОВСКАЯ

г. Гомель

MEMORIA

1

Над рухнувшей скалой
кто-то прицепил занавески.
Мы их снимем,
и ты подвяжешь мне волосы.
Я буду собирать рыбок,
пленённых в камнях,
и ступать по одной линии,
разведя руки в стороны.

Но если, спускаясь с каждой горы,
оставлять там дом,
то можно забыть,
где на самом деле восходит солнце.
И я забыла.
Теперь мечтаю только о колодце
с перекладиной для качелей
вместо журавля.

По приморским распивочным
гуляет слух
о чокнутой жене плантатора,
который где-то далеко
выращивает гранатовые деревья.

Она путешествует,
переезжая по ночам,
чтобы рассвет застал в дороге.
Возит с собой цветок,
какие обычно ставят на окна в домах,
и жалуется,
что ему не хватает солнца,
хотя он засушен.
На каменистых пляжах
собирает полумёртвых рыбок.
Загорая, бродит, раскинув руки.
Хвалят её походку.

Но с виду такое впечатление,
будто ей сносит голову,
и чтобы удержаться,
она балансирует
при каждом шаге.

2

Горный склон обрывался в свет,
Шла неслышная перестрелка.
По воде рисовал корвет...
Со вчерашним дождём тарелка,
Редко – найденное яйцо –
Весь его полудикий ужин.
Командир закрывал лицо,
Был оболган, разбит, простужен.
Под горой посадил патрон,
Полил кровью своих убитых,
Взяв их волоком с похорон.
В ружьях плач свистел, как в трембитах.
В подвенечные мачты врага
Запускал похотливые ядра,
И горела, томясь, эскадра.
Изнывал, раздет донага...
Что рождалось в его голове –
Исходило в пустые слёзы,
И, подавлены, безголовы,
Тяжелы, нагнетались две...
Он катил их, как камни, катил
До колючего подбородка.
И глядел так спокойно, кротко.
Под горой заседал тротил.
Вечно мёрзшие руки тёр,
Воевал без страны, народа.
И не знал, что ночами рота
Обнимает его шатёр...

3

«Как рисовала мужчину,
отстранив художника,
влюблённая женщина,
которая не умеет рисовать...»

На его крючках умирали рыбы,
а он сидел у воды
и говорил с ними.



Он мечтал о той женщине,
которая может отстранить
художника и фотографа,
мать и Творца,
но попадались только
любительницы «подлинного» искусства.

Крючок, вонзённый в нёбо,
а вокруг – свобода, вдруг осознанная
свободой...

Он не забрасывал сети –
предпочитал поодиночке.

А когда удочки
переставали дёргаться,
замолкал
и смотрел вверх.

Была одна такая,
которая мстила нелюбимому мужу.
Выходила на берег поболтать,
но становилась сзади
и молча водила рукой
по его коротким,
выгоревшим до жёлто-серого волосам.

Но он или она
делали вид,
что это просто ветер,
и никогда не заговаривали.

Качая головой, эта женщина
высвобождала его рыбок,
выхаживала прямо в прибое,
пока не умирали,
и воображала, что делает добро,
потому что была очень одинока –
намного болезненней, чем он:
ему не требовалось рыбе дружество.

О нём не ходили слухи.
О нём предпочитали молчать,
как о неотвратимой угрозе.

Двое парней из местных
хотели его подстрелить.

Он был в отставке.
Никто не спрашивал подробностей.

Он столкнулся с нею вне посёлка единожды –
в собачьем приюте у клетки с безнадежно старым псом.
Больше они не сталкивались,
потому что он совсем перестал её различать.
Она привыкла, что это любовь.

А те двое отказались от мысли стрелять.
Нет, не испугались.

Когда она забеременела,
ветер усилился.

Теперь его слушали два чрева.



Она мечтала об аборте –
из мести мужу
и чтобы достать ребёнка, как его рыбу,
и выхаживать.
Он об этом не подозревал.

А когда с издёвкой спросили,
не от него ли,
не понял, о чём речь.

Её сына никак не назвали.
Сын тоже мечтал быть «в отставке»
и становился похожим на всё,
на что она смотрела.

От сына ему перешла погремушка с рыбками.
К сыну от него – удочка,
пропажу которой
он не заметил.

Они столкнулись вне посёлка единожды –
на её могиле.
И согласились,
что портрет на памятнике
неудачен.

4

Я же была пироманкой – божественного огня...
Ты на меня смотрел сквозь стёклышко из угла.
Тело вжимали в пол три выдубленных ремня.
Я себя славно жгла, я себя славно жгла!
Ты стёклышко опускал, записывал за столом
Со слуха мои стихи, молча рыдал в кулак.
Музыка эта была – сущий металлолом.
После давал листки, дверь открывал: «Всех благ».
Что же там было с тобой? Что же там было с тобой?!
Не было сил подсмотреть – еле плелась домой.
Позже узнала, что ты занимался фигурной резьбой
По телу, для прочности раны порой обшивал тесьмой.
Мне об этом сказали врачи, кто вызвал – понять не могу.
За год без тебя сторели амбары и сеновал.
Я извивалась, тёрлась спиной в подожжённом стогу.
Ты меня с песьей мордой день в день и час в час рисовал.
Дома наплывали на море, так виделось издалека.
Рыбачьие лодки плыли вверх дном – вниз рыбаком.
Будто пейзажную лирику этого уголка
На слух записал Творец, с автором не знаком.
Когда ты вернулся, вырвал из пола все три ремня.
Прикрутил кандалы. Я легла на раскрошенный старый лак.
Сквозь стёкла очков неотрывно, в затык посмотрел на меня,
Как будто заранее непрекословно желал «всех благ»...

5

Она под музыку играла,
Вообразив кого-то рядом.
В открытой настежь двери дома
Мелькала, брошенничка счастья.

Не зная, что за нею смотрят,
Сама своё лицо держала
Как будто чьими-то руками
И целовала дверцу шкафа.



Каким бывал её Бетховен,
Растрогался бы сам Бетховен,
Замешкайся и стань он так же
У той открытой настезь двери.

Когда она вот так садилась,
Устало опершись на локоть,
Чуть-чуть, казалось, и поднимет
Глаза на свет наружный, или

Когда вдруг волосы взметало
Нечаянное дуновенье,
Сейчас опомнится, казалось,
И сделает одно движенье...

Движенья не было – лишь пальцы
Неуловимо с расстоянья
Плотней сдвигались над глазами,
Блестящими всей сутью в руку...

6

Умирая, Бог оставил одним наследство,
остальные – бездари.

Он хотел быть скульптором
и всего-то лепил её из чужих тел.
Но тела приходили в негодность раньше,
чем он успевал вдохнуть в них душу.

Он пытался сделать её из себя,
не брезгуя плагиатом библейской притчи.

Воевал, мечтая
заполучить тела противников.
Поэтому на него,
как на превосходного командира,
не было нареканий.

А кого не хотел убивать,
ставил перед зеркалом
и обрисовывал по амальгаме.

За рубежом прошла выставка его зеркал.
Натурщиц называли жертвами,
а они как раз таки не были...

Когда он её встретил
и попытался нарисовать,
онадохнула на зеркало
и начертила пальцем улыбочку:

«Я сделала бы лучше, если бы умела».

Но это было не нужно.

Она не боялась того, кто стоял за спиной.
Напротив, так было спокойнее.

Она больше боялась фотохудожников,
ведь каждый портрет
мог впоследствии оказаться на её могиле.
Но вдруг, по её мнению, он был бы неудачен...

А его боди-арт эволюционировал в ласки.
Такой авангард ещё не мог считаться
изобразительным искусством.

Но Бога тоже не приняли современники —
Он слишком их опередил.

Подпольный скульптор,
за которым охотилась вся страна,
и бывший художник,
которого знали за рубежом,
по мнению местных мужчин,
завязал с живописью
и украсил свой дом
любимым произведением Бога-экспрессиониста.

Он не стал поклоняться Богу.
Он стал поклонником Его творчества.

А на её памятнике,
закрыв портрет,
впаял зеркало.

«ФОНОГРАФ»

ЕВГЕНИЙ ОКС

ОДЕССКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Я любил большую светлую квартиру моей бабушки. При мысли об Одессе, юге, раньше всего в моей памяти появлялись эти просторные, наполненные отблесками горячего солнца приветливые комнаты. Мебели было немного, она по большей части стояла по сторонам вдоль стен. Нам при наших частых приездах отводилась то одна, то другая комната. На протяжении ряда лет мне уже трудно припомнить, какая из них последовательно служила нам спальней. Все они, за исключением только комнаты бабушки, стали близкими и родными. Просыпаясь по утрам в одной из этих комнат, я помню радостное чувство ощущения свободы, т.к. большей частью это было время каникул, и предчувствия всех ожидавших меня в течение дня удовольствий, от звона посуды, доносившегося из столовой и означавшего приближение вкусного завтрака. Проникая сквозь светлые шторы, треугольники света вместе с тенями прохожих медленно проносились по потолку, наконец появлялась Юлинька, уже вполне одетая, но с бумажными полосками, вплетёнными в волосы. Во время длинного процесса умывания Юлинька передавала нам содержание оперетты, виденной накануне. И это напоминание о театре как бы подтверждало, что всё находящееся в городе: и театр, и кафе Фанкони, и даже зеленоватая даль моря, отовсюду возникавшая в конце улиц, и кино, и нарядные киоски с цветами, или с разноцветными сиропами продавцов минеральной воды – одним словом, весь город – был только роскошной рамой и естественным продолжением тех удовольствий, центром которых была квартира моей бабушки. В то время как мой дед, сидя в качалке, читал утреннюю газету, бабушка наливала нам в большие чашки, покрытые ярко-зелёными узорами, горячий чай с молоком, или, разрезав на две половинки ещё тёплый бублик, накладывала на него толстый слой таявшего масла, делая всё с особым неторопливым спокойствием, как бы выполняя какой-то очень важный ритуал, истинный смысл которого известен только ей одной. «Ешьте всё, – говорила нам тётка, подвигая варёные яйца, – это вам не Петербург». Как и все остальные она была уверена, что в доме моего отца нас, по меньшей мере, морят голодом. Это твёрдое убеждение, неизвестно почему возникшее, о скупости моего отца...

Окна в комнате бабушки завешены тёмными шерстяными занавесями. Яркий луч весеннего солнца всё же пробивается сквозь все преграды, он пронизывает комнату оранжевым потоком, в котором клубятся пылинки. Где-то в углу он скользит по мрамору ночного столика и освещает стеклянные флаконы с надетыми на них гофрированными цветными бумажными колпачками. Длинные полоски

Евгений Окс (1899–1968) – художник, поэт, писатель-мемуарист. Отец его был известным врачом, издателем-популяризатором медицинских знаний, мать – оперной певицей. Учился в Петербурге в Тенишевском коммерческом училище в одном классе с Вл. Набоковым, затем в Новой художественной мастерской, основанной княгиней Гагариной. В 1918 г. учился в Высшем художественном училище в Одессе. Принадлежал к авангардному литературно-художественному кругу Одессы. Его дочь, Людмила Окс пишет – «В Одессе Евгений Окс принимает участие в создании Клуба поэтов, где ещё неизвестные Э. Багрицкий, З. Шишова, А. Адалис, Ю. Олеша читали стихи любимых поэтов и, конечно же, свои. Там с огромным успехом выступал И. Файнзильберг со своей «Торгово-промышленной поэзией», сходной с творчеством раннего Маяковского, – будущий Илья Ильф. Вскоре Евгений Окс призывается в ряды РККА, работает в политотделе 45-й дивизии, где с группой художников создаёт плакаты-окна «Юг Роста». В 1920-1922 гг. Евгений Окс оказывается на Севере, в политотделе Балтфлота, занимается организацией Клуба для моряков. Затем – переезд в Москву». С 1922 г. жил и работал в Москве. Состоял членом общества Н.О.Ж. («Новые живописцы»). С 1939 г. работал в Гослитгиздате и журнале «Интернациональная литература». Состоял в Московском товариществе художников. С 1933 г. – член Московского союза советских художников.

Предлагаемые к публикации главы, принадлежащие перу Евгения Окса, представляют собой малую долю его воспоминаний, часть из которых была напечатана. Автор – художник Окс Евгений Борисович. Тексты посвящены одесскому периоду и темы их возникновения – одесские. Евгений Окс, как ни парадоксально, будучи художником, также вошёл в число сочиняющих строфы и, по его словам, читал свои «невнятные» стихи. . . Поэзию не оставил до конца дней.

Людмила Окс

бумаги, рецепты, поднимаются, как шлейфы или плюмажи, испещрённые красными и зелёными чернильными знаками. Угол толстого зеркала сверкает всеми переливами радуги. И когда я отвлекаюсь от этого красочного зрелища, я успеваю увидеть в полосе света приближающееся лицо бабушки, и на краю освещённой щеки замечаю слёзы. У бабушки болят глаза, так нам детям объяснили, сестре и мне. Мы только что приехали в этот большой южный город, в знакомую нам квартиру моего дедушки. Нам предстоят обычные удовольствия. Театр, прогулки, визиты к знакомым, и, конечно, дедушка поведёт меня в кафе Фанкони. Кино в городе ещё нет. Оно ещё только должно открыться. В этот год кино только начинает своё победное шествие по Европе. Но кафе Фанкони существует в городе много лет. Мой дед впервые вошёл в него ещё молодым человеком. Теперь он стар, он двадцать пять лет занимается корреспонденцией, занятие паю непонятное, в Бессарабском банке, и каждый день это почти продолжение службы, он неизменный посетитель кафе Фанкони. Конечно, он сидит в отдалении, где одни мужчины. Моя тётка водит меня в отделение, где за столиками только женщины и дети. Это внутри здания, за большими стеклянными дверями. Там скучно. Но есть ещё третье отделение, оно прямо на асфальтовом тротуаре, снаружи, под огромным, похожим на парус тентом с синими полосками. Столики стоят тесно окружённые соломенно-жёлтыми стульями. Именно сюда мы пойдём с дедушкой. Солнце бросает свои ослеплённые полосы на широкую улицу, лучи скользят между ветвями огромных серебристых тополей. Моего деда все здесь знают. За решёткой кафе по улице лениво течёт южная толпа. Мужчины носят на голове панамы и круглые соломенные шляпы с длинной чёрной тесьмой, прикреплённой к верхней пуговице пиджака (предосторожность против порывов ветра). Но ветра нет, после прогулки по размягчённому от жары асфальту, здесь тень, пахнет цветами, жжёным кофе, ещё чем-то неуловимым, вернее всего, это дым сигар из соседнего отделения. Звон ложечек и стекла смешивается с непрерывным шумом голосов. От этого, от непрерывного потока прохожих, от ярких солнечных бликов, скользящих по серым мраморным столикам — начинается кружится голова. Я люблю своего деда. Он массивен, грузен. Я люблю сидеть у него на коленях, прижимаясь к белому пикейному жилету, где висит тонкая золотая цепочка с такими интересными брелками. Их много, среди них тигровый коготь, он действительно очень острый. Дед позволяет мне его трогать с опаской. Здесь, в кафе, мы молча сидим друг против друга. Мне подадут кафэ-гляссе, это замороженный кофе, в длинном, покрытом снаружи инеем бокале; наверху белая пенка взбитых сливок. Но самое главное — это соломинка. Их приносят сразу несколько штук, в бумажных чехлах. С соломинкой в руке я приближаюсь к миру взрослых. Но, быть может дед, закажет «спумоне». Это род пломбира. Мороженое состоит из двух разных слоёв, иногда и больше. Говорят, что для приготовления приглашён итальянец, специальный повар. Моя мать тоже в Италии. Она поёт в опере. Вот уже два года как она отсутствует. За это время я видел её один только раз. У меня слишком много впечатлений за это огромное время. И образ матери тускнеет. Сейчас я наслаждаюсь покоем, в школу я пойду осенью и ещё не начал готовиться к вступительному экзамену. Здесь у дедушки, который так добр и мягок с нами, бабушка строже, но тоже так любит нас, мы уверены, что все наши желания будут быстро исполнены (ведь мы в гостях). Что касается моей тётки Мальвины, хотя она любит поворчать, но она говорит родителям «Вь» и во всём слушается бабушку. А это значит, что можно ложиться, по крайней мере, на час позже установленного срока, можно пойти в театр вечером, и не один раз в неделю, как в Петербурге. И, конечно, никаких кафе там, дома, не было и в помине. Словом, здесь всё предвещает тысячу разных удовольствий, и вдруг всё как-то странно изменилось. У бабушки разболелись глаза. Как-то странно вздыхает дед. Он прижимает меня к себе, к своей щеке, покрытой мягкой белой щетиной волос. Мальвина и Юлинька о чём-то шепчутся взаперти и, когда выходят из гостиной, у них красные глаза и носы. Ясно то, что что-то происходит, но что? Нам с сестрой непонятно, что может происходить в таком организованном, умном мире взрослых. Ведь они всё знают, всё могут предвидеть. Наконец, начинают поговаривать о нашем отъезде. Это уже совсем непонятно. Да, да, бабушка больна. Но неужели мы ей мешаем? Как ей не стыдно! Ведь мы приехали в «гости».

Теперь я часами играю один в кабинете моего дяди. Он врач, у него здесь всюду какие-то аппараты, накрытые чехлами. Впрочем, чехлы всюду, почти по всей квартире. Приближается лето, а слабый запах нафталина разносится по комнатам. В кабинете дяди трещит паркет, он здесь особенно трещит. Комната почти пуста. Книжный шкаф, стол, чёрная, покрытая клеёнкой кушетка. На столе молоточки для выстукивания больных. Они плоские, чёрные. В моих руках это пистолеты. Кроме того, есть большая дубовая трость — это, конечно, ружьё. Небольшой коврик на полу — это песчаный холм. И вот я уже сражаюсь в песках. Я любил войну и военную историю. Я мог часами выдерживать ожесточённые атаки, кидаться на штурм, стрелять из воображаемого ружья. Здесь был простор для фантазии, все мои желания немедленно претворялись в действия, активные и мужественные. Я не был драчуном, не любил драк с моими сверстниками, т.к. эти драки казались мне грубыми, и в действительности сопровождалась оскорблениями, настоящими синяками или даже разбитыми до крови носами. И если кто-либо из моих сверстников или племянников начинал со мной реальную драку, то я всегда старался вернуться в стихию игры, в мир фантастический, но бывший для меня единственной возможностью жить вдохновенно-возвышенно и героически. И быть может, просыпающаяся мужественность в этом возрасте, так же как у молодых животных, искала выхода своей энергии в драках, в побоищах, в унижении своих возможных соперников. Что касается меня, наибольшее удовольствие доставляло мне участие в моих фантастических походах верного друга. Это придавало моим играм наибольшую реальность, достоверность, это разделённое понимание наполняло меня восторгом, и я



был готов для своего случайного друга вполне реально пожертвовать даже жизнью. Генерал Скобелев, одетый в белоснежный мундир, так же как и прочитанный задолго до того «Снежный король», о шведском короле Густаве Адольфе, образы которых, слившись, становились поводом к установившейся дружбе, то с Леонидом, то с Андреем, моими сверстниками племянниками, или позже, с кем-нибудь из школьных друзей, поводом для включения в мой личный фантастический мир нового для меня друга. Потому что мир игр, который я открыл, требовал для полного воплощения обязательного соучастника, каким мог быть только чуткий, полный понимания и искренности верный друг, и, кроме того, книги и картины понемногу становились для меня средством переживать эту действительную жизнь. Они были моими сотрудниками в этих играх, будь это эпизодом осады Севастополя, для которой материалом служила панорама академика Рубо, виденная мною на Марсовом поле, или кровопролитные битвы с индейцами, со всей точностью воспроизведённые по книгам Фенимора Купера...

БОЛЬШОЙ ФОНТАН

Это было летом, в той же Одессе, на 16-ой станции Большого Фонтана. За перилами веранды ширилось пространство до самого горизонта – наполненное напряжённою, изменчивою жизнью волн и огромного неба. Казалось, если долго глядеть на воду, дача сама начнёт плыть в пространство. Это было заманчивое головокружение.

Дача стояла над самым обрывом, веранда грозила упасть, если б не толстые опоры, – брёвна, врытые в глинистый срез почвы. Ниже шёл ещё один отвал оползня, покрытый травами и терновником. Под ним – узкая полоска морской гальки и плоские гранитные валуны. Здесь остро пахло водорослями и морской тиной. Низ камней был покрыт зелёным бархатным мхом. Здесь мы купались по утрам с моей кузиной Вандой. В то лето я гостил на даче у тети Розы, мамы Ванды.

Мы сбегали вниз по тропинке к морю. Ванда раздевалась за ближним валуном, пока я только готовился, она в синем купальном костюме, сверкнув на солнце своими руками и белыми бёдрами, бросалась сверху в воду и через минуту плыла недостижимо далеко от берега в своём резиновом чепчике, разрезая волны, как наяда, неслышными взмахами рук и ног. Не рискуя заплывать так далеко, я был часто жертвой и игрушкой прибоя, сильная волна ударяла меня ногами об острые камни, причиняя синяки и порезы. Я растягивался на гальке у самой воды, солнце слепило глаза, и я дремал под плохачущий, журчащий ритм прибоя, вдыхая душливый запах водорослей, гнилости и йода.

Потом мы поднимались вверх на дачу. Завтракали. Ванда садилась за пианино, а я в шезлонге на террасе устраивался с книгой. В то лето я прочёл чуть ли не всего Чехова. Это был и её, моей кузины, любимый писатель. Я помню незабываемое впечатление от повести «Записки ненужного человека», и особенно рассказ «Дом с мезонином», последние слова: «Мисюсь, где ты?». Быть может, впечатление усиливалось от музыки Бетховена, необъятного моря и, конечно, присутствия моей кузины, молодой и нежно мною любимой.

Только что окончив консерваторию в Лейпциге, где она занималась в классе знаменитого Бузони, она принесла новые веяния, новые вкусы, отголоски её пребывания на Западе, в Германии, в течение ряда лет.

Выражалось это во всём, начиная с манеры одеваться, изящества её платьев из легкого фая и муслина – тёмно-розовых, серо-жемчужных тонов.

В её чёлке, в чёрной бархотке на высокой шее, тонком запахе парижских духов, чей флакон в футляре она ревниво скрывала в глубине платяного шкапа.

В её склонности к острому слову, к насмешке, к замене в разговоре удивления и недоверия одним словом «такое» – что выражало нечто неопределённое, трудноуловимое неодобрение или сомнение. Во всей повадке её, избалованной успехом, вниманием интеллигентной молодой женщины, одарённой пианистки, была масса обаяния и привлекательности.

Надо ли говорить что мы, я и сестра, были совершенно ею покорены и очарованы. Мало того, она сыграла особую, некую роковую роль в моей склонности серьёзно заняться живописью – стать художником. До её приезда к нам, в 1913 году – мои художественные вкусы были весьма дилетантски примитивными. Я копировал открытки с картин Гермашева – зимний полустанок и отходящий поезд с зелёными и красными фонарями, или длинную акварель, мою гордость, художника Лагорио, корабль идущий под парусами, с небольшим креном прямо на зрителя. Сказывалось влияние художественных магазинов на Морской улице – Дациаро и Аванцо. И вот вместо этих «картинок», высмеянных моей мудрой кузиной, я оказался перед репродукцией картин Сарьяна – это был похожий на лисицу, не совсем понятный зверь, бегущий распластав свои лапки, между пальмами, совсем дикого, растрёпанного вида. И, однако, в этом звере чувствовалась жизнь и быстрота бега, и какая-то странная сила.

Если долго смотреть на эту картину, зверь действительно начинал мчаться и скакать, и это было необъяснимо. Это была сила образного пластического внушения.

И вот с этой основой искусства впервые познакомила меня Ванда. В том же журнале «Аполлон» таилось многое для меня неведомое – «мир искусства». Репродукции с картин Павла Кузнецова, Головина, Анисфельда, Бакста. Они волновали, смущали и полны были загадочной тайны.

И вот мы с нею на выставке «Мир искусств», тогда на Крюковом канале, где было кабаре «Табарен».

Помню неповторимое впечатление от встречи с картинами Рериха и Стеллецкого. Их сумрачный, иконный колорит, воскрешение старины подлинной, реальной, какой-то мшистой, сине-зелёной. Больше всех поразили Рерих. Много позже дошло очарование иллюстраторов Лансере, Добужинского. Одно из самых ранних впечатлений детства – это откуда-то вырванный из «Медного всадника» оттиск акварели Бенуа – огромный Пётр на коне мчится по булыжной мостовой, преследуя бегущего Евгения.

Помню запах гиацинтов, белые залы, суровое полотно щитов, на которых в простых белых и золотых рамах сверкали и искрились полотна, часто под стеклом, в котором отражались белые, снежные просторы Марсового поля.

Там находилось бюро Добычинной, где происходили выставки «Мира искусств».

Там, в залах я увидел странное лицо женщины, с огромными тёмно-серыми глазами, а в профиль с каким-то ланым рисунком носа, в чёрном платье, со строгой причёской. И, несмотря на недостаток рисунка, лицо её, особенно если глядеть анфас, поражало своей благородной гармонией. Гола через два, я наконец узнал, что это была Анна Ахматова. Там, в этих залах, я видел стройных молодых людей с идеальными проборами и в костюмах английского покроя, разглядывающих картины сквозь лорнеты в золотой оправе. То были петербургские эстеты, золотая молодёжь. Потом, в 1917 году, я увидел их в подвале этого же старинного дома, где открылось артистическое кабаре «Привал комедиантов». Там были залы, расписанные Борисом Григорьевым и Судейкиным. Весь этот мир со всеми его красками, звуками, музыкой, волнующей и чувственной поэзией, всё более открывался передо мной. Но вечером я со своими учебниками втискивался в узенький диванчик в комнате Ванды и читал под музыку Шумана, Листа, и Бетховена. Здесь топилась небольшая кафельная печка и когда дрова прогорали, мы тушили свет и садились вблизи полыхавшей оранжеевым жаром дверцы. Часто молча, иногда делясь наиболее интересными событиями минувшего дня, часы летели, и не хотелось расходиться на ночь по комнатам.

Дружба наша росла, моя привязанность превратилась в некое чувство нежного преклонения, похожего на влюблённость. Теперь я заметил, что моя старшая кузина стала как-то сдержаннее относиться к моим нежным порывам.

Не то чтобы она их резко обрывала, но я заметил, что она как бы почувяла в них оттенок каких-то новых возмужавших чувств, которые она считала теперь лишними.

И к этому присоединилась ещё и ревность.

Увы, к несчастью у неё появлялись и часто на целый вечер отнимали у меня эти драгоценные часы, её ненавистные мне друзья. Первым среди них, всё чаще появлявшихся, был студент в изящной форменной тужурке с идеальным пробором и в пенсне с непомерно толстыми стёклами. Звали его Александр Александрович.

Будучи поклонником символистов, он подарил Ванде два тома стихов самого трудного и малодоступного для понимания из поэтов, мудрого Вячеслава Иванова.

Но всё же, к этому периоду относится и моё первое знакомство с Блоком, открывшим мне поэзию современного города. Поэзию, которую я чувствовал, но не мог выразить.

Ещё большее впечатление на меня произвела случайно открытая мною повесть Флобера – «Ноябрь» в одной из книг толстого журнала той эпохи. Это была буквально потрясшая меня повесть о молодом человеке, в котором внезапно пробуждаются тайные чувственные желания, об этом странном томлении, в котором он пребывает постоянно. Всё это на фоне мрачной и великолепной осени, улиц, заваленных жёлтыми листьями...

Всё это странно переключалось и с моими переживаниями. В эти военные годы Петербург, теперь Петроград, жил лихорадочной тыловой жизнью. Иногда, проходя по правой стороне Невского вечером, я замечал целые толпы проституток, молодых девушек, пожилых, даже старых, но больше всего молодых. Они прогуливались с невинным видом, выискивая своих клиентов, в основном военных, из числа отпускных или героев тыла «земгусаров». Среди этих невинных фей было немало нежных, тонких лиц, и только подведённые глаза и закрашенные губы под низко надвинутыми полями шляп, всё это, в игре причудливых теней от высоких дуговых фонарей выдавая их профессию, заставляло в какой-то тоске и томлении сжиматься моё сердце. На цветных листах альбомной бумаги тёмно-серых, голубых и красно-коричневых я углем и пастелью рисовал этих «незнакомок», их шляпки, украшенные перьями, и глубокие тени от полей и меха, укрывавшие их подбородки. Всё это как-то получалось, иногда удачно. Ванда подарила мне чудесную книгу Моклера «Импрессионисты». Эти очерки, посвящённые Эд. Манэ, Ренуару и Клоду Монэ, открыли мне ещё один, совсем новый мир живописи. Именно эта книга, вероятно, и определила мою судьбу. Там были и заметки о Тулуз-Лотреке и немного слов о Сезанне.

Единственным оазисом в доме была комната Ванды, с балконом, выходящим на угол Ришельевской и Скобелевской. Здесь стояла новая мягкая мебель, зеркальный шкаф, на полу дорогой ковёр. В комнате пахло духами, чем-то неуловимо пряным и изысканным.

Когда началась война, музыкальную школу, где она преподавала, увезли на пароходе в Мариуполь. Дело было осенью, в Азовском море на пароход напали фашистские юнкеры. Я вижу её в волнах холодного моря, она отлично плавала, но могло ли это спасти...

Но в тот день на даче на Большом фонтане всё стояло в молочном, туманном знойном мареве. Изредка лучи солнца прорывались сквозь туман и освещали, как на сцене, далёкий участок моря. Потом всё стуслилось, и вдруг я увидел далеко в море тёмный столбик, затем ещё один, они росли, вытягивались вверх, а навстречу с неба стали загигать такие же полосы, и вот они слились с теми морскими, и стали видны четыре тонких и гигантских смерча, которые медленно передвигались в



море, казалось, совсем близко от берега. Затем хлынул тропический ливень, и всё кругом заволокло, раздались громовые удары, и в небе появились чёрные лохмотья облаков, несущиеся с бешеной скоростью прямо над головой.

Кругом свистело и трепало, неслись сорванные ветки жасмина и шиповника. Мы были на даче одни, тётя Роза осталась в городе. Она лежала с книгой на кровати в своей комнате. Я присел на край постели. Я как обычно целовал её руки, потом щёки. Шею. Она не протестовала, но и не отвечала. Но потом что-то возникло во мне, нечто безумное, я приник к ней, обнял, и помню эту жаркую, душную полутьму и сверкающие то красным, то зловеще фиолетовым молнии, и свистящие как гигантский бич удары грома, и её лицо, и глаза, освещённые мгновенным светом так близко, так томительно близко. Кажется, я пытался расстегнуть её халат, но не очень смело, скорее робко, и она схватила мои руки и сильно, и мне показалось со злобой, меня оттолкнула. И я сразу пришел в себя. Более всего меня поразило и обидело это злое движение. Теперь, через столько лет, стоя на пороге великого отрицательного знака, я всё чаще недоумеваю, и мне безумно жаль моей любви, теперь, когда её тело, быть может, рассыпалось в прах на дне моря.

Была ли это жертва мещанской добродетели и предрассудка? Но она такая умная и чуткая. Ведь она видела, что я буквально, как говорят в романах, сгораю от любви и страсти, находясь с нею рядом столько дней и ночей, так близко. Сколько бессонных часов я провёл в темноте или, выйдя на террасу, сидел часами, глядя на ночной мир. На гигантскую россыпь огромных южных звёзд. Луну неестественной яркости, при которой можно читать газету. Шелест акаций. Таинственные звуки в саду, в степи сонных птиц невнятные голоса. Всё это должно было кончиться, как и это лето, и все эти голоса и запахи его, кончиться, как кончается юность: навсегда, безвозвратно и навеки. Я уехал в Одессу. В город, в дом моей бабушки, и там провёл конец лета. Ходил с моей тёткой Мальвиной в городской театр на спектакли оперетты, где выступала премьершей молодая и весёлая актриса Тамара Грузинская, часто в иллюзионы, так называлось кино в то время, смотрели итальянские фильмы с участием Франчески Бертини или шведские с Астой Нильсен и наши русские с Можухиным и Лысенко. На даче у Ванды был один раз, да ещё один раз в городе, перед отъездом в Петроград.

ЕВГЕНИЙ ОКС

СТИХОТВОРЕНИЯ

ПОСВЯЩЕНИЕ

*Я лесное правительство
волей легких усмешек,
и мое местожительство
где зелёный орешек...*

В. Хлебников

Ряды выкраиваю песен.
Летите в лес, живите там.
Назло педантам и кротам,
Которым свет несносно тесен.

А там листья повилики
Плодите множество пестроту,
Чтоб птиц летучие калики
Клевали рифмы на лету.

Пусть эти строки, наконец,
Заучит дятел иль скворец.

А я дверному косяку
Опять весну пропеть сумею,
И петель ржавую тоску
Влачу на шее как камею.

Жернов небесной синевы
Сотри созвездья и пути,
И хоть крапиве дай расти
На месте камня и Невы.

май 1922 года

Под утро выветрился комом,
 Парами вёрсты обладая,
 Взлетел и кланялся знакомым,
 Поклоны соснам раздавая.

И пастью вырубленной дачи,
 Глотая ленты поездов,
 Скрипел зубами водокачек
 По стрелам шпал и проводов.

Дрожа над белою Канадой,
 Двух океанов содержатель,
 Гремел вагонной канонадой
 Зари упорный поджигатель.

Когда же слёг в утрюмом своде,
 В дыму от жара издыхая,
 Он выл, грозя и задыхаясь,
 Он дрессирован на свободе.

1923

ВЫВЕСКА ПИВНОЙ

Король велел любить и пить,
 И всем носить цветы в петлице,
 И так глупеть, и так глупеть
 До самой виселицы.

Велел любому птицей петь,
 В меду плескать и пиве.
 Любил он пьяных лицезреть,
 Что нежились в крапиве.
 Чтоб после мир сплошной пивной
 Стал дугой оболочкой,
 Спасал в потопе, и как Ной
 Сажал попарно в бочки.
 Да и на то король нам дан,
 На то весна поэтам,
 Чтоб пьяный правил Лабардан
 Над всем подлунным светом.

1924

Невиданно вымокли локоны,
 Развиты в который раз,
 А в дыры ограбленных окон
 Накапывал влажный газ.

Крик серых ливней и цапель
 И прочих на них непохожих
 От треска в ладоши и капель
 Пугали случайных прохожих

У облак затянутых бантом
 Сгорали зарницы у стана
 Ты с ними явилась Брабанту.



Но ты не встала о локоть
 Не венчана порохом в браке,
 Не смыта кровавая копоть
 На мёртвой щеке Бержерака.

?

В сухой траве, под старою сосною,
 Комочек шерсти – мёртвый крот.
 Здесь соловьи поют весною,
 Полны грачи воинственных забот.
 Журчит поток под коркой ледяною
 К реке холодной пробивая ход,
 И так синее небо свод,
 Что кажется смешной игрою,
 Насмешкой, бытия круговорот.

апрель, 1954

АЛЁНА ЯВОРСКАЯ

«Я АДАЛИС. ВЫ ОБО МНЕ НЕ СЛЫХАЛИ?»

Вокруг каждой из поэтесс южнорусской школы (а было их всего три: постарше – Вера Инбер, и две сверстницы – Аделина Адалис и Зинаида Шишова) сплетался шлейф слухов, легенд, вымыслов. Особенно повезло (точнее, не повезло) Адалис, у которой к этому присоединился и отзвук скандалов.

И вот парадокс. Вроде бы самая известная – о ней писали и Мандельштам и Цветаева – оказалась и самой забытой. А уж об одесской части биографии и говорить нечего! Цитата из Википедии:

«В пятилетнем возрасте оставшись без родителей, была удочерена семьёй матери и получила фамилию Ефрон. Начала писать стихи в 1913 г. Печаталась с 1918 г. В начале 1920-х гг. – ученица Валерия Брюсова, была с ним близка (широко распространилась эпиграмма: “Расскажите нам, Адалис, / Как вы Брюсову отдались”). Переехала в Одессу (где входила в “Коллектив поэтов”), затем уехала корреспондентом в Среднюю Азию». Почти всё верно, кроме одного – жила она в Одессе с 1902 г. до 1920 г., потом уехала в Москву, а уж оттуда, годы спустя, в Среднюю Азию. В некоторых справках упоминают и её участие в одесской «Зелёной лампе» (1917-1919). Сохранилась фотография группы поэтов и художников, сделанная в Одессе осенью 1919 года. Две юные красавицы-поэтессы – Адалис и Зика Шишова, поэты Эдуард Багрицкий, Александр Соколовский, Георгий Шенгели с женой, художники Наум Соболев, Сигизмунд Олесевич.

О вечерах «Зелёной лампы» писал критик Пётр Ершов: «В зале Консерватории на протяжении всего смутного одесского 1918-го года (фантастическая смена “властей”, неразбериха) “Зелёная лампа” стала устраивать открытые платные вечера под несуразным названием – “поэзо-концерты”. Удивительно, но – в небезопасные на улицах вечерние часы – концерты собирали изрядное количество публики и не только молодой.

На сцене устраивалась уютная комната. В центре на столе – горящая лампа под зелёным абажуром. За столом в непринуждённых позах – поэты: ... Зинаида Шишова, Аделина Адалис (внешне – экзотика, египетский профиль, длинные острые ногти цвета чёрной крови), ... Юрий Олеша, ... Валентин Катаев, изредка Эдуард Багрицкий и, само собой разумеется, “др.”.

По воспоминаниям художника Евгения Окса, Адалис была первой любовью Ильфа и одним из организаторов «Коллектива поэтов». Именно ей принадлежит честь открытия брошенной хозяевами квартиры на ул. Петра Великого 33, где собирался «Коллектив поэтов». По легенде, она с Шишовой организовала в годы гражданской ещё и «Коммуну поэтов». Впрочем, документально это ещё никто не подтвердил.

Главная фигура, признанный метр поэтической Одессы 1917-20 гг. – Эдуард Багрицкий. Воспоминания о нём Адалис назовёт «Нас вёл Эдуард»: «Мы шлялись табуном, крича стихи или издеваясь друг за другом. Здоровые, полуголодные ребята, мы были злы, веселы и раздражительны. Нас вёл Эдуард. Что скрывать! Нас томил голод, зависть к богатым, хитрые планы пожрать и пошуметь за счёт презираемых жертв – богатых студентов и наивных или полусумасшедших старух. Нас томил неимоверная жадность к жизни, порождающая искусство, – та жадность, когда цвет халвы, недоступной губам, уже



становится цветом воспеваемой аравийской пустыни и смазливая лавочница снится мраморной, качающейся на волнах... Нас томилла участь великой судьбы, тайная и неясная мечта об участии Колумбов и полководцев».

1920 год. Прощаясь с друзьями перед отъездом к мужу в продотряд, Зика Шишова пишет «Послание друзьям» – Олеше, Багрицкому, Адалис.

<...>
 Или со стрелой Эроса
 Ты, всех женщин впереди,
 Розу нежную Пафоса
 Возрастившая в груди;
 Знаменитая певунья
 И – за правду не сердись –
 Ослепительная лунья
 Аделина Адалис.
 <...>

Вскоре уехала в Москву и Адалис. Встретилась с Валерием Брюсовым, стала его последней любовью. 21 июля 1920 датированы стихи Брюсова:

К Адалис

*Твой детски женственный анализ
 Любви, «пронзившей метко» грудь,
 Мечте стиха даёт, Адалис,
 Забытым ветром вновь вздохнуть
 День обмирал, сжигая сосны;
 Кричали чайки вдоль воды;
 Над лодкой реял сумрак росный;
 Двоих, нас метил свет звезды.*

*Она стибалась; вечер бросил
 Ей детскость на наклоны плеч;
 Следил я дрожь их, волю вёсел
 Не смея в мёртвой влаге влечь.
 Я знал, чей образ ночью этой
 Ей бросил «розу на кровать»...
 Той тенью, летним днем прогретой,
 Как давним сном, дышу опять –*

*В твоих глазах, неверно-серых,
 В изгибе вскрытых узких губ,
 В твоих стихах, в твоих размерах,
 Чей ритм, – с уступа на уступ.*

7 декабря 1920 она участвует в устном конкурсе, организованном Всероссийским союзом поэтов в Политехническом музее. Приглашали всех, от звёзд – Брюсова, Белого, Есенина, Маяковского – до пролетарских поэтов.

Участник этого турнира Тарас Мачтет в своём дневнике отмечает, что объявили победителя конкурса только 10 декабря. Им стала Адалис. Через запятую перечислим её московскую карьеру: заведовала литературной секцией подотдела ОХОбра, преподавала в Литературно-художественном институте, руководила Первой государственной профессионально-технической школой поэтики.

Но главное в её жизни – Брюсов и поэзия.

«Как-то в один из визитов к Аделине Ефимовне Адалис, последнему увлечению поэта, зашёл разговор о стихах, посвящённых ей. Аделина Ефимовна заметила: “Почему вы, молодой человек, всё время говорите о стихотворениях? Валерий Яковлевич посвятил мне целый сборник!”. Я прекрасно знал, что такого сборника, посвящённого Адалис, не существует, но счёл неприличным возражать. Уже не всё помнила точно поэтесса. <...> Уже прощаясь, я всё-таки позволил себе спросить Аделину Ефимовну: “Валерий Яковлевич хотел посвятить вам сборник или действительно посвятил?”. Адалис гневно посмотрела на меня и рявкнула: “Конечно посвятил! Такие вещи не забываются!” <...>

Уже много позже мне вдруг в голову пришла неожиданная мысль: вряд ли при живой жене Валерий Яковлевич решился бы посвятить книгу Адалис. Жанна Матвеевна не выносила соперницу. Но ведь посвящение можно было и зашифровать. Не стало ли название предпоследнего сборника “Дали” таким зашифрованным посвящением?



Я позвонил Евгении Филипповне Куниной, ученице Брюсова и близкой подруге молодой Адалис, и спросил: «Простите за нахальный вопрос. А как называл Брюсов Аделину Ефимовну в интимной обстановке, в кругу близких друзей?»

— Ну, как? Далью он её называл!

Значит, ничего не придумала и ничего не забыла пожилая поэтесса. Надо было мне не стесняться и прямо спросить: «А какой сборник вам посвятили?». Теперь стало понятно стихотворение «Даль» из сборника «Ми»:

*Ветки, листья, три сучка.
Вглубь окна ползет акация.
Не сорвут нам дверь с крючка,
С Далью влать могу ласкаться я.»*

из воспоминаний Рема Щербакова, одного из авторов книги о В. Брюсове)

Какою же запомнилась Адалис современникам? Московская подруга, Евгения Кунина, «говорила о любви её к Брюсову, о её внешности так, будто видела её перед собой: большие зелёные глаза и раздваивающиеся передние зубы как у козы».

Есть и ещё один портрет. Марина Цветаева: «Летом 1920 г., как-то поздно вечером ко мне неожиданно вошла... вошёл... женский голос в огромной шляпе. (Света не было, лица тоже не было.)»

Привыкшая к неожиданным посещениям — входная дверь не запиралась — привыкшая ко всему на свете и выработавшая за советские годы привычку никогда не начинать первой, я, вполоборота, ждала.

«Вы Марина Цветаева?» — «Да». — «Вы так и живёте без света?» — «Да». — «Почему же вы не велите починить?» — «Не умею». — «Чинить или велеть?» — «Ни того, ни другого». — «Что же вы делаете по ночам?» — «Жду». — «Когда зажжётся?» — «Когда большевики уйдут». — «Они не уйдут никогда». — «Никогда».

В комнате лёгкий взрыв двойного смеха. Голос в речи был протяжен, почти что пень. Смех явствовал ум.

«А я Адалис. Вы обо мне не слышали?» — «Нет». — «Вся Москва знает». — «Я всей Москвы не знаю». — «Адалис, с которой — которая... Мне посвящены все последние стихи Валерия Яковлевича. Вы ведь очень его не любите?» — «Как он меня». — «Он вас не выносит». — «Это мне нравится» — «И мне. Я вам бесконечно благодарна за то, что вы ему никогда не нравились». — «Никогда».

Новый смех. Волна обоюдной приязни растёт.

«Я пришла спросить вас, будете ли вы читать на вечере поэтесс». — «Нет». «Я так и знала и сразу сказала В. Я. Ну, а со мной одной будете?» — «С вами одной, да» — «Почему? Вы ведь моих стихов не знаете». — «Вы умны и остры и не можете писать плохих стихов. Ещё меньше — читать».

У Адалис же лицо было светлое, рассмотрела белым днём в её светлейшей светелке во Дворце Искусств <...>. Чудесный лоб, чудесные глаза, весь верх из света. И стихи хорошие, совсем не брюсовские, скорее мандельштамовские, явно-петербургские».

Сам Мандельштам в 1922-м году ставил стихи Адалис выше Цветаевой: «Адалис и Марина Цветаева пророчицы, <...>... В то время как приподнятость тона мужской поэзии, нестерпимая трескучая риторика, уступила место нормальному использованию голосовых средств, женская поэзия продолжает вибрировать на самых высоких нотах, оскорбляя слух, историческое, поэтическое чутье. Безвкусица и историческая фальшь стихов Марины Цветаевой о России — лженародных и лжемосковских — неизмеримо ниже стихов Адалис, чей голос подчас достигает мужской силы и правды».

А через двенадцать лет, после выхода первого сборника стихов Адалис «Власть», он же напишет: «Пишет Адалис так легко и лихорадочно, как будто карандашом на открытках, начав на одной и продолжая на другой. Кажется, она стоит в зале телеграфа, дожидаясь, пока освободится расцеплённое перо на веревочке, или же из междугородней будки, задыхаясь, передает лирическую телефонограмму:

— Достать стихи. Узнать, отчего происходят стихи. Подойти как можно ближе к тем людям и делам, ради которых и благодаря которым пишутся стихи».

Но в тридцатые годы оставаться только поэтом, жить этим, зарабатывать не мог никто. Удел поэта — стать переводчиком. И не английских или французских поэтов, а таджикских, азербайджанских, армянских, индийских. И хорошо ещё, если классиков — Хосрова, Джамии, Физули, но приходится и современников — Джамбула и Турсун-заде. Аделина переводит и тех, и других. И продолжает писать стихи.

Брюсов, Цветаева, Мандельштам, Пастернак. Современники Адалис. Она писала о них, посвящала им стихи. Конечно, до вершин поэзии, её небожителей не всякому дано дотянуться. Но ведь поэт — ещё и обычный человек, живущий в реальном мире и от мира этого зависящий. И всё же остающийся человеком.

В сороковые годы в литературных кругах разразился скандал: Мирзо Турсун-Заде получил Сталинскую премию за свои стихи. Что в том дурного? Но в действительности, «переводы», сделанные Адалис, были оригиналами. А вот подстрочник он срочно сочинил задним числом (или перевел с

русского на таджикский – в этом мемуаристы расходятся). Но ни деньгами, ни славой делиться с переводчицей не пожелал. Разумеется, Адалис ничего не добилась.

Есть ещё одна легенда об Адалис, впрочем, скорее всего, как и предыдущая история, правда. Бориса Пастернака исключают из Союза писателей. Прозвучал вопрос:

«Кто против?», суетливо вснув в свой вопрос почти без паузы победное: “Против нет!”, а затем: “Кто воздержался?” и сразу перескочил к триумфальному: “Воздержавшихся нет, Борис Пастернак исключен из Союза писателей единогласно”, – из задних рядов вдруг раздался тоненький, но возмущённо скрежещущий женский голос:

– Я воздержалась и прошу это записать.

По лицу председательствующего побежали уже не судороги, а нервные конвульсии. Но он собрался и, задыхаясь, выкрикнул:

– Решение принято единогласно! Собрание закрыто!

А женский голос ещё сопротивлялся:

– Нет, запишите, что я воздержалась.

Но его заглушило хлопаньем стульев и топотом ног.

Я приподнялся и увидел крошечную длинноносую старушку в тёмном платье, похожую на чёрную птичку, всё ещё отрицательно жестикующую кулачком с зажатым писательским билетом.

– Кто это? – спросил я у Евгения Винокурова, с которым мы оба вообще не голосовали.

– Адалис, – ответил он мне.

Такой запомнил её Евгений Евтушенко.

Самый известный её перевод из «Последней поэмы» Рабиндраната Тагора «Ветер ли старое имя развеял...». Песня прозвучала в фильме «Вам и не снилось», вышедшем уже после смерти Адалис. Поют её и сейчас, но кто знает имя переводчика?

Аделина Ефимовна Адалис – поэт, прозаик, переводчик, женщина, которая увлекалась физикой, биологией, космогонией, археологией, кибернетикой. Слепительная Адалис – «внешне экзотика, с египетским профилем».

Ей ли, не ей адресованы строки Брюсова:

*Когда во тьме закнут твой
Подобный снам Египта, профиль –
Что мне, куда влекусь за тьмой,
К слепительности ль, к катастрофе ль!*

ЕВГЕНИЙ ОКС

МУЗА ЧЁРНОГО МОРЯ мемуарный очерк

Между тем судьба приблизилась к той бурной полосе рифов, что грозила разбить вдребезги нашу столь дорогую мне дружбу, тем более что на рифах нас подстергала Сирена. Сирена была поэтессой и в данный момент находилась в студенческой столовой. Естественно и то, что Сирена имела зелёные глаза и пепельно-голубые волосы. Это было существо враждебного и коварного пола. Пока что она поражала непонятным высказыванием своих мыслей вслух. Это создавало положения до крайности рискованные и, мягко говоря, бестактные. К этому было трудно привыкнуть. Мысль о недостатке воспитания была отброшена, когда позже стало известно о её происхождении из семьи известного издателя большого научного труда. Илья говорил: «У Вас природное и уродливое отсутствие некоторых качеств». В самом деле, общепринятое как бы отвергалось заранее. Одному нашему знакомому она говорила: «Вы красивый и толстый». Такое соединение эпитетов ей безумно нравилось...

Она жила в маленькой комнате-коробочке. Там были кровать, столик и колченогий стул. Мы трое садились на кровать. Все трое курили, большую часть в пальто, так как было холодно. Беседы длились долго, до позднего часа. Потом мы двое шли пустынными улицами. Светила луна. Когда мы входили в тень деревьев или дома, нервы были напряжены, можно было встретить патруль, а может быть и еще похуже. Помню длинную тень Ильи в кепке, надвинутой до ушей. Шаги гулко отдавались от старинных плит тротуаров.

Муза Чёрного моря писала стихи мужественной рукой. Она вернулась из Крыма загорелая и гордая дружбой с Максимилианом Волошиным. Стихи были акменстичны, но по-своему оригинальны и свежи.

Для счастья, для стихов нужно было немного.



*... Затем, что светлы пыльные каштаны.
Затем, что нищий весело поет...*

Были стихи – переводы из Рэмбо. Никто Рэмбо не знал и не читал. Слово «перевод» внушало уважение, а стихи были хороши.

*А что осталось мне в Париже,
И что преследует меня,
Тому, кто хризантемы рыжей
Не отличает от огня.
Тому, кто самой нежной даме
И выплаканной у небес,
Как кошке, чешет за ушами,
Иль груди пробует на вес.*

Пока же нас всех объединяла великая страсть к кино. Шёл фильм во многих сериях «Парижские тайны». Мы садились в первых рядах среди одесских мальчишек-«папиросников». Это была публика восторженная и благодарная. Она так вживалась в экран, что предупреждала героиню о приближении злодеев: «Бетина, тикай!». Или напоминали: «Эй, гитару забудь!». Весь фильм состоял из непрерывной погони, похищений и освобождений. Изредка появлялся главный герой «Железный коготь» – у него был в самом деле протез в виде когтя. Лица его никто не видел. Позже «Железного когтя» великолепно имитировал Эдуард Багрицкий. Поднимал воротник пиджака, нахлобучивал козырёк кепки на глаза и даже умудрялся изображать железную руку. Импровизировались кадры кино. Илья так же играл отлично разные роли.

Новый, 1920-й год мы встречали у подруги Музы, девушки с профилем Луны. Нос и подбородок у нее сходились под странным углом, действительно напоминавшим рисунок Луны в последнюю четверть, и, однако, всё это было у нее гармонично и мило, включая чёрные, как смола, косы и странное имя Муня.

В отличие от солнечной Музы она была, конечно, олицетворением ночи. Я чувствовал, что моё сердце начинает раздваиваться, так же как и глаза, что было ничуть не удивительно, так как на столе было обильное угощение, включая изюмное вино собственного изготовления и самогон, результат ловкой обманной операции родных Муни. Как тогда пелось в известной песне «Свадьба Шнеерсона»: «... на столе стояло угощение, что стоит крупный капитал...». Там упоминалась и «... мамалыга с видом, точно кекс...». Всё это было похоже. Молодёжь, многочисленные гости и родственники уничтожали быстро всё это великолепии, детали которого трудно упомянуть; помню только, что к этому времени я различал именно только детали сидящих рядом, вроде пряди волос, прилипшей ко лбу, или одно стеклышко Илиного пенсне, но целое совершенно ускользало от меня.

Помню 12 часов, когда начались тосты, окна осветились странным заревом, сквозь открытую форточку слышалась дробь ружейных выстрелов, прерываемая раскатами взрывов ручных гранат «лимонок». Казалось, в городе началось мощное и внезапное восстание.

И тут же стало ясно. Это одесский гарнизон встречал новогоднюю ночь бешеной стрельбой. Мы вышли во двор, на галерею нашего одноэтажного дома. Весело щёлкали винтовочные выстрелы и звонко ухали «лимонки». На дворе было пусто, в углу стояла бочка с водой. «Только не надо делать резких движений, – говорил Иля, – а главное, не заглядывайте в бочку...».

Каюсь, я заглянул в бочку. На дне её плавала голубая звезда. Расплата последовала быстро, мне стало плохо.

Вскоре после Нового года как-то утром пришёл Иля и с некоторой таинственностью посвятил меня в планы создания кружка или ассоциации, поставившей задачу ни более, ни менее, как борьба с бездарностью, со всякой надутой посредственностью, пустозвонством и вычурностью. Кружок должен был, действуя тайно, выявлять и высмеивать бездарность во всех её проявлениях. Основным оружием избирался смех. Однако нужна была эмблема для этого сообщества, нужно было имя. Мне предстояло изобразить этот символ. Иля предложил в виде эмблемы силуэт свиньи и тут же его нарисовал, как всегда, очень легко, одной линией, не отрывая руки от бумаги.

Я предложил для большей таинственности расчертить силуэт квадратами, получилась «Шахматная свинья». Это название осталось.

Основателями были Муза, её подруга Муня, Илья Файнзильберг и я. Собирались привлечь еще несколько близких друзей. Была намечена первая жертва – некий молодой поэт. Ему был послан анонимный вызов на свидание. Свидание состоялось в одном из скверов. Незнакомкой был переодетый девушкой один молодой юноша, подходящий для этой роли. Он был снабжён шляпой с полями и вуалеткой, принадлежавшими Музе.

Первое свидание прошло благополучно. Но на втором пылкий поэт довольно восторженно обнял незнакомку, и – о, ужас – грудь, конечно, искусственная, стала грозить падением. Нашему доверенному пришлось спасаться бегством от своего пылкого поклонника, он успел нас предупредить о

грозящей катастрофе, и пришлось нам, поскольку мы были поблизости, выступить на сцену. Всё кончилось общим весельем и смехом.

На этом эпизоде «Шахматной свиньи», по-видимому, кончилась. Началась новая полоса, связанная с возникновением «Клуба поэтов». Наши свидания втроём понемногу превращались в свидания вдвоём. Я этому противился, но ничто не помогало, это была логика, закон жизни. Сердце моё разрывалось от противоречий. До боли было жалко нашей дружбы. И, однако... это было неминуемо. Я мог только подозревать о всей возможности существования неизвестных мне отношений ещё до моего знакомства между Музой и Илей. О всей их сложности...

Позже Ильф как-то сказал мне: «Влюблённых съединила влюблённого рука». Муза считала Илю «своим созданием»...

До знакомства с нею он работал на заводе Анатра токарем. Она искренне считала, что только благодаря ей, её влиянию он стал таким начитанным, разносторонне образованным и интересным человеком. Она часто говорила: «Иля – это моё создание»... Так ли это было? Он рос, конечно, самостоятельно и инстинктивно, питаясь теми знакомствами и связями, какие он избирал добровольно. Так или иначе, теперь Муза завладела мной целиком. Я уже не принадлежал себе, я был полностью в её воле.

Если раньше я ещё мог доверить Иле кое-какие объективные наблюдения за недостатками Музы, например её немного выдающиеся зубы, её нетерпимость к чужим мнениям или нечто подобное, то теперь это стало невозможным.

Она стала единственной той, которая не подлежит ни суду, ни критике.

Знакомства Музы были обширны и малопонятны. Благодаря умению заводиться разговор и полному отсутствию обычных условностей, её знакомства непрерывно расширялись. Каждый новый человек был ей чем-то по-своему интересен, независимо от профессии или социального положения.

АДЕЛИНА АДАЛИС

Из цикла Афродита-Адалис

Короткое письмо зарею раб принёс,
И дали позади несмело улыбались...
«Привет любви твоей, весёлая Адалис!
Уже грядущий день алеет в росах роз». —
Сад светом налился... Я пела и пряла,
Тревожно помнила о зорях и о дали,
О том, что ты живёшь, о том, что ты смугла...
На солнечной траве кружочки тени спали.
Янтарный свет ушлыл; тогда мой раб отнёс
Письмо короткое в даль тающего луга —
«Привет любви твоей, печальная подруга!
Ещё ушедший день алеет в розах рос».

А-с.

Южный огонёк № 12, 1918

Как уверял Сергей Бондарин, кроме псевдонимов «А-с», «А. С-ъ», «Адель Е-ъ», она в Одессе подписывала свои стихи «Вероника Айя». Что ж, поверим на слово очевидцу тех лет.

ФАВН

Спрятавшись вдвоём
Милый, незаметно
Сад, твой сад заветный
Вместе обойдём.

Медленно пойдём.
В рощице запретной
Скрытый неприметно
Темный водоём.



Цепью зазвения
Нам навстречу встанет
Фавн твой злой – и глянет
Жадно на меня.
Ах, как сладко станет
Ускользнуть, дразня.

Вероника Айя
Жизнь № 3, 1918

PENETRABIT

рассказ

– А ну-ка угадай, что это?

Гюг обернулся

– Как, ты здесь? – удивился он.

Молодая девушка действительно таинственно выросла за его спиной. Она держала что-то, длинное, завернутое в газетную бумагу, увесистое.

Гюг захлопнул книгу, даже забыв заложить закладку.

– Что это? Зачем?.. Складное пианино? – недоумевал он.

– Вот, сам посмотри. Это для тебя. Только что получила посылкой.

И Мариетта, чуть нахмурив от усилия брови, предала брату пакет. Она, улыбаясь, следила как Гюг, наклонясь, срывал бумагу слой за слоем и рвал шпагат.

– Меч! – поразился он, когда выглянул черный, тусклый металл. – Какая дивная штука!

Это был, в самом деле великолепный меч, острый с двух концов, тяжелый, очевидно старинной работы. Рукоять и края были слегка ржавы. На лезвии было несколько зазубрин.

– Ты знаешь, – говорил Гюг, попивая на веранде кофе, – в описи оружия Людовика VIII против меча, названного «Ланселот», имеется пометка: «Про него утверждают, что он – фея».

– Какой Ланселот?

– Ты не знаешь? Раньше ведь у каждого меча было ведь свое имя: Эскалибур, Фламбо, Дюрандаль... Ланселот. Их крестили святой водой. Видала бы ты, с каким торжеством... И нарекали древним именем. А славный Ланселот, говорят, был феей, превращенной заклятьем в меч... Где ты достала этот?

– О, сложная история. Моему антикварию продал какой-то унтер-офицер и рассказывал, что на фронте, в Восточной Пруссии, когда рыли траншею, вдруг стукнулись о железо и потом откопали... Он был в ящике, но дерево не совсем еще сгнило – какая-то порода дуба, страшно твердая...

И взвод преподнес эту старинную штуку на память своему унтеру, когда искалеченного, его отсылали обратно в Варшаву. Продал за дешевку, потому что хочет избавиться. «Меч, – говорит он, – приносит только несчастья. Даже нельзя спать спокойно»... Мариетта прислушалась и умолкла.

– К нам кто-то!

Если б она не отвернулась к деревне, где мелькала стройная фигура во френче, она, верно, заметила бы, как вдруг нахмурилось во время рассказа лицо ее брата.

– Добрый день, панна Мариетта! И вас приветствую, Георг Ильич! Панна Мариетта что день – хорошеет.

И пан Вышковский, покрутив свой длинный, уже чуть седеющий ус, опустился в плетенное кресло. Солнце, не торопясь, заходило над дачей и сквозь негусто виноград все резче вырисовывало на полу, на двери веранды лимонные пятна.

– Ну, мне пора опять за работу, – вздохнув, поднялся Гюг. – Лечь бы сегодня пораньше... Что-то голова тяжелая... Мариетточка, ты скажешь, чтобы пану Вышковскому приготовили постель. В малой гостиной, как всегда... Вы ведь у нас останетесь, доктор, не так ли?

– Конечно, конечно, останется! – воскликнула Мариетта. – И все будет в порядке, не беспокойся.

Пан Вышковский машинально постукивал по ручке кресла.

– Много работает Георг Ильич. Все над книжками. И что только ищет в них? Я вот, таким молоденьким не историю изучал. Было у самого довольно историй... И панна тоже, как ее брат. Не смеется, не шутит. Скоро, думаю, начнет изучать Рим или там, Персию... Хоть к пруду пойдем. Какая ночь! Боже мой!..

Мариетта встала, улыбаясь, и он, гибко склонившись, подал ей руку.

Они медленно сходили по лесенкам, и в свои тридцать с лишком лет, доктор почти не казался старше Мариетты.

А-а-а! – Резкий крик прорезал тишину ночи и так же внезапно оборвался.

– Что такое? В чем дело?

Прибежал Фабиан со свечой, сейчас же потухшей от ветра. Хлопнули в конце коридора двери. Взволнованный женский голос кричит: «Что случилось?». Опять всё тихо.

Пан Вышковский поднялся, морщась, брюзжа спросонья и очень недовольный.



– От-то лайдаки! Спать не дадут. Что там с ними?

Наскоро облачившись и чиркнув спичку, он поплелся по комнатам. Чуть не опрокинул шкафчик. Стукнулся об этажерку. Слетела раковина. Разбилась. Наконец он попал в столовую, где собрались уже почти все.

Мариетта, кутаясь в одеяло, подбежала к нему:

– Что, что случилось? Кто кричал?

Пан Вышковский только развёл руками, как, распахнув двери, в комнату ворвался Гео.

У него было необычное, перекошенное лицо.

– О, я видел, видел... Меч в горле!

– Что такое? Кого? Какой меч? – слышались голоса.

– Меч, вчерашний меч! Я видел... Человек. Навзничь. И этот проклятый меч насквозь через горло... О, кровь, кровь... И почему-то надпись Penetrabit на рукоятке. Почему-то надпись Penetrabit.

– Где? Где? Успокойся! Кто лежит?

Гюг провел рукой по лицу и будто пришел немного в себя.

– Галлюцинация у меня была или кошмар, – наскоро рассказывал он четверть часа спустя, – не понимаю. Помню только, что видел убитого. Лицо у него было черное. А потом вдруг проснулся, вижу, что я в кабинете, где оставили вечером меч. Зачем я там очутился – не могу никак понять!

– Все это хорошо, заключил пан Вышковский, неодобрительно качая головой, – все это очень хорошо, но зачем кричать? И пора по постелям. Вот, вы еще простудитесь, панна Мариетта, отправляйтесь к себе. Завтра поговорим.

– Я не могу, я не пойду спать с ним! С ним в одном доме! – крикнул Гюг, показывая на кабинет. – Не могу, я все равно не засну.

– Что такое, какая-то старая рухлядь, кусок железа!.. В чём, наконец, дело? – уже почти рассердилась Мариетта.

Так знай же! Я тебе расскажу. – И по лицу Гюга на миг пробежал прежний ужас. – Это – меч палача. Да, да, знай это: меч палача!

В древней Германии, когда меч отрубал 99 голов, он становился опасен. Он искал жертвы для сотого удара. Скорее отрубить свою последнюю голову и освободиться!.. И палачи, собравшись со всего государства, хоронили его в такую же, как сегодня, лунную ночь. Пели над могилой похоронную песнь и потом расходились, так что никто не знал, где зарыт меч. Этот меч нашли в гробу. Это меч палача. Он ищет жертвы. Я боюсь! Я выкину его. Зарюю!

Пан Вышковский расхохотался:

– Ну, если только в этом весь страх! Я беру его к себе, не беспокойтесь. А все эти книжки! От них делаются, как нервные барышни – простите, панна!

– Этот меч живой! Он звенит. Он убьёт кого-нибудь. Я лучше зарюю его. И сейчас же!

– Не говори глупостей, Гюг, – вмешалась Мариетта. – куда ты пойдешь с ним ночью. Доктор, берите меч, пусть он будет покажу вас и подальше от Гюга, как он хочет.

– А, ты всё-таки боишься, – продолжала она, следя за лицом брата. Знаешь что? – в глазах ее мелькнул лукавый огонек. – Попробуй обмануть его. Идем к тебе.

Мариетта направилась в спальню Гюга, за ней оба мужчины.

Минута – и с помощью подушки, подушечек, шляпы и куртки перед их удивленными глазами выросло нечто вроде чучела. Она устроила его на диване и прикрыла ковриком.

– Ну, теперь спи спокойно. Пусть это вместо тебя попадетя твоему ужасному мечу.

Все рассмеялись, даже Гюг, чего и хотела Мариетта.

– Спокойной ночи, повторила она. – Как завтра все мы будем смеяться!

Выходя, Мариетта споткнулась о порог, и пан Вышковский поспешил поддержать ее. Будто секунду дольше, чем нужно было, она полулежала в его объятьях.

А закаленная, стальная рука чуть дрогнула, осящая молодое тело девушки под тонкой шерстью

Пану Вышковскому не спалось. Он вздыхал, кашлял, переворачивался на другой бок. Ночная птица стукнулась об окно, будто постучала. Лунная полоса на полу чуть передвинулась налево. Мышь царапала, будто ходят в комнате рядом.

– Ох, трус же, – лениво думал пан Вышковский, – ох и трус же ее братец... А молодцом, Мариетта! Право, молодчина... Еще ученый... Лежит с куклой...

И вдруг пан Вышковский хлопнул себя по лбу.

– Вот так штука! Прочту же я милого!

Спустив ноги с дивана, он долго натягивал носки, ворча что-то себе поднос. Где-то далеко били часы не то три, не то четыре. Хотелось спать, но раньше надо было выполнить свой план.

Пан Вышковский положил меч на плечо, как лопату, и поплелся к Гюгу.

– Тьфу! – выругался он, наткнувшись на шкафчик. Этажерку он уже предусмотрительно обошёл. Дверь к Гюгу удалось открыть удивительно тихо.

– Ну будет этот мудрец удивляться завтра! Не пожалею подушки – пробормотал он, подходя к дивану и глядя на чучело.

Луна должна была сейчас выйти из-за тучи и в бледном, тусклом свете кукла, выглядывающая из-под ковра, казалась какой-то старухой. Казалась почему-то жалкой.

Пан Вышковский поднял тяжёлый меч и острием вниз, как кинжалом, с силой пронзил горло чучела. Сразу ему стало как-то легче на душе...



В комнате раздался смутный хрип. Ковер сдвинулся и сполз на пол.
Пан Вышновский подбежал к широкой постели Гюга. Вместо лица там была оранжевая подушка.
– Он переложил её вместо себя... Он спрятался... А я...
Меч, пронзивший горло, не падал и бросал резкую, чёрную тень на спинку дивана.
И в лунном, внезапно упавшем четырехугольнике обостренные глаза Вышновского, прикованные к рукояти, ясно прочитали никем до того незамеченную надпись Penetrabit.

Вероника Айя
Жизнь №3, 1918

АДЕЛИНА АДАЛИС

МУЗА ЧЁРНОГО МОРЯ

Пейзаж кудряв, глубок, волнист,
Искривлен вбок непоправимо,
Прозрачен, винно-розов, чист,
Как внутренности херувима.
И стыдно, что светло везде
И стыдно, что как будто счастье
К деревьям, к воздуху, к воде,
Чуть-чуть порочное пристрастье.
Тот херувим и пьян и сыт.
Вот тишина! Такой не будет,
Когда я потеряю стыд
И мелкий лес меня осудит.
Быть может, Бог, скворец, овца,
Аэроплан, корабль, карета,
Видали этот мир с лица, –
Но я внутри его согрета.
А к липам серый свет прилип,
И липы привыкают к маю,
Смотрю на легкость этих лип
И ничего не понимаю.
Быть может, тёплый ветер – месь;
Быть может, ясный свет – изгнание;
Быть может, наша жизнь и есть
Посмертное существование.

1922

СМЕРТЬ

И человек пустился в тишину,
Однажды днём кровать и стол отчалили.
Он ухватился взглядом за жену,
Но вся жена разбрызгалась. В отчаянии
Он выбросил последние слова,
Сухой балласт – «картофель... книги... летом»
Они всплеснули, тонкий день сломав.
И человек кончается на этом.
Остались окна (женщина не в счёт);
Остались двери; на Кавказе камни;
В России воздух; в Африке ещё
Трава; в России веет лозьяками.
Осталась четверть августа: она,
Как четверть месяца, – почти луна



По форме воздуха, по звуку ласки,
По контурам сиянья, по-кавказски.
И человек шутя переносил
Посмертные болезни кожи, имени
Жены. В земле, весёлый, полный сил,
Залёг и мяк — хоть на суглинок выменяй!
Однажды имя вышло по делам
Из уст жены; сад был разбавлен светом
И небом; веял; выли пуделя —
И всё. И смерть кончается на этом.
Остались флейты (женщина не в счёт);
Остались дудки, опусы Корана,
И ветер пел, что ночи подождёт,
Что только ночь тяжёлая желанна!
Осталась четверть августа: она,
Как четверть тона, — данная струна
По мягкости дыханья, поневоле,
По запаху прохладной канифоли.

1924

«ЛИТМУЗЕЙ»

Л.В. БЕРЛОВСКАЯ

От редакции: В 2013 году исполняется 125 лет со дня рождения и 75 лет со дня расстрела русского поэта, прозаика и критика Владимир Ивановича Нарбута. Первый материал в рубрике «ЛитМузей» был напечатан в журнале «Русская литература» в 1982 году, автором его стала доцент кафедры мировой литературы филологического факультета Одесского государственного университета (1961-1967 гг.) Л.В. Берловская. Поскольку имя Владимира Нарбута в советское время замалчивалось, эта публикация в журнале «Русская литература» являлась единственным материалом о пребывании Вл. Нарбута в Одессе. Нет более основательных исследований и по сей день. Принимая во внимание этот факт, мы посчитали необходимым воспроизвести статью в «Южном Сиянии», несмотря на необходимую в советское время яркую идеологическую окраску публикации.

ВЛАДИМИР НАРБУТ В ОДЕССЕ

статья

В перечне имён писателей, представлявших литературную Одессу 20-х годов (К. Паустовский, Э. Багрицкий, Ю. Олеша, В. Катаев, И. Бабель, В. Инбер и др.), Владимира Нарбута, как правило, не упоминают. Специальных исследований о творчестве Нарбута нет, в общих обзорах советской литературы его имя почти не встречается. О Нарбута вспоминают только в связи с акмеизмом. Без всяких намеков на будущий отход от этого литературного направления он представлен не только в работах 30-х годов, таких, как, например, «Русская литература XX века» Б.В. Михайловского (1939), но и в некоторых учебных пособиях 60-х.

Однако в те же 60-е годы эта установившаяся традиция постепенно начала нарушаться. В отличие от X тома академической «Истории русской литературы» (М. — Л., 1954) А.А. Волков, выделив из общего состава акмеистов небольшую группу поэтов, в том числе Нарбута, писал: «В своём творчестве они отошли от эстетических принципов акмеизма, которые оказались чуждыми новой, советской эпохе». Во второй половине 60-х годов Анну Ахматову, Сергея Городецкого, Владимира Нарбута рассматривают уже как поэтов, которые «постепенно вошли в советскую литературу».

Если учесть, что как поэт Нарбут дебютировал в 1910 году, а с литературной арены ушёл во второй половине 30-х, то станет очевидным, что Великая Октябрьская социалистическая революция была рубежом, разделившим его творчество на два несопоставимых по своему значению периода.

Приняв безоговорочно Великую Октябрьскую социалистическую революцию, Нарбут активно включился в строительство новой жизни. Немногочисленные биографические материалы, которыми мы располагаем в настоящее время, свидетельствуют о том, что в Одессу он приехал, обладая определённым опытом общественной работы. На Сумщине, родине поэта, в 1917 году был создан Глуховский Совет рабочих и солдатских депутатов. Известно, что Нарбут принимал участие в его заседаниях проходивших довольно бурно (многие депутаты были настроены меньшевистски) и последовательно отстаивал в Совете большевистские позиции». В одной из статей, недавно опубликованной на родине поэта, отмечается, что при обсуждении работы Совета народных комиссаров он был «единственным, кто требовал поддержки и осуществления работы декретов» Советской Власти.

В 1918 году Нарбут жил и работал в Воронеже и, по свидетельству члена губернского исполнительного комитета Ч. Рошаль, «много делал для сплочения советских журналистов». Самым большим начинанием поэта воронежского периода следует рассматривать организацию и редактирование журнала «Сирена». К участию в журнале были привлечены М. Горький, В. Брюсов, А. Блок и другие писатели, представлявшие лучшие литературные силы страны. К. Зелинский, отмечая роль Нарбута в определении программы журнала, подчеркивал, что в ней «с наиболее убедительной ясностью (так же, как позднее в статьях В. Брюсова) оказались воспринятыми ленинские партийные установки в отношении старой культуры и литературы». Одесскому периоду предшествовала также работа в Рос-

тове-на-Дону, в Харькове, Киеве. Приобретённый опыт помог Нарбуту справиться с ответственными задачами, вставшими перед ним в Одессе.

7 февраля Красная Армия освободила Одессу, но обстановка оставалась сложной. Страны Антанты ещё не теряли надежды на разгром революции, буржуазия мечтала о восстановлении своей власти. Господствовали меньшевистские настроения. При Деникине большевики в Одессе работали в подполье, меньшевикам удалось добиться популярности даже среди некоторой части одесского пролетариата. А. В. Луначарский, совершавший агитационную поездку по Украине в качестве официального представителя Политуправления Реввоенсовета Республики, писал о том, что меньшевизм на Украине выражен ярче, чем в России, что это «в буквальном смысле слова плесень, которая растёт в рабочих кварталах тем гуще, чем больше усталости и недовольства в бытовом отношении нарастает», что в Одессе наблюдается «махровое цветение самого правого меньшевизма». В городе ещё привольно чувствовала себя буржуазия, хозяйничали спекулянты, процветало мещанство. В такой обстановке оказался Нарбут, приехавший в Одессу 15 мая 1921 года.

Не случайно свою журналистскую работу В. Нарбут развернул в сатирическом направлении, начав выпускать журнал «Облава» – «журнал красной сатиры» (так значилось в подзаголовке), один из первых советских сатирических журналов.

Главная задача, которую ставил перед собой журнал, была борьба «с буржуазией, как внутренней, приспособляющейся к новым условиям, так и международной, организующей «крестовые походы» против Советской республики». В работе журнала активное участие принимали Э. Багрицкий, Ю. Олеша, другие молодые литераторы. Особо следует отметить участие в «Облаве» С. Ингулова, с которым Нарбут сотрудничал ещё в Воронеже. В Одессе С. Ингулов был секретарём Военно-революционного комитета города, заведовал агитотделом Одесского губкома КП(б)У. Этому человеку принадлежит немаловажная роль в определении политической линии Нарбута, в становлении тех принципов, которыми руководствовался Нарбут в качестве редактора, да и поэта. С. Ингулову, кстати, Нарбут посвятил сборник «Плоть».

Хлёсткими текстами и карикатурами «Облава» разоблачала происки мировой реакции, предательское поведение меньшевиков, жадность буржуазии, старавшейся разбогатеть на «миллионах» рыночного обихода, критиковала бюрократизм, мещанство, тунеядство. Под сатирическими ударами журнала оказались именно те стороны одесской жизни, которые вызвали особое беспокойство А. В. Луначарского и нашли отражение в его докладных записках В. И. Ленину.

Самым значительным делом Нарбута в Одессе было руководство ЮгРОСТА. Тут он раскрылся как политический деятель и организатор литературной жизни города. Судя по материалам отчёта о деятельности ЮгРОСТА второй половины 1920 года, Нарбут начал работу с реорганизации структуры агентства, объединения различных его отделов в единый информационный центр, инспектирование которого взял непосредственно на себя. На состоявшемся в сентябре того же года областном съезде работников ЮгРОСТА были обобщены благотворные результаты проведённой перестройки.

С приходом Нарбута заметно активизировалась агитационно-массовая работа. Он сумел объединить вокруг ЮгРОСТА талантливую молодёжь. Из сохранившегося отчёта, например, узнаём, что «секции ИЗО при Нарбране и Политпросвете губвоенкомата работали вяло, а лучшие художественные силы удалось привлечь для участия в ЮгРОСТА... губревком и губпартком проведение всех агиткомпаний по губернии возлагали на ЮгРОСТА». Наиболее известные художники ЮгРОСТА: М. Синявский, С. Зальцер, С. Колесников, М. Глускин, Ю. Владимиров, Д. Бронштейн и другие мастера кисти. Заведовал отделом Б. Ефимов (Б. Е. Кольцов), впоследствии известный советский карикатурист. В запасниках Одесского историко-краеведческого музея хранится довольно большое количество эскизов к плакатам ЮгРОСТА. За второе полугодие 1920 года изоотдел изготовил 800 плакатов, 80 эмблем, 16 декоративных панно.

Особенно активно работала, литературная секция. В неё входили Э. Багрицкий, В. Катаев, Ю. Олеша, Л. Славин, позже пришли С. Бондарин, И. Ильф и Е. Петров. Многие из членов секции впоследствии стали прославленными прозаиками, но тогда писали преимущественно стихи. Были и поэтессы: В. Инбер, З. Шишова, А. Адалис. На страницах газеты «ЮгРОСТА» выступали московские поэты, чаще других – Демьян Бедный, В. Князев. Сам В. Нарбут публиковался настолько часто, что пользовался иногда псевдонимом или шифровкой своей фамилии (Н. Арбут, В. Н.-тъ, Н. и др.).

Художники и поэты ЮгРОСТА работали сообща. Только за вторую половину 1920 года к художественным плакатам было сделано 1938 надписей, выпущено 24 листовки. В связи с острой нехваткой бумаги и последующим сокращением печатной продукции руководители ЮгРОСТА приступили к развёрнутой устной пропаганде, что потребовало особенной активизации поэтических сил города. Развитию этой работы способствовало открытие 3 июня 1920 года центра, в котором сосредоточилась агитационно-информационная работа ЮгРОСТА. В. Нарбут был одним из инициаторов его создания и активным участником. Этот центр должен был, как писала газета «ЮгРОСТА», держать граждан «не только в курсе событий, но и в атмосфере, которая верно бы освещала эти события на фоне... революционной деятельности». Информировав общественность города о состоявшемся открытии «Зала депеш» (так назывался этот центр), газета сообщила: «Заведующий ЮгРОСТА г. Нарбут в краткой речи ознакомил собравшихся с задачами, которые ставил себе ЮгРОСТА в области агитации коммунистических идей, и о целях открытия зала». Работа была чрезвычайно оживлённой и проходила не только в



центральной части города (в доме № 10 по улице Ленина), но и окраинах (Молдованке, Пересыпи и др.). Устраивались «летучие концерты», поэтические вечера. Очень популярной формой работы являлась устная газета. Первого сентября 1920 года в городском саду демонстрировался первый номер экранной газеты «ОдУКРОСТА» (с 24 июня 1920 года ЮгРОСТА было переименовано в ОдУКРОСТА).

Наряду с поэтами на просторы одесских улиц выходили и члены изобразительной секции ЮгРОСТА, чтобы проводить агитационно-массовую работу. Этому способствовали климатические условия южного города. «Эта особенность, — писал в своем отчёте Нарбут, — была учтена завизагитом, который всё выходящее из мастерской ЮгРОСТА из области изобразительной агитации направлял в районы, пользуясь для них рамой из шумных перекрестков и площадей».

Положение руководителя ЮгРОСТА вело Нарбута в самую гущу бурной жизни Одессы 1920-1921 годов. За четыре дня до приезда Нарбута в Одессу Одесский губисполком принял постановление: «Ввиду оторванности от центра считать все официальные распоряжения, появляющиеся через ЮгРОСТА, обязательными». В противоречивой обстановке тех лет было немало сложных и даже опасных явлений, но основу жизни города составляла борьба за торжество Советской власти, за укрепление завоеваний революции. Широко разворачивалась работа по осуществлению решений IX съезда РКП(б). В этой связи много внимания уделялось вопросам перестройки партийной работы, хозяйственному строительству. Как и по всей Украине, принимались меры к установлению экономического союза с РСФСР и другими республиками страны. Решалась задача окончательного разгрома кулацко-националистических банд. Велась большая пропагандистская работа в связи с выборами в Советы, осуществлялась трудная и ответственная продовольственная политика. Всё это находило отражение в работе телеграфного агентства, в его газетах: стенных, телефонных, устных.

Оперативно откликались на животрепещущие проблемы времени и Окна ЮгРОСТА. Активизировалась буржуазия, ожидавшая помощи извне, — тут же появлялся соответствующего содержания плакат, а под ним строки:

*А буржуи рады смутам,
Сеют слухи в тишине,
Ожидая по минутам
Интервенцию извне!*

Вывешивались такие плакаты не только в специально приспособленных для них помещениях, но и на территории наиболее крупных предприятий. Одесские портовики до сих пор вспоминают большую их популярность. На одном из них был изображен рабочий и красноармеец с факелом, а внизу текст Э. Багрицкого:

*Рабочий! Сняв ярмо раба,
Всю прелесть вольности изведай!
Трудна и тяжела борьба,
Зато уже близка победа.
И ты не уставай в борьбе,
Иди на штурм капитализма,
Ведь освещает путь тебе
Священный факел коммунизма!*

В такой атмосфере открытой общественной борьбы жил и работал Нарбут. Бурная жизнь, активным участником которой он был, рождала поэтические отклики. Поэт печатался на страницах едва ли не всех существовавших в городе периодических изданий: «Одесский коммунист», «Известия», «Морьяк», в журнале «Облава». Естественно, что чаще всего его стихи появлялись в газете «ЮгРОСТА», звучали на различных поэтических вечерах, которых в то время было в Одессе немало.

Лучшие стихотворения одесского периода жизни Нарбута как раз те, что родились как отклики на конкретные события окружающей действительности, жизни страны в целом.

В Москве готовился Второй конгресс III Интернационала, «ЮгРОСТА» назвала его ярким факелом, который озаряет дорогу всем рвущимся к освобождению рабочих и крестьян». Нарбут не замедлил с поэтическим откликом на это событие. В однодневной газете «Коммунистический Интернационал», появившейся в день закладки в Одессе (18 июля 1920 года) памятника III Интернационалу, было напечатано стихотворение Нарбута, обращённое непосредственно к участникам Второго конгресса:

*Товарищи!
Вожди и дети,
Далёких, восстающих стран!
В бою решительном за Третий
Пади последний ветеран!*

Пафосом интернационализма было проникнуто и стихотворение Нарбута «Россия». Это одно из лучших его произведений, появившихся в Одессе:

*Я онемела от окопа,
И мне спины не разогнуть.
Я окровавлена, Европа!
Европа!
Матерью мне будь.
Я встала рано, встала первой,
На запад пристально гляжу
И жду, когда свои резервы
На бой ты двинешь к рубежу.*

Об активной реакции поэта на происходившие события говорит и другое произведение Нарбута – «Конница Будённого». В конце мая 1920 года по решению ЦК партии на ЮгоЗападный фронт была переброшена героическая Первая Конная армия, а уже 26 мая в «ЮГОСТА» было напечатано это стихотворение.

Героизм будёновцев не мог не вдохновлять первопроходцев советской литературы – о нём писали и поэты, и прозаики. В Одессе первым к этой теме обратился Нарбут. Его «Конница Будённого» звучала страстным призывом, дышала уверенностью в победе. Содержанием своего стихотворения и его поэтическим строем Нарбут утверждал народный характер армии Будённого.

Стихотворение было опубликовано в том же номере газеты «ЮГОСТА» (20 мая 1920 года), в котором сообщалось о приезде в Одессу А.В. Луначарского, занимавшегося вопросами организации сил для борьбы с новой военной опасностью. Нетрудно понять, насколько своевременны были строки:

*Нам ли медлить, если дружный натиск
Поднимает города и села.*

В обстановке полной мобилизации материальных и духовных сил советского народа на борьбу с военной опасностью родились и «Стихи о войне» В. Нарбута. Они заключали в себе тот боевой заряд, что был характерен для всей советской прессы тех лет. Отсюда чёткость и выразительность образной Системы всего стихового цикла:

*Мы серп и молот, мирный штыг
Подъемлем перед миром в спорах.
Но нашу тягбу разрешит
Граненый штык, гремучий порох.*

Победа на фронтах гражданской войны: «открыла перед советским народом возможность перехода к мирному труду. Одесса жила в тяжёлых условиях послевоенной разрухи. Ударным теперь был уже не военный, а трудовой фронт. К теме труда и образу рабочего обратился и Нарбут:

*И труд идет дорогою кремнистой,
Но с верной ношей – к трубам на завод.*

Добиться больших успехов в этом направлении Нарбуту в Одессе ещё не удалось, но показательно, что бывший поэт-акменст пришёл к новому герою, к образу пролетария, которого ни он, ни его коллеги по «Цеху поэтов» прежде не замечали.

Есть основания говорить о динамике этого образа в творчестве Нарбута даже короткого одесского периода. В стихотворении «Слушай» поэт бичует социальный строй, при котором рабочий «гол и бос», а буржуа «одет, обут, и сыт, и нежится в хороммах»:

*Рабочий!
Ты ль не сбросишь пут?
Ты ль не исправишь грубый промах?
Иди на приступ крепостей,
Воздвигнутых буржуазией!
Штурмуй и вон гони гостей,
Пирующих в твоей России!*

В стихотворении, появившемся через два года, сформулирована уже не только разрушительная, но и созидательная задача пролетариата: поэт хочет, «чтобы пролетарий польёт мир воздвиг, – мир без крепостного рабства и вериг».

В атмосфере нарастания новой военной опасности Нарбут точно определял и боевые, патриотические цели рабочего класса – защитника своей родины:



*Опять над нами тучи чёрные
Кружащегося воронья.
Рабочий!
От станка и горна
Иди и оседлай коня!*

Необходимо отметить, что прежние акмеистические увлечения В. Нарбута, проявившие себя в новой публикации сборника «Аллилуйя», а также сборника «Плоть», объединившего в основном стихотворения, написанные ранее и публиковавшиеся в 1911-1915 годах (лишь два стихотворения – «Предпасхальное» и «Тиф» – были опубликованы в 1919 году), отнюдь не способствовали творческому освоению нового жизненного материала. В сборнике «Плоть», пожалуй, наиболее отчётливо проявилось разительное несоответствие прежних устремлений к живописанию низменного, характерных для творческой манеры поэта в прошлом, задач современности.

Эстетические установки акмеизма тормозили движение к решению тех задач, которые революционная действительность поставила перед Нарбутом – поэтом и гражданином. Особенно сложные были для него попытки нарисовать образ человека нового времени. Увидев в качестве героев эпохи «мужика и рабочего», поэт сумел преодолеть первоначальную концепцию их восприятия, но образы коммунистов ему явно не давались. Сёстры из одноимённого стихотворения хотя и ходят в «блузах коммунистки», по ничему иному от жизненной реальности в них нет. Точно так же ничего определённого нет в том «коммунистическом пророке», в котором сам поэт видит «сапожника и брадобрея, и кочегара пред огнём» (поэма «Большевик»).

Малоподвижными оказались и художественно-изобразительные средства акмеизма, прежде всего его речевой арсенал. Нельзя отрицать мастерство В. Нарбута в живописи словом, наличие специфического нарбутовского слова «крутого замеса» (К. Зелинский). И всё же «жирные» и «плотские», «тяжёлые и увесистые, колоритные и живописующие» слова, от которых, по замечанию В. Львова-Рогачевского, «пахло укропом и дёттем Украины», не всегда оказывались плодотворными в деле раскрытия революционной нови.

Революционная тематика не вмещалась в привычную для поэта систему акмеизма, а новые формы отыскивались нелегко. Однако многое прощали читатели поэту, оценив актуальность содержания его стихов, их боевой дух. В рецензии на появившийся в Харькове в 1921 году сборник «Земля советская» (вошедшие в его состав стихи принадлежат одесскому периоду) говорилось: «В старые формы акмеизма, в которых застыли многие наши поэты, Вл. Нарбут сумел влить живое содержание, искренность чувств и неподдельный революционный энтузиазм».

Много лет спустя К. Паустовский вспоминал об одном из Поэтических вечеров 1921 года в Одессе: «... на сцену вышел поэт Владимир Нарбут – сухорукий человек с умным, желчным лицом. Я увлекался его великолепными стихами, но ещё ни разу не видел его. Не обращая внимания на кипящую аудиторию, Нарбут начал читать свои стихи угрожающим, безжалостным голосом. Читал он с украинским акцентом:

*А я тухлявая колода,
Годами выветренный гроб...*

Стихи его производили впечатление чего-то зловещего. Но неожиданно в эти угрюмые строчки вдруг врвалась щемящая и невообразимая нежность:

*Мне хочется про вас, про вас, про вас
Бессонными стихами говорить.*

Нарбут читал, и в зале установилась глубокая тишина».

Активное участие поэтов в общественной жизни города, сотрясаемого острой борьбой революции с силами контрреволюций, способствовало созреванию талантов, рождению новых тем и форм. Если бы Э. Багрицкий не был поэтом походного политотдела и не принимал активного участия в ЮгРОСТА, вряд ли он, как указывал В.Б. Азаров, сумел бы прийти от Летучего Голландца и Уленшпигеля к «Думе про Опанаса». Юрий Олеша о себе писал: «... всю лирику, связанную с понятием родины, отношу к Одессе». В. Катаев работу в ЮгРОСТА впоследствии определял как «школу политического воспитания беспартийных поэтов». И для Нарбута, руководителя ЮгРОСТА, одесский период его жизни тоже стал школой не только политического воспитания, но и творческого самоопределения на новых путях. Убеждённость бывшего поэта-акмеиста в высоком гражданском назначении поэта исключала позицию «особого мнения» (см. статью Нарбута «Король в тени» о «короле фельетона» В. Дорошевиче). Такое понимание литературы эпохи великой революционной ломки, возможно, является самым большим завоеванием Нарбута одесского периода. Теперь он смог обрести правильную ориентацию в литературной и политической жизни эпохи, ощутить её перспективы.

Позднее, уже в качестве ответственного работника отдела печати ЦК РКП(б) В. Нарбут принимал деятельное участие в подготовке материалов к XIV съезду, к XV партконференции и XV съезду ВКП(б).

«Много раз, – писал А. Аршаруни, работавший вместе с Нарбутом в отделе печати, – приходилось на заседаниях Отдела и на совещаниях в те бурные годы идеологической борьбы видеть на трибуне Вл. Ивановича, страстного человека, принципиального и сведущего в «делах не только поэзии, но и литературы вообще». Следует в связи с этим сказать и о личных качествах Нарбута, который, по свидетельству современников, «был человек общительный, внимательный к людям, к литераторам. . . его любили, во всяком случае, относились к нему с уважением». Это свидетельство тем более важно, что у иных мемуаристов встречаются на этот счёт недопустимые высказывания, порочащие человека, давно ушедшего из жизни.

Пока не собрано всё, написанное Нарбутом, не изучен его вклад в советскую литературу. Однако несомненно, что его творческая судьба – это ещё один пример великой роли Октября в пробуждении талантов к активной творческой жизни. Имя В. Нарбута достойно доброй памяти, а наследие его – специального, уважительного и внимательного изучения.

Берловская Л. В., В. Нарбут в Одессе // Русская лит-ра. 1982. № 3

РОМАН КОЖУХАРОВ

«МУЗА-СОВЕСТЬ» ВЛАДИМИРА НАРБУТА

Жизнь моя, как летопись загублена. . . Этой строкой начинается стихотворение Владимира Нарбута «Совесть». Как и многие другие поэтические строки этого автора, одного из самых загадочных в русской литературе XX века, стих исполнен экзистенциальных предчувствий и глухого отчаяния. То ли исповедь, то ли чистосердечное признание приговорённого к казни. . . Страшный конец Нарбута – расстрел поэта, прошедшего все муки магаданских лагерей, в день его пятидесятилетия, 14 апреля 1938 года, – теперь, спустя десятилетия, представляется глубоко символичным. День рождения стал днём смерти. . . Или, вернее, с точностью до наоборот: обретение в смерти рождения. Не об этом ли, пророчески, писал поэт в одном из самых ярких своих стихотворений, в «Пасхальной жертве»?

*В раздутых жилах пой о мудрых жертвах
И сердце рыхлое, как мох, изрой,
Чтоб, смертью смерть поправ, восстать из мёртвых,
Утробой отравленная кровь!*

Поэт-новатор, соратник Гумилёва, Городецкого, Ахматовой, Мандельштама, Михаила Зенкевича по акмеистическому цеху, выдающийся организатор литературного процесса, талантливый журналист и редактор, крупный общественный и партийный деятель Владимир Нарбут сегодня по-прежнему мало известен, а наследие его изучено далеко не достаточно.

Вместе с тем, процесс постижения нарбутовского творчества всё-таки идёт. Возможно, связано это с тем, что только сейчас литературоведение освобождается от безоглядной ангажированности и шаблонности, которые в известной мере сопутствовали процессу возвращения в лоно большой литературы отлучённых до времени имён в конце 1980-х – начале 1990-х гг.

Освобождаясь от наслоений ярлыков, слухов и легенд, многогранности творческих устремлений перед нами предстаёт личность одного из самобытнейших поэтов XX века, с необычайной полнотой вобравшая и «феноменально» воплотившая «тектонические разломы», пожалуй, самой трагической эпохи русской истории.

В 1920 г. Нарбут писал: «Дыши поглубже, попривлекней шупай.// Попристальней гляди.// Живи. . .»¹. И жил, воплощая им же самим сформулированные заветы.

Особенно зримо это проявляется в издательской, редакторской деятельности Нарбута. Одно перечисление артефактов, появившихся на свет его стараниями, наглядно констатирующее выдающийся вклад Нарбута в становление и развитие до- и послереволюционного отечественного литературного процесса, по определению должно было бы «снять» малейшую иронию, хотя бы до предела редуцировать в литературоведческом стане возможность возникновения ситуации недооценки.

1911 год – активнейшее участие Нарбута в издании в Петербурге журнала «Gaudeamus», в котором сотрудничал Блок и состоялся поэтический дебют Ахматовой. 1913 – издание и редактирование в северной столице «Нового журнала для всех». 1917 год – на малой родине поэт активно участвует в работе Глуховского Совета, печатается в газете «Глуховский вестник». 1918 год – в Воронеже он выпускает двухнедельник «Сирена», первое литературное периодическое издание в пореволюционной, разорённой России, собравшее на своих страницах весь цвет отечественной литературы. Здесь были напечатаны стихи Блока, Гумилёва, Ахматовой, Брюсова, Мандельштама (и его статья «Утро акмеизма»), Пастернака, Есенина и П. Орешина, «Декларация» имажинистов, проза Горького, Б. Пильняка, Е. Замятина, А. Пришельца, И. Эренбурга, А. Ремизова, Шишкова, А. Чапыгина, М. Пришвина и др.



В 1919 году в Киеве Нарбут участвует в издании журналов «Солнце труда» и «Красный офицер».

Именно в этот период, отмеченный в судьбе поэта трагической вереницей ситуаций «на грани смерти», он напишет уже цитированное стихотворение «Совість»: «Жизнь моя, как летопись, загублена// Киноварь не вѣётся по письму// Я и сам не знаю, почему// Мне рука вторая не отрублена...»². Руку Нарбут потерял после нападения банды на имение в «святую» рождественскую ночь 1918 года, которую собралось праздновать всё большое семейство. Младший брат Сергей и управляющий имением Миллер были убиты, чудом спасся двухлетний сын Нарбута Роман. Самого Нарбута, получившего несколько штыковых и пулевых ран, свалили вместе с трупами в навоз, что и помогло ему не замерзнуть лютой зимой. Утром, тяжелораненого, жена отвезла его в город, где из-за начавшейся гангрены ему ампутировали кисть левой руки³.

В октябре 1919 года «коммунистического редактора», пробиравшегося по занятой «деникинцами» территории, в Ростове-на-Дону арестовывает контрразведка Добровольческой армии. «Как большевистского поэта и журналиста»⁴ Нарбута приговаривают к расстрелу, и только внезапный налёт красной конницы возвращает ему свободу. Бумага «об отказе от большевистской деятельности», которую Нарбут под страхом смерти якобы подписал тогда в застенках, в 1928 году и решит вопрос о смещении его со всех руководящих постов и исключении из партии.

Но это будет позже, а пока Нарбут – в самом эпицентре кипучего, бурного строительства «весеннего терема» новой жизни. В 1920 году он организует литературный процесс в послереволюционной Новороссии, охватывая его живительными токами обширнейшую территорию, куда входят Полтава, Севастополь, Николаев, Тирасполь, Херсон. В Одессе, ставшей центром этой культурно-просветительской деятельности, Нарбут начинает выпуск журналов «Лава» и «Облава», возглавляет ЮгРОСТА и объединяет под своим началом талантливую молодежь, позже, с подачи В. Шкловского окрещённую «южнорусской школой». Нарбут руководит Радиотелеграфным агентством Украины (РАТАУ) в тогдашней столице Советской Украины – Харькове. С 1923 года он в Москве, в секретариате ЦК ВКП (б) заведует подотделом, курирующим непериодическую печать и художественную литературу.

Нарбут редактирует журналы «Вокруг света» и «30 дней», создаёт и возглавляет правление одного из крупнейших советских издательств – «Земля и Фабрика». В «ЗиФе», позже преобразованном в издательство «Художественная литература», увидели свет многие книги И. Бабеля, В. Шишкова, А. Серафимовича, А. Неверова, С. Григорьева и др. Благодаря стараниям Нарбута, сначала в журнале «30 дней», а потом и отдельным изданием в «ЗиФе», был напечатан роман И.Ильфа и Е. Петрова «12 стульев». Вплоть до октября 1928 года, Владимир Нарбут, по справедливому замечанию А.С. Серафимовича, играет роль «собирателя литературы Земли Союзной»⁵.

Если обратиться к поэзии Нарбута, создаётся впечатление, что сама душа поэта представляет рисунки разнонаправленных сил, стремившихся вырваться на авансцену бытия, осуществиться здесь и сейчас во что бы то ни стало. Неумолимость совершившихся с Нарбутом и вокруг него событий, лихорадочные запросы времени словно подстёгивали эти устремления. В 1920 году он восклицал:

*Бездействие не беспокоит. . .
Не я ли (супостаты – прочь!)
Стремящийся сперматозоид
В мной возлеянную ночь. . .*⁶

Что это, эйфория деятельного азарта или, напротив, признание лирического героя, затравленного обстоятельствами? Не скрывается ли за этой апологией энергии отчаяние, кромешность которого сродни той самой, «возлеянной» автором ночи?

Стихи эти – своеобразный пролог к быто-эпосу «Плоть», «программному», как принято говорить, поэтическому сборнику Нарбута. Книга издана в Одессе в разгар гражданской войны, в пору, которую сам Нарбут в беседе с К. Зелинским охарактеризовал так: «Нам всем гореть в огненных столбах. Но какой ветер развевает наш пепел?»⁷. *Нам всем* – это о монархисте Гумилёве, после выхода в свет в 1921 году его сборника «Огненный столп». И о *большевике* Нарбуте, чья книга, появившаяся годом раньше, так и называлась – «В огненных столбах».

«Плоть», изданная в Одессе в 1920 году, углубляет и развивает творческие открытия дореволюционной «Аллилуйи». Критик А. Лейтес, откликнувшись на выход нарбутовского сборника статьёй, пишет: «Запах плоти – душный и смертный – полюбил Владимир Нарбут; именно за то, что этот запах – душный, как бред тифозного больного, именно за то, что он пахнет тленом и смертью, полюбил и не может от него оторваться Нарбут»⁸. Отказывая, с одной стороны, Нарбуту в прямом наследовании традиций Блока, исследователь в зачине своей статьи («запах плоти – душный и смертный. . .») использует дословную реминисценцию из блоковских «Скифов»: «Мы любим плоть – и вкус её, и цвет, / И душный, смертный плоти запах. . .»⁹. Показательно, что в «Скифах» ключевым является мотив неумолимого смертного приговора всему («О, старый мир!»), что не способно любить: «Пока не поздно – старый меч в ножны, // Товарищи! Мы станем – братья! // А если нет, – нам нечего терять. . .». Эрос, по мнению критика, шествует в нарбутовской поэзии рука об руку с Танатосом, причём «прежде всего – смерть. Она – повсюду, неизбежная и неизменная спутница Плоты»¹⁰. Не называя и даже не подразумевая имени Сковороды, исследователь, тем не менее, указывает на тему, воспринятую Нарбутом во

многим под влиянием учения украинского философа, – разложение-смерть как необходимое условие зарождения новой любви-жизни.

Эта тема впервые ярко, исповедально и осязательно, предстала в «Аллилуйе», сборнике, вышедшем в Петербурге в 1912 году, в акмеистический период творчества поэта. Последовавший за этим скандал и обвинение автора в порнографии привели к его уголовному преследованию, вынудившему поэта уехать в Абиссинию. Есть в «Аллилуйе» ещё один эпитафия из Сковороды: «Открой, аще можешь, сердца твоего бездну». Не та ли эта бездна, «страшная и тёмная», над которой советовал молодому Есенину раскачивать качели жизни Блок? Время безжалостно делало это с судьбою Нарбута. Не потому ли тёмные бездны сердца открываются в его стихах? Не потому ли в позднем его «Воспоминании о Сочи-Мацесте» безобидной арахис – «зерна-старики» – неожиданно оказывается тайным убежищем того самого, «сердечного человека» Сковороды, призванного родиться из «старой» скорлупы:

*Ревекка-муза! Хоть словечко
Шепни, наушничая, мне, –
Про талисман, про человечка,
Тайком живущего в зерне...¹¹*

В «сковородинских» по духу стихах Нарбут формулирует свою корневую философскую концепцию круговорота жизни, где «отжившие», «подлинно отверженные» становятся почвой, гумусом для весенних всходов будущих поколений: «Чтоб из навоза создать земной, а не небесный рай» («Баня»). Позже, в пропахшем гарью революции и гражданской войны сборнике «Советская земля» эти мысли отольются в сокровенные для автора образы грядущей «поимой любви»:

*Пчела, сосущая серёжку,
девчонка с веткой босиком, –
всё на одну плывёт дорожку,
и всё – земной единый ком.
(«Первомайская пасха»)¹²*

Из этого «земного кома» лирический герой не вычленил и себя, во многом предвосхищая пантеистический пафос поэзии Николая Заболоцкого:

*И даже глаз мой, сытый поволокой
(хрусталиком, слезами просверлив
чадящий гроб), сквозь поры в недалекий
переструится сад, чтоб в чаще слив,
нулём повиснув, карий дать налив...
Так, расточась, останусь я во всём...
(«Самоубийца»)¹³*

Стихотворение «Самоубийца» озаменовано и ещё одним литературным влиянием, которое с годами сказывалось в творчестве Нарбута всё осязательнее. В эпитафия стихотворения вынесены строки из пушкинского «Евгения Онегина». Темой отдельного исследования может стать отношение Нарбута к творчеству Пушкина, вернее, причудливая траектория его развития – от запальчивой «мятежной» риторики в духе футуристов: «Поистине, отчего не плюнуть на Пушкина?»¹⁴ до всё большего приобщения к пушкинскому контексту.

Мистика и погружение в психологию героини в «Александре Павловне» и сон Татьяны Лариной в «Евгении Онегине»; насыщенный глуховскими преданиями образ Мазепы и «Полтава» Пушкина; Германн из «Пиковой Дамы» и нарбутовские стихи одесского периода, тема «махновщины» и образы-реминисценции Дубровского, Пугачёва, в поэзии Нарбута; наконец, ключевой для поэта образ-символ казнённого серафима, воспринятый из Ветхого Завета во многом сквозь призму пушкинского «Пророка»... Такое, всё более углубленное с годами «вживание» поэзии Нарбута в творчество Пушкина лишь подтверждает корневую принадлежность автора «Казнённого Серафима» и «Александры Павловны» к общей тенденции русской литературы, ёмко сформулированной Твардовским: Пушкин приходит к нам в самом раннем детстве, а мы к нему – с годами. В поздних стихах Нарбута («На Тверском»), опять зазвучит сквозная для поэта тема «неумытого, косматого» прошлого, в которой Пушкин предстанет величественным судьей быстротекущего времени: «Это – уходящий век перед Александром Пушкиным...».

Путь осуществления... Нарбут следовал по нему в полном согласии со своим эпитафия к «Плоти» – «Бездействие не беспокоит!». А ведь слово «осуществление» является переводом греческого слова *энергия*, придуманного «в бездне прошлого» Аристотелем¹⁵. Ещё один неологизм древнегреческого мыслителя – *энтелехия*, то есть «осуществлённость». Не является ли развёрнутым переводом Аристотелевской *энтелехии* нарбутовское «бездействие не беспокоит...»? Или знаменитые строки другого поэта: «Безличное – вочеловечить, // Несбывшееся – воплотить!»? И случайно ли Давид Бурлюк к



двадцатилетнюю русскую футуризм, уже «видя большое на расстоянии» 1930 года и далёкой Америки, выпускает итоговую книгу с названием «Энтелехизм»¹⁶?

Энергия и энтелехия становятся широким контекстом для неизбывного, романтического стремления – столбовой линии всего русского поэтического авангарда, и Нарбута, в частности. Воплощая в бытии, «в миру» поэтический «микрокосм» автора и его лирического героя, стихотворение «Одно влечение...» формулирует поэтический идеал автора: живое постижение глубины и тайн мира посредством динамического, «прерывающего застой», деятельного «внедрения» в мир. Свой выбор, своё «влечение» – «бродя всю жизнь по хуторам// Григорием Сквородой» – лирический герой прямо обосновывает целью, которую он преследует: «Сверчат кузнечики.// И высь – // Свержающая кисея.// Земля-праматерь!// Мы слились:// Твоё – моё, я – ты, ты – я».

Но есть у этого движения «всей жизни» и сверхцель – *энтелехия*. Её и формулирует автор в концовке стихотворения:

*Опять долбит клюка тропу
и сердце, что поёт, журча, –
проклонившее скорлупу,
баюкаемое курча.
(«Одно влечение...»)¹⁷*

Соразмерные шагу странника (который сливается с лирическим героем), удары его верной «спутницы»-клюки о тропу становятся созвучными ударам его сердца. Это соразмерное «проклёвывание» (*курча* – в переводе с украинского «цыплёнок») ломает уютную скорлупу статичного созерцания. Герой Нарбута, словно прорвав тугую пелену окутавших его в первом сборнике живописных холстов, смело и энергично устремляется в эту прореху, всячески проявляя своё присутствие, «вочеловечиваясь» и воплощаясь в бытие.

Суть метода Нарбута в связи с выходом в 1912 году его второй поэтической книги «Аллилуйя» С. Городецкий увидел в реализме, где, однако, «присутствует химический синтез, сплавливающий явление с поэтом». Это даёт «совсем другую природу всем вещам, которых коснулся поэт... Рождаются впервые... невиданные доселе, но отныне реальные явления. Оттого же нежить всякая у Нарбута так жива...»¹⁸.

Тезис Городецкого о необычайной «живости» нарбутовских образов можно считать определяющим и для дореволюционных(?) сборников поэта. Нарбут последовательно, хотя и с глубоким своеобразием, «шагает дальше», соизмеряя ритм своих стихотворений с биением пульса насущного. Такая установка почти тождественна другой, ещё в 1912 году сформулированной Мандельштамом в качестве «высшей заповеди акмеизма»: «Любите существование вещи больше самой вещи и своё бытие больше самих себя...»¹⁹. И разве не о том же пишет Нарбут:

*Коль солнце есть, – есть ветер, зной и слякоть,
И радуги зелёной полоса.
Так отчего же нам чураться злака,
Не жить, как вепрь, как ястреб, как оса?
(«Очеловеченной душой – медвежий...»)²⁰*

«Химический синтез» с эпохой был оплачен Нарбутом слишком дорогой ценой. Горение в «огненных столбах» революции и гражданской войны отняло у него старшего брата Георгия и младшего Сергея, навсегда разлучило с семьёй, сделало инвалидом, «совершенно не приспособленным» (из последнего письма Нарбута к Серафиме Густавовне Суок – второй жене поэта) к физическому труду²¹. И, однако же, именно этот период – самый плодотворный в поэтическом творчестве Нарбута... Как сообщает библиографическая справка, помещённая в вышедшем в Харькове в 1921 году сборнике поэта «Советская земля», только за два года – 1919 и 1920, появились пять (!) его поэтических книг. «Веретено» вышло в 1919 г., четыре датированы 1920-м: «Красноармейские стихи», «Плоть», «Стихи о войне» и одесский сборник «В огненных столбах». В стихотворении «Совесть» лирический герой в отчаянии вопрошает: «Разве мало мною крови пролито, мало перетуплено ножей?...» Кого он спрашивает? Себя, свою совесть-музу... Помните, у Сквороды: «Открой, аще можешь, бездну сердца твоего...»? И везде в стихах Нарбута «обутленным сердцем» пульсирует это «аще можешь». Жертвенное «превозмогание» как непреложное, единственное условие благосклонности «совести-музы»...

Попытка дать Нарбута-поэта «всего», в развитии разнонаправлено, зачастую диаметрально воплощавшихся исканий, в осуществлении творческой интенции через преодоление, попытку согласования трагически несовместимых полюсов бытия, либо заведомо «отпугивает» исследователя (*нельзя объять необъятное, свести воедино несводимое*), либо обуславливает избирательный принцип исследования: брать субто конкретные проблемные или стиховедческие аспекты его творчества, не актуализируя более общие цели и задачи.

В контексте выше обозначенной проблемы исследования определяющей становится формула Л. Гинзбург, которая указала на «великую несогласуемость» двух главных для русской интеллигенции

XX века «комплексов»: «комплекса модернизма, индивидуализма, элитарной душевной жизни и комплекса народнической традиции и воли к справедливому общественному устройству».²²

Судьба поэзии Нарбута как будто бы коренится в мучительной, точнее, мученической «великой несогласуемости» многих её начал. В первую очередь, начала бытийного. «Сын помещика», потомок древнего казачьего рода и... активнейший участник большевистского строительства. Тонкий лирик, явивший в своём творчестве (цикл «Большевик», книги «Казнённый Серафим» и «Александра Павловна», поздние стихи «Воспоминание о Сочи-Мацесте», «Сердце», «Ты что же камешком бросаешься...»), неподражаемые образцы поэтически воплощённой «элитарной душевной жизни», – и «борец за простоту», в безжалостный период войны литературных группировок 1920-х гг. попытавшийся «маленькие задачки чистого стиходелания» примирить с «широкими целями помощи словом строительству коммуны»²³... Эта несогласуемость, как свидетельствует творческий путь поэта, несла скрытую угрозу самому существованию его в ипостаси поэта.

Последний прижизненный поэтический сборник Нарбута «Александра Павловна» вышел в издательстве «Лирень» в 1922 году. После этого в творческой биографии – одни «неявленные» вехи: подготовленная к печати в 1923 году и так и не увидевшая свет книга «Казнённый Серафим», собранный в 1930-е годы поэтический сборник «Спираль», гранки которого были рассыпаны в типографии, эпизодические публикации образцов «научной поэзии» в литературной периодике и... официальное молчание Нарбута-поэта.

Фоном этого безмолвия стал стремительный карьерный взлёт и ещё более стремительное падение Нарбута – общественного деятеля. Протоколы заседаний Центральной контрольной комиссии ЦК ВКП(б), хранящиеся в Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ), скрупулёзно восстанавливают перипетии безжалостного столкновения на советском литературно-издательском Олимпе 1920-х гг. двух непримиримых конкурентов. Один – Нарбут, «член ВКП (б) с 1917 г., п.б. 1055, из дворян... зав. книжно-журнальным п/отделом отдела печати ЦК ВКП (б)», председатель правления «ЗиФа». Второй – А.К. Воронский, «член ВКП (б) с 1904 г... редактор журнала «Прожектор», «Красная Новь» и председатель «Круга» – объединения писателей»²⁴.

В 1927 году Нарбут обращается в ЦК ВКП(б) с требованием «оградить его от распространяемых т. Воронским, порочащих его сведений о прежней его литературной деятельности (сотрудничал в «Новом времени» и в бульварных изданиях, печатал порнографические произведения и что вообще является некоммунистическим элементом)»²⁵. Ходатайство Нарбута, поначалу частично удовлетворённое, обернулось тем, что 21 сентября 1928 года его исключают из ВКП(б). На этот момент он уже год как смещён с руководящих постов, среди которых: председательство в правлении крупнейшего советского издательства «Земля и фабрика», заведывание подотделом секретариата ЦК ВКП(б), членство в центральном бюро секции работников печати Всеработпроса.

В течение восьми лет Нарбут будет перебиваться случайными заработками, литературной подёнщиной. Всё это время его, убеждённого большевика, будет преследовать клеймо предателя, давшего «в Ростове-на-Дону в 1919 году показания денкинской контрразведке, порочащие партию и недостоинные члена партии»²⁶.

Это восьмилетие во многом задаст векторы для посмертного восприятия поэтического наследия Нарбута, которые станут доминантными в эпоху советского литературоведения, и во многом унаследуются новейшим временем.

В середине 1930-х гг. Нарбут предпринимает последнюю попытку вернуться в большую поэзию. Его стихи появляются в журналах «Новый мир» (№6, 1933), «Молодая гвардия» (№3, 1934), «Красная новь» (№2, 1934; №10, 1935), «Тридцать дней» (№4, 1935). Однако порыв этот, во многом отчаянный, встречает уничтожающая критика. Остракизм Нарбута-поэта принимает изопрённо-иезуитские формы: основным и, главное, «безвариантным» тоном отзывов и упоминаний о нём становится уничижение, как бы объективно выводящее «поэта-маргинала» на периферию и даже за рамки большой литературы.

Показательно, что лейтмотивом в новой волне ругательной риторики по адресу Нарбута становится ещё 1912 годом датированное обвинение поэта в «порнографии», вынудившее его после выхода в свет и изъятия тиража сборника «Аллилуйя»²⁷ бежать от уголовного преследования в Эфиопию.

Отныне его стихи воспринимаются исключительно сквозь призму «перегруженности физиологизмом», «грубого натурализма», «откровенности, доходящей до цинизма» и пр.

Теперь, после знакомства с подробностями партийных разбирательств по делу Нарбута 1927-1928 гг., становится очевидным, что общим местом ставшие ярлыки в рецензиях и статьях 1930-х гг. о «болезненно-сексуальной окрашенности стихов В. Нарбута»²⁸ питают не только токи дореволюционных судебных преследований, но и отголоски формулировок, долетевшие до чуткого слуха критиков из закрытых протоколов ЦК ВКП (б).

Неким «программным» обобщением, квинтэссенцией антинарбутовской литературоведческой кампании, можно считать словарную статью о Нарбута в Литературной энциклопедии, вышедшей под редакцией В.М. Фрише в 1929-1935 гг. Здесь поэт представлен как «сын помещика», воспевавший «все твари божие» вплоть до «погани лохматой», за «фетишизацией предметов» скрывающий «апологию капиталистического строя, характерную для всего творчества акмеистов». Его стихи революционной тематики, по безапелляционному мнению составителей энциклопедии, это «общее славословие рево-



люции, облечённое в выпретенные, евангелические тона», а новые стихи 1930-х гг. характеризуют «перегруженностью физиологизмом, тенденции к подмене социальных явлений биологическими». Отсюда и итоговый приговор: «подлинной мировоззренческой перестройкой Н. не произвёл»²⁹.

«Окончательно и бесповоротно» цементирует пренебрежительное, «периферийное» отношение к его творчеству статья В. Кирпотина «Литература и советский период». «Но раскритиковать Нарбута... не главное, потому что не они самое главное препятствие для сегодняшнего развития советской литературы», — не сдерживая пренебрежения, «переступает» через поэта В. Кирпотин. Из уст «вождя, идеолога, руководящего товарища» (характеристики Г. Адамовича) советской литературной критики 1930-х гг.³⁰ эти слова по поводу «зablудившегося и в нашей поэзии и в действительности интеллигента», «формалиста» Нарбута звучат как констатация уже совершившегося приговора. Остаётся отметить, что литературоведческий «приговор» «прозорливо» выносится незадолго до ареста Нарбута в октябре 1936 года. В такой, весьма двусмысленной зависимости от контекста эпохи во многом будет складываться посмертная судьба творческого наследия Нарбута, будут задаваться тон суждений и колебания амплитуд неблагосклонности по отношению к нему литературной критики.

Книги Нарбута не переиздаются и после его официальной реабилитации — в 1959 г.³¹ Единственный путь приобщения к творческой судьбе поэта — непосредственное знакомство с текстами, вживание, строка за строкой, в «твёрдую породу» (выражение Л. Озерова) нарбутовского стиха — по-прежнему наглухо закрыт для широкого читателя и, вследствие тотальной «раритетности» прижизненных нарбутовских изданий, оказывается крайне затруднён для специалистов.

Начавшие робко появляться после 1959 г. на страницах газет, журналов и монографий упоминания о Нарбутае, немногочисленные попытки научного, литературоведческого осмысления масштаба личности и творчества автора, «вопиющего против гладкописи, против шаблона и общих мест»³², неизменно заслоняла непроглядная «пелена домислов и мифов» по поводу его «таинственной и страшной» судьбы — судьбы «падшего ангела» и «исчадия ада» (В. Катаев). Постепенно «гуман мифологизации» усиливается, сгущаясь под сводом «апокрифических», большей частью к беллетристике относящихся, источников, немало способствовавших созданию искажённо-шаржированного образа Нарбута, которыми до сих пор питаются любители околотитературных легенд и преданий. В этом ряду персонажей имя Нарбута соседствует с Бабичевым из романа Юрия Олеши «Зависть», и даже с булгаковским Воландом.

Все писавшие о Нарбутае так или иначе возвращаются к «зловещему шаржу» на поэта в «Алмазном венце» Катаева, его «колченогому», хотя можно было бы обратить внимание на ещё более карикатурный и в такой же степени недоброжелательный портрет работы Георгия Иванова в «Петербургских знаках»³³.

Созвучие оценок в устах авторов, находящихся подчас на прямо противоположных позициях, только подтверждает тезис о «несогласуемости» Нарбута в контексте того или иного общепринятого знаменателя. «Параллельно и одновременно» схожая двойственность восприятия Нарбута вызрела и в стане литературоведов, что, в частности, было прозорливо подмечено Львом Озеровым. С одной стороны, как подчеркивает исследователь, «историки и теоретики литературы (от Виктора Шкловского до Владимира Орлова) всегда высказывали недоумение по поводу замалчивания жизни, личности, дела Владимира Нарбута». Но в то же время, как замечает Озеров, «заодно с беллетристами подтрунивали над Владимиром Нарбутом литературоведы»³⁴. Весьма красноречивая характеристика уровня научного интереса к творчеству поэта, наглядно демонстрирующая следование логике: если не получается «объяснить», следует воспринять у критиков 1930-х гг. «эстафету пренебрежения».

Первое после гибели поэта развернутое о нём упоминание в книге воспоминаний К. Зелинского приходится на 1959 год — год реабилитации Нарбута. Констатация, с которой мемуарист начинает свой разговор о поэте, удручающа: «ныне уже позабытый»³⁵.

В 1964 году, в книге «Максим Горький и советская печать», вышедшей в серии «Архив Горького», целый раздел отведён переписке Горького и Нарбута. В предвещающей письма биографической справке даны ипостаси Нарбута: творческая («до Октябрьской революции принадлежал к группе акмеистов. После революции выступал со стихами, приветствующими советский строй») и общественная («... вступил в Коммунистическую партию и некоторое время принимал активное участие в работе отдела печати ЦК РКП (б)... руководил издательством «Земля и фабрика» («ЗиФ»)»³⁶). Датировка ключевых вех биографии Нарбута дана в преамбуле совершенно произвольно: годом смерти поэта назван 1946-й, годом вступления в партию — 1921-й. Вместе с тем, опубликованное в разделе письмо Нарбута Горькому от 7 августа 1925 г., и ответ Горького из Сорренто от 17 августа 1925 г. в полной мере раскрывают масштаб личности Нарбута-издателя, наглядно иллюстрируя эпистолярную формулу Серафимовича о нём как о «собирателе литературы земли Союзной», а также воспоминания работника отдела печати ЦК ВКП (б) А. Аршаруни о Нарбутае как о руководителе «принципиальном и сведущем в делах не только поэзии, но и литературы вообще»³⁷. Публикация эпистолярной подборки в серии «Архив Горького» ценна также данной в преамбуле ссылкой на статью Нарбута «Читатель хочет романтизма», опубликованную в №10 «Журналиста» за 1925 год. По сути, это отсылка к целому пласту не изученной нарбутовской публицистики, разрабатывавшей насущные вопросы развития литературного процесса. На протяжении 1920-1930-х гг. статьи Нарбута регулярно выходили на страницах «Журналиста» — журнала теории и практики печати, органа Центрального и Московского бюро секции работников печати.

Минует ещё два года, прежде чем М. Зенкевич скажет своё слово о Нарбуте-поэте. Публикацию знаменитого нарбутовского стихотворения «Россия» в альманахе «День поэзии» за 1967 год предварит краткая биографическая заметка Зенкевича. Одним из ключевых в судьбе Нарбута с точки зрения Зенкевича является эпизод с отказом от поэзии. Автор заметки акцентирует на этом читательское внимание: «В 1921 году Нарбут бросил писать стихи. В стихах тех лет я написал по поводу такого отречения «Отходную из стихов» с заключительной строфой:

*Свершу самоубийство, если я
На миг поверю, что с тобой
Расстаться можно так, поэзия,
Как сделал Нарбут и Рембо!»³⁸*

Из заметки Зенкевича следует, что последним сборником, выпущенным самим Нарбутом, является изданная в Харькове в 1921 году «Советская земля», «куда вошли лучшие его стихи о революции». Однако, именно после 1921 года творчество поэта достигает своей вершины: он создаёт и выпускает в свет поэтическую книгу «Александра Павловна» – «сборник лирических импровизаций, властных и предельно свободных» (по определению Р. Тименчика)³⁹. Следом, в 1923 году, Нарбут готовит к печати поэтическую книгу «Казнённый Серафим», в не меньшей степени исполненную «предельной свободы», лиризма и мастерства. Остаётся лишь догадываться, сознательно ли близкий друг Нарбута не упомянул об «Александре Павловне» и «Казнённом Серафиме».

В 1983 году, в Париже вышла книга «Владимир Нарбут. Избранные стихи», снабжённая предисловием и комментариями Леонида Черткова, спустя шестьдесят лет после последнего прижизненного издания нарбутовской книги «Александра Павловна». Рукопись первого отдельного посмертного издания произведений поэта была подготовлена Леонидом Чертковым к печати ещё в 1964 году, при самом активном участии В.Б. Шкловского и ближайшего друга Нарбута, акмеиста М. А. Зенкевича⁴⁰. Впрочем, выход сборника не спровоцировал возобновления в литературе русского зарубежья устойчивого интереса к творчеству Нарбута. Таким образом, формула Д. Кленовского о Нарбуте, данная им в журнале «Грани»⁴¹ ещё в 1954 г. – «казнённые молчанием» – и за рубежом оправдывала себя в полной мере.

В СССР, в 1990 году, через семь лет после парижского издания, на волне «возвращённой» литературы, большим тиражом выходит сборник Нарбута. Эта книга, подготовленная в издательстве «Современник», снабжённая большим предисловием и комментарием, стала первым наиболее полным собранием стихотворений поэта, увидевшим свет на его родине. Казалось бы, вернувшись из небытия к широкому читателю, неповторимый художественный мир одного из самых ярких поэтических новаторов XX века станет объектом пристального внимания исследователей и читателей. Ведь именно так настигла волна признания друзей Нарбута – Гумилёва, Мандельштама, Ахматову. . .

С поэзией Нарбута этого, однако, не случилось. С 1990 года стихи его отдельной книгой больше не издавались. Параллельно с выходом сборника в СССР, в нью-йоркском «Новом журнале» появилась подборка Нарбута «Стихотворения: монастырские песни»⁴². Ранние произведения Нарбута 1911-1913 гг. а также предпосланная подборке статья подготовившего публикацию И. Померанцева⁴³ не только акцентировали внимание на практически не изученный пласт лирики поэта, но впервые предпринимали попытку выбрать качественно иной, «духовный» ракурс изучения творчества поэта. Данная попытка обращения к проблеме стиля поэта, зарождения корневых черт его художественного мира (воплощение которого неотделимо от мучительного духовного поиска, осуществления «вочеловечения») тем ценнее, что возникла она в пике «заговору небрежения» в отношении Нарбута на Родине. Здесь поэт по-прежнему воспринимался сквозь призму «скандальной репутации»⁴⁴ и «вызывающего антиэстетизма»⁴⁵ (М. Гаспаров).

В конце 1980 – начале 2000 гг., в преддверии и на волне публикации сборника Нарбута, появились книги воспоминаний – Н. Мандельштам⁴⁶, Э. Герштейн⁴⁷, В. Шаламова⁴⁸, С. Липкина⁴⁹, где имя поэта упоминается достаточно часто (по крайней мере, в сопоставлении с предыдущими десятилетиями). В качестве фона воссоздаваемого мемуаристами портрета Нарбута проступает скрытая полемика с «Алмазным венцом» Катаева, поэтому тон объективности, который, как правило, наблюдается в подаче материала о нём, зачастую становится нарочитым. Например, в мемуарах Н. Мандельштам: «Я любила Нарбута <...> По призванию он был издателем, – зажимистым, лукавым, коммерческим. Ему доставляло удовольствие выторговывать гроши из авторского гонорара, составлявшего в двадцатые годы, когда он управлял издательством, совершенно ничтожный процент в калькуляции книги. Это была его хохлацкая хохма, которая веселила его душу даже через много лет после падения».⁵⁰

Не придуманная, неискусственная, «дыханием почвы и судьбы» обусловленная, кровная связь со своим временем («суровой пристёгнутой ниткой»), провиденциальные предощущения «мудрой жертвы» наполняют поэзию Нарбута трагедийным звучанием, неизбывным фоном экзистенциального отчаяния наделяют наследие автора «Аллилуйи», «Глотти», «Советской земли», «Александры Павловны» и «Казнённого Серафима» чертами глубокого своеобразия, выделяя его и в первом ряду русских поэтов XX века.

Мировоззренческие искания, открытия Нарбута в области формы и содержания наглядно отрази-



ли стремление «постсимволистов» – акмеистов и представителей других направлений «нового искусства», – выйти за круг идейно-эстетических ценностей, очерченный символизмом. И современники Нарбута, и современные исследователи наследия поэта справедливо отмечают «совершенно особое место» его стиля в историко-литературном контексте становления литературных школ и направлений русской поэзии первой трети XX века. Творческая интенция автора «быто-эпоса» являла глубокое отличие, с одной стороны, развивая векторы мировоззренческих и эстетических открытий символизма, восходящих, прежде всего, к Анненскому, Брюсову, Блоку и Белому, с другой стороны, зримо обозначала в акмеизме «натуро-реалистическую» линию, питающуюся токами русской и украинской прозы, наследием Гоголя, Сквороды, Льва Толстого. Эта, «левофланговая», «виевская» (по определению самого поэта) линия культивировалась в рамках авторской идейно-эстетической программы, вырабатывавшейся в лоне теснейшего родового взаимодействия лирики и эпоса, парадоксальным образом находя в современной Нарбуту литературе созвучие и в творчестве «синдика» «Цеха поэтов» Городецкого, и «традиционалиста» Бунина, и в формально-эстетических исканиях футуристов. Сопричастность нарбутовских воззрений и их поэтического воплощения руслу русского поэтического авангарда становится настолько тесной, что автор «Аллилуйи» попадает в ряд той самой «инженерной литературы», которую футуристы используют, как «каркас», «зёрна» для своего творчества. Такова, в частности, достаточно наглядная, Н. Богомоловым проиллюстрированная, ситуация со стихотворением «Нежить» из нарбутовского сборника «Аллилуйя», звуковая ткань которого становится основой, квинтэссенцией для создания «заумного» «Дыр бул щыл...» Кручёных.

Весьма актуальна проблема поэтической переклички идейно-эстетической системы художественного мира Нарбута с творчеством поэтов-современников, как близких к «акмеистическому» кругу (Мандельштам, М. Зенкевич, Г. Иванов), так и футуристов (Хлебников, Кручёных, Маяковский, ранний Пастернак), а также с поэзией Есенина (тема Махно и «мужичьего бунта» в творчестве обоих поэтов, идейно-тематическое созвучие поэм «Анна Снегина» и «Александра Павловна»), Заболоцкого и «обэриутов» (линия «Капитана Лебядкина» в русской поэзии, заданная нарбутовским эпиграфом к поэме «Александра Павловна» и подхваченная «обэриутами»). Вопрос о творческих влияниях в контексте идейно-эстетических исканий Нарбута выходит за рамки отечественной литературы, вбирая в поле пристального внимания и наследие «проклятых поэтов» и, в первую очередь, поэзию Бодлера и Рембо, и поэтику немецких экспрессионистов и, прежде всего, автора сборников «Морг» и «Плоть» Готфрида Бенна. В свете этих сопоставлений продуктивной видится разработка проблемы подспудного экспрессионизма, выработанного в творчестве Нарбута в период его увлечения «быто-эпосом». Открытия в области формы и содержания, сделанные автором «Аллилуйи», «Плоти», «Александры Павловны», воспринятые современниками и последующими поколениями литературоведов сквозь призму «эстетики безобразного» и «воинствующего антиэстетизма», в действительности, позволяют говорить о переоценке поэтического творчества Нарбута как уникального явления русского поэтического экспрессионизма.

Подлинные открытия в биографическом направлении «потенциального нарбутоведения» стоит отнести на счёт архивных исследований историка А.М. Бирюкова. Основанные на работе с документальными первоисточниками, эти изыскания прояснили детали последнего, «колымского» этапа в трагической жизни Нарбута, отчасти известного по сохранившимся в архиве В.Б. Шкловского письмам Нарбута из заключения к супруге⁵¹. Опубликованный А. Бирюковым протокол последнего допроса поэта «о/у 4-го отделения УГБ УНКВД по ДС сержантом ГБ Моховым» в «карперпункте №2» Магадана 4 апреля 1938 г. и выдержки из других документов проливают свет на тайну гибели поэта, вокруг которой бытует несколько версий. Нарбута расстреляли 14 апреля 1938 года, в день его пятидесятилетия, в рамках исполнения на Колыме «ежовского» приказа №00447⁵².

В 1936 году в издательстве «Советский писатель» под редакцией Нарбута выходит альманах памяти Эдуарда Багрицкого. Вскоре, 26 октября 1936-го, он будет арестован по доносу, в составе группы «украинских националистов – литературных работников» и осуждён постановлением Особого совещания НКВД СССР на пять лет за т.н. «КРД» – контрреволюционную деятельность. Поэта отправят в Магадан, где после полутора лет нечеловеческих мучений он погибнет. Таким образом, работу над альманахом памяти Багрицкого – младшего товарища по одесскому времени, а затем по Москве – можно считать последним литературным трудом Нарбута, а несколько слов «От редактора», открывающих книгу – последним фактом его прямого обращения к читателю. «Заглавные» ноты в этом обращении – слова «романтизм» и «понятность». «Особый интерес – в смысле изучения литературного наследия Багрицкого – представляет поэма «Сказание о море, моряках и Летучем Голландце», – пишет Нарбут. И далее цитирует стенограмму заседания «Седьмого литературного интимника» из «Одесских известий» от 4 марта 1923 года: «Значительнейшей частью программы явилась новая поэма Э. Багрицкого “Сказание о море, моряках и Летучем Голландце”. Затронутый автором в его выступлении вопрос – “Нужна ли пролетариату моя поэма или нет?” – решён положительно в результате пылкой дискуссии...»⁵³.

Вопрос был поставлен Багрицким в стихотворной форме, и Нарбут полностью воспроизводит девятистрочное стихотворение собрата, ради которого, надо думать, и было написано обращение:

*От пролеткультовских раздоров
(Не понимающих мечты),
От праздных рифм и разговоров
Меня, романтика, умчи!
Я чересчур предался грубым,
Непоэтическим делам, –
Кружась, как мудрый кот под дубом,
Цепь волочил я по камням <...>
Довольно! Или не бродячий
Мне послан Господом удел?
И хлеб, сверкающий, горячий,
В печи не для меня созрел? <...>
Пусть, важной мудростью объятый,
Решит внимающий совет:
Нужна ли пролетариату
Моя поэма – или нет? ⁵⁴*

Очевидно, что сверхсжатое смысловое пространство короткого, двухстраничного текста Нарбут использует для того, чтобы поэтическим голосом Багрицкого выразить и нечто своё, сокровенное. Можно воспринимать эти строки одновременно и как покаяние, и как завещание.

В одном из последних своих писем к жене из магаданского лагеря «Дальстрой» Нарбут признаётся: «... Как это ни странно, тут возникло много лирического подъёма. <...> Объясняю это колоссальными душевными переживаниями, испытанными мной. <...> Лишь бы разрешили только мне писать здесь стихи, – не писать будет, убеждён теперь, для меня мучительно <...> может, и нужно было это потрясение, чтобы вернуть меня к стихам...»⁵⁵. И тут же поэт приводит начало одного из своих «тюремных стихотворений», которые «сложились» у него в голове:

*... И тебе не надоело, муза,
Лодырничать, кланчить, поводырничать,
Ждать, когда, сутулый, подымусь я,
Как тому назад годов четырнадцать...*

Строфу «И тебе не надоело, муза...» (вполне подтверждающую, что ситуация с «отказом от поэзии» Нарбута в начале 1920-х гг. не была «внешним» измышлением собратьев по перу и ценителей его творчества, а внутренне принималась и признавалась самим поэтом), а также эпистолярное признание Нарбута можно расценивать как итог сложного, противоречивого стиливого поиска. К трагической черте своего жизненного пути поэт подошёл незамутнённым лириком, предпринявшим попытку максимально «очистить» стихи от прозы и быта, сбросить ради романтики пути «непоэтических дел».

Так, на «лирическом подъёме», на полуслове оборвавшегося, задушевного разговора с собственной музой, окончился исполненный трагизма и творчества жизненный путь Владимира Нарбута.

Примечания:

¹ Владимир Нарбут. Плоть. Быто-эпос. Одесса, с. 3.

² Владимир Нарбут. Александра Павловна. Харьков, «Лирень», 1922, с. 21.

³ См.: Глуховский вестник. 1918, №2. См. также: воспоминания внучки поэта Т.Р. Романовой в кн.: Владимир Нарбут. Стихотворения. М., 1990, с. 27.

⁴ «Вечернее время», № 382, Ростов, 1919, 9 окт., с. 3.

⁵ Письмо А.С. Серафимовича Нарбуту, 23 декабря 1927 г. Отдел рукописей ИМЛИ, ф. 57, оп. 1, № 32.

⁶ Владимир Нарбут. Плоть. Одесса, 1920, с. 3.

⁷ К. Зелинский. На рубеже двух эпох: Литературные встречи. 1917-1920. М., 1962, с.17.

⁸ «Театр, литература, музыка, балет, графика, живопись, кино». №7, Харьков, 1922, с.4.

⁹ Александр Блок. Стихотворения. Поэмы. Театр. М., 1968, с.645.

¹⁰ Там же, с. 4.

¹¹ Владимир Нарбут. Стихотворения. М., 1990, с. 363.

¹² Владимир Нарбут. Советская земля. Харьков, 1921, с. 15-16.

¹³ Владимир Нарбут. Стихотворения. М., 1990, с. 151.

¹⁴ Письмо Нарбута Михаилу Зенкевичу, 1913-1914 гг. – «Арион», 1995, №3, с. 47.

¹⁵ Философский энциклопедический словарь. М., 1983, с. 800.

¹⁶ Бурлюк Д. Энтелехизм: Теория, критика, стихи, картины. 1907-1930. Нью-Йорк, 1930.

¹⁷ Владимир Нарбут. Плоть. Одесса, 1920, с. 15.

¹⁸ С. Городецкий. Некоторые течения в современной русской поэзии. – В кн.: «Литературные манифесты от символизма до наших дней». М., 2000, с. 127-128.

¹⁹ О. Мандельштам. Утро акмеизма. – В кн.: «Литературные манифесты от символизма до наших дней». М., 2000, с. 134.



- ²⁰ Владимир Нарбут. Плоть. Одесса, 1920, с. 3.
- ²¹ Владимир Нарбут. Стихотворения. «Современник», М., 1990, с.380.
- ²² Л. Гинзбург. В поисках тождества. — «Советская культура», 1988, 12 ноября.
- ²³ Владимир Маяковский. Полное собрание соч. в 13 т. М., 1959, т 12, с. 63.
- ²⁴ Постановление секретариата ЦКК ВКП (б) от 25.07.1927, пр. №129. РГАСПИ, ф. 613, оп. 1, д. 70, л. 81.
- ²⁵ Там же.
- ²⁶ Из протокола заседания партколлегии Центральной контрольной комиссии ВКП (б) от 21.09.1928, № 41, п. 2. РГАСПИ, ф. 613, оп. 1, д. 85, л. 170.
- ²⁷ Приговор Петербургского окружного суда от 18 сентября 1912 об уничтожении книги «Аллилуйя». РГИА, ф. 777, оп. 18, д. 68, л. 7.
- ²⁸ А. Селивановский. Эдуард Багрицкий. // «Новый мир», 1933, №6, стр. 211.
- ²⁹ Литературная энциклопедия. Т. 5. Отв. ред В.М. Фрише, М., 1929-1935., с. 587-588.
- ³⁰ В. Кирпотин. Литература и советский период.// «Октябрь», 1936, №6, с. 214. См. отзыв Г. Адамовича о В.Я. Кирпотине, датированный 1932-м г.: «На его мнения все ориентируются. К его словам прислушиваются. . . Несомненно, теперь начался «кирпотинский период» советской словесности». — В кн.: Г. Адамович. Литературные заметки. Кн.2. СПб, 2007, с. 439.
- ³¹ См. посмертную выборку: Нарбут Владимир Иванович, 1888 г.р., место рождения: Украина, русский, место жительства: Москва, арестован в 1936 г., осудивший орган: Тройка УНКВД по ДС, осужден 07.04.1938, статья: контрреволюционная агитация, расстрелян 14.04.1938, реабилитирован 19.10.1956. — В кн.: За нами придут корабли: Список реабилитированных лиц, смертные приговоры в отношении которых приведены в исполнение на территории Магаданской области. Магадан, 1999.
- ³² Л. Озеров. О Владимире Нарбуте. // «Простор», №3, 1988.
- ³³ «Соотнесённость» этих двух столь разных карикатурных «портретов» отметил В. Беспрозванный в работе «Нарбут в восприятии современников». // «Новое литературное обозрение», №72, 2005.
- ³⁴ Л. Озеров. О Владимире Нарбуте. // «Простор», №3, 1988, с. ?.
- ³⁵ Корнелий Зелинский. На рубеже двух эпох. Литературные встречи 1917-1920 гг. М., 1959, с. 18.
- ³⁶ Горький-Нарбут. — В кн.: М. Горький и советская печать. Кн.1. М., 1964. с. 60.
- ³⁷ Л. Берловская. Владимир Нарбут в Одессе. — Русская литература. №3, 1982, с. 201.
- ³⁸ Владимир Нарбут. // «День поэзии», 1967, с. 226.
- ³⁹ Русские писатели. 1800-1917. Т. 4, М., 1989, С. 229.
- ⁴⁰ Л. А. Озеров. Михаил Зенкевич: тайна молчания. — В кн.: Зенкевич М. А. Сказочная эра: Стихотворения. Повесть. Беллетристические мемуары. М., 1994, с.?
- ⁴¹ «Грани», 1954, №23, с. 108.
- ⁴² «Новый журнал». Нью-Йорк, кн. 212, 1990.
- ⁴³ И. Померанцев. Духовная поэзия Нарбута. — Там же, с. 106-108.
- ⁴⁴ Об этом: А. Миронов. Духовные стихи Владимира Нарбута. — «Известия Уральского государственного университета», № 49, 2007, 232-241.
- ⁴⁵ М. Гаспаров. Избранные статьи. М. 1995, с. 332.
- ⁴⁶ Н. Мандельштам. Воспоминания. М., 1989.; Н. Мандельштам. Вторая книга. Воспоминания. М., 2001.
- ⁴⁷ Э. Герштейн. Мемуары. СПб., 1998.
- ⁴⁸ В.Т. Шаламов. Воспоминания. М., 2001.
- ⁴⁹ С. Липкин. В Овражном переулке и на Тверском бульваре. — «Новый мир», №2, 1994. См. также: С. Липкин. Квадрига. М., 1997.
- ⁵⁰ Н. Мандельштам Вторая книга. Воспоминания. М., 2001. С. 40.
- ⁵¹ См.: Владимир Нарбут. Стихотворения. М., 1990.
- ⁵² А.М. Бирюков. За нами придут корабли: Список реабилитированных лиц, смертные приговоры в отношении которых приведены в исполнение на территории Магаданской области. Магадан, 1999.
- ⁵³ Эдуард Багрицкий: Альманах/ Под ред. Влад. Нарбута. — М.: Советский писатель, 1936. — С. 47.
- ⁵⁴ Там же. — С. 47-48
- ⁵⁵ Владимир Нарбут. Стихотворения. — М.: Современник, 1990. — С. 374.

«ШКАФ»

От редакции: Предлагаем вниманию читателя самый «одесский» отрывок из книги Александра Люсого, основоположника теории крымского текста в русской культуре, создателя текстологической концепции культуры (как суммы и системы локальных текстов), посвящённый творчеству «одесского Борхеса» Александра Айзенберга.

АЛЕКСАНДР ЛЮСЫЙ

МЕДИЙНЫЙ БОРХЕС С НЕЗАРЖАВЕВШЕЙ ШАШКОЙ БАБЕЛЯ нероническая «скорая помощь» от Александра Айзенберга

*Недостатка в мыслях не было. Наоборот. Их было слишком много. Как волн в море.
Александр Айзенберг. Impetium*

Творчество современного одесского писателя Александра Айзенберга в российской словесности уникально. С одной, «исторической», стороны, какие-то параллели проводятся с «лженеронической» прозой Леона Фейхтвангера («Лженерон») и Торнтона Уайлдера («Мартовские иды»), с другой, текущей, властно-вертикальной, – с вечной «Осенью патриарха» Габриеля Гарсиа Маркеса. О других параллелях – ниже, по ходу дела.

Легендарный Ромул размышляет о добре и зле как основных материалах госстроительства. «В грязи руки... В глине... Тяжёлые кирпичи... Кирпич на кирпич... В грязи лицо строителя... Без оружия – ведь пришёл строить – вот земля и вот вода... И люди стоят и смотрят... Видят они... И второй... Он такой же, как первый... Но лицо его чистое, не запачканы в глине руки – нет на нём грязи. И острый меч за его поясом... Он смеётся! Никто не слышит, что говорит он, но смеётся он и показывает рукой на грязь... на кирпичи... на запачканное лицо... Прыгает он... перепрыгивает легко через стену... через три ряда кирпичей... И видят это люди, смотрят они... Падает меч со звоном из-за его пояса... Поднимает его тот, что строил, что в грязи... Берёт он брата левой рукой за горло, и вгоняет лезвие меча ему под ребро. Падает Рем на землю и в грязи его руки и лицо, как у брата, стоящего над ним с мечом в руках, как если бы он стоял над водами Тибра, так похожи они друг на друга, измазанные кровью и грязью, но меч только у Ромула. Смотрят люди и видят...

Кладёт царь мокрый от крови меч в стену своего Города; месит глину он – в крови и грязи лицо его, руки его, стены Города его...

Бессильны добро и зло друг перед другом... Сами по себе... Слабы... Я соединил добро и зло... Я слил их воедино... Я – Rex Romul!

Я – царь Рима! Я смог это!... Я создал Вечный

город, замешанный на крови и грязи, кирпичи которого – добро и зло...»¹. В противоположность формулы библейского замеса – Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова – и т.д., формула римской истории (да и истории всех последующих «Римов») – Ромул убил Рема (и т.д.).

Вот сцена из компендуима исторических логограмм «Impetium», которая одновременно превращается в автопрезентацию авторского видения: «Август Запада (в данном случае римский император Максимиан. – А.Л.) наблюдал из-за стены, через потайной глазок, сделанный в изображении обнажённой египетской танцовщицы, за своим гонцом. Военный трибун Прокул тряс ногой и смотрел в зеркало, любуясь собой»². Тонкими штрихами точных деталей, воспроизводимых тройной призмой подглядывания за императором-подглядывателем, наблюдающим за своим бесхитрым и ревнивым служакой, автор воспроизводит экспозицию внутреннего, вмещающего судьбу, диалога этого императора с однажды поделившимся с ним властью Диоклетианом, тем самым, что затем совсем добровольно отказался от власти в пользу выращивания овощей. «На руках бывшего августа расплылись пятна веснушек... По коричневым, сухим мозолям ладоней перекатывалась круглая с хвостиком луковица... Он сам её вырастил... Ему было приятно ощущение золотого шёлка лука...».

Быстро проносится перед глазами вся жизнь, и Максимиан с досадой бьёт кулаком прямо по потайному глазку, так, что трибун с грохотом вскакивает, хватается за меч и в проломе стены видит... своего императора.

А вот Вителлий, недолго правивший в смутный «год четырёх императоров» (69-й н. э.), успевший, однако, за недолгие месяцы правления накануне своего убийства, впасть в странный властный паралич, со спокойной улыбкой задумываясь, о том, как бы его описал со стороны беспри-



страстный наблюдатель. Затянувшийся пир, прерываемый насильственной очисткой переполненного желудка, вгоняет в тяжёлый сон с беспрепятственным кружением какого-то разноцветного колеса (не однозначно красного или жёлтого).

Автор определяет жанр всех своих вышедших одна за другой трех книг – «Imperium», «Страсти» и «Узурпаторь» – как «голографические импровизации», и это носит едва ли не буквальный характер. Голография, как известно, это способ достижения особого типа трёхмерного изображения, проецируемого лучом чистого лазерного света. Этот луч проходит сквозь призму, которая затем делит его на две отдельные ветви. Одна из них, рабочий луч, нацелена на фотографируемый объект, в результате чего объект отражается обратно на фотографическую пластину или плёнку. Другая ветвь луча, т.н. относительный луч, нацелена непосредственно на фотографическую пластину. Места встречи лучей (паттерны препятствия) записываются на плёнке, сохраняющей трёхмерное изображение голограммы. В результате чередования тёмных и светлых полос или пятен, возникающих в ходе взаимодействия сигнальной и опорной волн лазера, возникает так называемая интерференционная картина³, включающая полную информацию об амплитуде и фазе сигнальной волны, то есть об объекте. Примерно то же делает Айзенберг в сфере словесного творчества. Дискретная структура фотоэмульсий приводит к тому, что на голограмме записывается не непрерывное распределение яркости интерференционной картины, а лишь её «отрывки», поскольку при просвечивании голограммы свет рассеивается на проявленных зёрнах. Разве не такое же впечатление производит приведённый вначале монолог Ромула?

Голография как метод вышла за рамки физических визуальных экспериментов, найдя применение и в медицине. Ведь и человеческий организм можно рассматривать как некую голографическую систему, внутри которой всё взаимосвязано. Даже если различные части мозга повреждены или же удалены хирургическим вмешательством, память может по-прежнему оставаться нетронутой, что свидетельствует о том, что в мозге не существует каких-либо специфических физических мест памяти. Т. е. мозг работает разными способами, как голограмма, а память может храниться везде, подобно тому, как голографические изображения сохраняются на фотографической пластине.

Таким образом, Айзенберг пытается восстановить наши нарушения социальной памяти путём приближения истории к современному, прошедшему через шок амнезии, человеку. Проникая в глубь времён и поверх пространств в духе булгаковского Мессира, но без мистических превращений, он наглядно демонстрирует, что человеческая природа изменилась мало. И здесь самое время обременить читателя ещё одним, ставшим весьма популярным в разных сферах, до эстрады включительно, научным термином. Речь

идёт о *фрактале* как идеальном процессуальном языке. «Алгоритмы, – утверждает автор оригинальной концепции семиотики Владислав Тарасенко, – бывают конечными и бесконечными. Идеальный фрактал – это бесконечный алгоритм, реализующийся на бесконечном количестве масштабов природы»⁴. Но проза Айзенберга подсказывает, что не только масштабов природы, но и истории. Философ-синергетик Владимир Аршинов, на которого ссылается Тарасенко, обсуждая лазерно-голографическую парадигму, говорит о подготовке сложных систем к восприятию и познанию. Автору в таких случаях «важно не переживать свои семантические состояния, а моделировать, предвосхищать и выражать семантические состояния читателя, подливая масла в огонь читательского интереса»⁵. Таким образом, и историю как таковую можно представить как поэтику предвосхищения.

«День был жаркий. В Помпее шла избирательная компания. Борьба развернулась в основном между Клавдием и Марком Церринием Ватнией. Должность эдила! Это не шуточки: полиция и снабжение города. Здесь нужен солидный человек. В принципе, граждане Помпей ничего не имели против остальных кандидатов: одним энтузиастом больше, одним меньше... Дело хозяйское: пожалуйте, но что из этого? Ну, Везоний Прим голосует за Гнея Гельвия, как за достойного человека. Ну, и все понимают, что они оба большие на голову, этого у них не отнять, но это же их проблемы.

– А зачем нам чужие проблемы? – говорил своей команде Клавдий. Клавдий был популярен. Он мог даже при всех похлопать по плечу хлебопёка Требия. Потом вытирал руки и говорил: «И ничего в этом нет особенного. Со мной можно просто. Я – демократ». И шёпотом для своих добавлял: «Это на греческом»⁶. Показательная оговорка – что «на греческом», подразумевающая, что греческая по происхождению политическая терминология достаточно точно отражает основополагающие «сквозные» смыслы и на других языках. Порой герои, для пушечей, пробуждающей от исторического сна встряски читателя, неожиданно переходят на украинский язык, с узнаваемыми одесскими интонациями. Особенно часто это происходит в книге «Узурпаторь»:

«Марк Церриний Ватия не был демократом. Не было у него таких предков, как у Клавдия, и он не мог позволить себе роскоши не быть аристократом, и поэтому Марк не хлопал по плечу хлебопёка Требия.

Если он говорил речь, в ней неизменно присутствовали следующие обороты: «великий римский народ», «на нас лежит великая миссия защиты порядка во всем мире», «это сфера наших интересов, и мы никому не позволим их нарушать», «римские боги – лучшие боги в мире – стопроцентные римские боги» – и при этом у него выступали слёзы на глазах, надрывы в голосе были не хуже, чем у Эвопа в роли Ясона, когда он объясняет Медее, почему он должен с ней развестись и как ей от этого будет хорошо».

Римская жизнь эпохи расцвета – непрерывное цирковое зрелище, разыгрываемое на потребу толпы, в зрительской власти которой оказывается и попытавшийся было тоже выйти из игры император. *«Толпа требовала, чтоб этот человек отказался. Отказался, от мысли стать частным лицом. Они – эти люди – напоминали зрителей в цирке. Удары мечей, рык бойцов, глухой удар тела о песок арены, чёрная запёкшаяся кровь на колене трупа, откатившегося в сторону – и внезапно для всех гладиатор, на которого столько поставили – столько денег! – весь интерес – поднимает вверх руку: всё останавливается, а он растётывает доспехи и говорит, что не хочет рисковать своим здоровьем, а хочет... Ему хочется погулять по берегу Тибра, забыть обо всём... Дудки! Играй до конца! Билеты никто не вернёт, а деньги уплачены. Играй до конца, тебе говорят!!!»⁷.*

Впрочем, главным субъектом зрелища оказывается само зрелище, правила ему не может диктовать и по-своему впадая в зависимость от него толпа, однажды приняв решение даровать свободу победившемуся гладиатору. Какова же оказалась реакция счастливица? *«Фламма налился кровью, замахал руками, выронил щит, он кричал так, что только чудом не лопались жилы... Он не мог перекричать цирк, но квинты хотели услышать, как их благодарят. Гул стал стихать... Ещё тише... Ещё...»*

И они услышали вопль багрового от натуги гладиатора:

– Вы что, рехнулись?!!!

Я зарабатываю больше любого из вас!... Я могу иметь любую женщину, которую захочу!... Я живу на вилле!... В мою честь пьёт вся империя!... Оставить арену?!... Что вы бредите?!!!!...»

И восхищённый промазавший цирк завыл:

– Ура, Фламме! Ура Флакку! Ура-а!! Ура!!!»⁸.

Зрелище дезориентировало Орфея, потерявшего дар усмирять свирепых хищников цирка, которые разодрали его на части. Колизей ревел, восхищённый сам собою.

Порой зрелище всё же выплескивалось за дисциплинарные рамки Колизея. *«Шла гражданская война. Не было ни власти, ни законов. Свирепость насыщалась кровью, а затем обращалась в корыстолюбие. Смерть отобрала слабых претендентов на императорство: Нерона, Гальбу и Отона. Остались двое: Авл Вителлий (Его поддерживали германские легионы) и Тит Флавий Веспасиан (Заним были Иудея с Сирией). Решалась судьба империи, всего Римского мира, ойкумены.»*

Провинции содрогались от грохота оружия, поступи легионов, передвижения флотов...

Лучшая армия мира была сама себя... Разали друг друга всё более ожесточённо – в гражданской войне не берут пленных»⁹.

Лишь современные технологии, уровень развития которых позволил французскому философу Жану Бодрийяру выразить сомнение в реальности «войны в Заливе», оказались способны превратить весь мир в огромный Колизей. Об этом говорят перебивающие исторические сцены «Imperium'a» компьютерные игры. *«Боже мой,*

как я устала... Я уже устала... Сынок – наркоман... Жалко эту девочку. Жалко... Такая же дура, как я. Он ещё в игрушки играет... Может, и я поиграю? А что? Почему нет? Один раз...»¹⁰.

Вполне в духе внутренних борений Алиппия, пытавшегося с закрытыми глазами запретить своему духу отдаваться греховному безобразию, но оказавшегося всё же сражённым любопытством. *«И тогда душе его была нанесена более глубокая рана, чем телу того, на кого он хотел взглянуть, и он пал ниже, чем тот, падение которого вызвало этот вой. И не только кровь... нет... нет, он был уже не тот, каким был, когда пришёл сюда; он стал одним из толпы, с которой смешался, он стал истинным товарищем тех, кто пригласил его сюда... Он сумел. Я завидую ему? Он слился с людьми. Да, нет – с толпой... с людьми... Это – безумие. Нет, он с людьми... Страшный мир – подальше от него... Пустыня... Это – рай??... Господи, как же... Он смотрел, кричал, пытал, оттуда он взял с собой заразившее его безумие, он приходил вновь и вновь и не только вместе с теми, кто когда-то привёл его сюда, но и раньше их, увлекая других за собой»¹¹.*

Книга «Узурпаторы» составлена с опорой на жанр телешоу, открываясь дуэлью между стремящимися оправдаться перед зрителями английским королем Ричардом III и византийским императором Андроником.

«Ведущий. Кто сомневается? Что плохого могли бы сказать в Украине о "своём" императоре?»

Ричард. А при чём тут Украина? Где это?»

Андроник. Это – чудесная страна. В ней живут красивые женщины; вареники сами запрыгивают в сметану, а потом – уже в сметане – в рот!»¹².

А кого напоминает Нерон, сквозной героиней всех трех книг? *«...Наша семья – самая семья в Риме...»* (не забыл, читатель?).

Игровые проблемы обычной неполной семьи. *«– Я узнала. Все эти "Римы", "Чингиз-ханы", "Тысячи ночей" – это хуже ЛСД. Таких теперь много. Наркоманы-проки.»*

– Да. Всё делают, чтобы люди чем-то могли забить голову. Вот сволочи! Игрушки придумали. Надо его всё же оторвать. Может, он не знает... Сынок! Сынок!

– Закройте двери! Я играю! Я играю...»¹³

Непревзойдённый мастер кровавых зрелищ Нерон не в силах ощутить себя самодостаточным режиссёром, пытаясь ставить жизнь по Эдипу, добиваясь артистического признания у Петрония путём сопоставления своих и матери Агриппы отношений с отношениями Эдипа и Иокасты.

Муссолини делает жизнь с товарища, как он надеется, Нерона, также не сумев добиться признания от кумира: *«Тебе сложно быть даже рабом. Раб – Instrumentum vocalum – орудие говорящее... А ты?... Ты, наверное, скот – Instrumentum tuum – да! орудие мычащее – бедная скотина!...»*

Нерон олицетворяет предел зрелища и его самоуничтожение. Сначала львы убивают христиан на арене. Но под безумным, диким ревом



толпы и они в страхе начинают метаться по сцене. Не зря же эфиопские лучники под удары барабанов выдвинулись на балконы. *«Я уничтожил семью. Всю семью. Я уничтожу, если успею, государство – я уничтожаю себя?.. Я выше Эдипа?.. Холмик – Фивы; несчастный слепой – кто они передо мной? – а я убил учителя, я убил старших – какие Боги выжили при мне?.. Мои, те, роли были сыграны – зачем мне уже ненужные... Я сыграл ученика, сына...».*

Игра окончена, остаётся только ощущение желания жить. *«Петроний вдруг неожиданно для себя почувствовал, как по ложбинке позвоночника бежит ручеёк холодного пота... непроизвольно... ему вдруг стало страшно – он понял, что ему страшно... руки дрожали... мелко дрожали и стали мокрыми...».*

«Неужели мне так хочется жить?... Да-а. Совершенно безумно хочется жить!... Я хочу дышать воздухом, вот этим спёртым, вонючим, да каким уютно! лишь бы это был воздух!...».

Другой тип писателя, избравшего путь старательного обслуживания интересов действующей власти – автор знаменитых «Иудейских древностей», «Иудейской войны» и самооправдательной «автобиографии» Иосиф Флавий, в представлении Айзенберга напоминающий своим оправданием материальной подоплеки «блицкрига» Веспасиана на Иерусалим (оборона которого, как отмечено автором, продолжалась в 70 году втрое больше, чем Одессы в 1941, при том, что сдан город был столь же необоснованно с военной точки зрения). Идеологические обоснования разрушения единственного в мире храма единого Бога, Святыни трёх религий Флавием напоминает Айзенбергу геббельсовскую пропаганду.

В «Комедии дьявола» сквозные межэпохальные человеческие страсти рассмотрены с помощью тоже склонного к артистическим перевоплощениям Асмодея, по прозвищу Хромой Бес (именем которого и назван был известный роман Луиса Велеса де Гевары), сначала испанского кабальеро, потом врача «Скорой помощи», потом Того, кто Всё видел. «Скорая помощь» – современный, не менее надёжный, чем «дьявольский», способ знакомства с квартирами, болезнями и более-менее здоровыми страстями обывателей.

Литература, посвящённая расследованиям тайны тамплиеров, безбрежна. Но именно Айзенберг усадил никак не находящие успокоения призраки этих рыцарей в свой следующий к конкретному пункту опознания «Зелёный фургон», если вспомнить традиции сугубо одесской литературы и первую профессию самого автора – юрист.

По мнению Айзенберга, тамплиеры пострадали в силу невозможности доказать своё блаженное незнание действительных масштабов извлечения прибыли посредством векселей, прикрытием механизма которого они оказались, довольствуясь небольшой маржой. Кем в действительности оказались те финансовые воротилы, что пришли с разработанной системой вексельного документооборота под льготы храмовников и

ушли с никому, кроме них, не нужными бумажками, когда закончились льготы, и умер орден? Гонимость евреев как сертификат надёжности (отсюда гарантия поста министра финансов при королях) – сквозной элемент финансовой системы Западной Европы вплоть до Реформации, идеологически обосновавшей уже поверх этнической принадлежности необходимость банковского процента как сущности финансового бизнеса. Так откуда же пошли мировые финансовые кризисы, впору задаться вопросом читателю? Неужели тоже с Малой Арнаутской?

Исполненные живописной словесной пластикой «Страсти» – самая неримская и самая «одесская» из трех книг. «Говорить об активных диалектах весьма увлекательно. Вероятно, это некие узлы, соединяющие разные народы и культуры на основе ведущей. Всегда это происходит в местах соприкосновения: портах, городах-ярмарках, пограничных пунктах – иных аналогах. Нельзя не обратить внимания на то, как это происходит в наиболее бурно развивающихся новообразованиях. Пожалуй, наиболее показательна Odessa – вундеркинд царской России... Если у кого-либо возникнет желание поискать сегодня физическое воплощение Кармен, то здесь у Tschernого моря вероятно и отыщется что-либо великолепное в этом роде»¹⁴. Танец ножа вокруг руки тореадора с раскрытым, как зубы кобры, лезвием, выдвигающийся ему навстречу из зигзага Лабиринта бык. *«Если представить время, как некие пласты, и прорезать их тонким острым стилетом... насквозь... Живые куски кричат под равнодушной сталью – извиваются – вонзается острая кромка и терзает эту странную плоть – никаких брызг...».*

«Я не могу понять, почему? но я вижу сквозь разрез... сквозь этот удивительный разрез... удивленные лица... очень удивленные лица... восторг знатоков...»¹⁵.

В каком-то смысле Айзенберг, помимо всего прочего, «дописал» в своих «Страстях» «Конармию» Бабеля, хотя действие голограммы «Джихад» о попытке освобождения света от Тьмы происходит во время гражданской войны в Средней Азии (с параллелями из истории восстания Бабек). *«И рубили и крест, и полумесяц... И в Бога, и в душу... Затрещала материя; какой-то всхлип и однообразные звуки помпы... На светлые волосы Лунева с ужасом смотрела молодая, с ребёнком на руках, женщина лет семнадцати... Что-то просительно сказала; положила ребёнка в сторону и сама стала раздеваться. Лунев удивился, пошкрябал в затылке: а что она сказала? може, ей самой треба... Медленно, не глядя, убрал воронёный наган в кобуру и пошёл к ней...»¹⁶.* У каждого одесского борхеса не может не храниться у изголовья шапка Бабеля. У Айзенберга её отточенного лезвия совершенно не коснулись какие-либо следы ржавчины.

«Страсти» – как не вспомнить тут жанр вокально-музыкальных интерпретаций евангельских сюжетов, каковым писатель тоже отдал дань (особенно показательна история крещения ко-

роля франков Хлодвига в книге «Imperium»). Только основана эта словесная музыка как будто бы не на нотах, а на картах Таро, системы гаданий по которым, возможно, наиболее адекватны периодической системе исторических элементов.

«Вечная сказка – само слово Кармен – всё там же – убийцы, сигареты, ножи. Плащи, карты...»

Рубашка карт прозрачна и бесстрашна. Рубашка карт – это дверь к судьбе, это – вуаль судьбы. Треск колоды. Сухой треск над зелёным сукном, облитым ярко-молочным светом ламп. Падают карты – буквы укладываются в слова... Читай, кто может?..»¹⁷.

Вспоминается по этому случаю эпизод из «романа-сада» малоизвестного у нас французского писателя и философа Раймона Русселя «Locus Solus», когда гадалка извлекла из узкого и высокого старого кожаного футляра колоду начинённых странной техникой карт: «Каждая из них походила на самостоятельный оркестр и, как только её клали на стол, рано или поздно начинала свою симфонию – тягучую или живую, мрачную или радостную, а почти незаметная непредсказуемость выдавала характер оживляемых персонажей карт»¹⁸.

Вспоминается и деятельность украинской музыкальной группы «Фрактал Мальденброта», название которой возвращает нас к исходному пункту наших размышлений. Участники группы используют программы для написания электронной музыки, клавиши, духовые инструменты (труба, блок-флейты разных тембров, свирель, висл, мелодику), варганы разных тембров, электрогитару, бас гитару, акустическую гитару, мандолину, некоторые индийские народные инструменты, джамбе, кахом, ударную установку и вокал. Каждый инструмент тоже разветвляется, имея возможность найти применение по пути звукового шоу, мелодии или ритма в стилистике фолк-лора или джаза. Это может быть музыка разной энергетика – восточная музыка, музыка северных народов, кельтская музыка, что и расценивается как самоподобность. По мнению участников «Фракталя Мандельброта», это не совсем музыкальная группа, а проект, который включает в себя людей с фрактальным мышлением и с фрактальным восприятием мира.

Одесский Айзенберг как проект целиком в литературу не помещается. В отличие от Виктора Пелевина, стёршего грань между литературой и компьютерной игрой, важнейшим из медиа для него остается телевизор. Свои исторические расследования звезда Одесского TV с голограммным лицом отгачивает в серии оригинальных телерепортажей, пожалуй, наиболее современного видеоподобия «Тысячи и одной ночи» как рассказывания. Материал в современных технологических условиях диктует Айзенбергу новые медийные формы, из которых рождаются и новые формы литературы. Так что совершенно закономерно из исторических сюжетов вырастают и антиутопические саморефлексии-предвосхищения (которых в дальнейшем у писателя, рискуя предположить, будет больше,

хотя и история остаётся по-прежнему неисчерпаемой, как волны Чёрного моря).

Итак, репортаж «Солисты джаза» из 313-го века («Страсти»): *«С сегодняшнего дня по 33 каналу каждую субботу в 9.00 будут транслироваться прямые передачи из прошлого. Съёмка будет вестись скрытой камерой объемного проникновения фирмы «X»... Перевод мгновенный... К сожалению, мы не в состоянии гарантировать трансляцию из заранее заданного места, в указанное время и в связи с этим вместо полных сценариев вы будете получать интересующие вас сведения из кратких бюллетеней...»*

*– Группа проникновения! У вас пять минут!..
Группа проникновения, проверяем состав... Звукооператор!*

– Есть!

– Телеоператор!

– Есть!

– Комментатор!

– Есть!

– Группа проникновения! У вас ещё три минуты!..

Шар земной крутится в каком-то бешеном танце... Дикий джаз визжит. Рвутся струны под пальцами пианиста. Под ритм, отбиваемый ударником, вертится Вселенная, и стонет, стонет труба. Оркестр бессмертных (у каждого своя партия): из рук мертвеца выхватывает инструмент дублёр и продолжает играть. Отстал, опередил, вошёл в ансамбль, киксанул, лажанул, пошёл! Крутится, крутится. Диссонансы, ассонансы, неконсоннирующие созвучия, бред – гармония.

Странный оркестр... Кто дирижёр? Зрители – концертанты...

Сухая, песочного цвета бумага. Чёрные, слегка белеющие с краёв знаки...

Соцветия нот, муравьями замершие, как придорожные столбики: неумолимые прямые линии нотного стана, напоминающего своей выверенностью лагерь римского легиона – спрессованные в пыль звуки.

Молчаливый инструмент. Чёрно-белые зубы. Челюсти с коронками из чёрного материала.

«Кто кого съест? Еда напротив еды...»¹⁹.

«Корректировка ожиданий» и «культивирование потребностей», как будто бы заранее прокомментировал этот репортаж теоретик медиакоммуникаций Джордж Гербнер, и есть то поле, на котором неустанно трудятся современные массмедиа и прежде всего «информационная индустрия телевидения», которое: «1) смазывает традиционно существующие различия в мировоззрении людей, 2) смешивает их частные жизненные реалии в обобщенном культурном потоке и 3) связывает эту обобщенную реальность со своими собственными институциональными интересами и интересами своих спонсоров»²⁰. Но где, задаётся вопросом Олег Никифоров в статье «Диалектика медиапросвещения», откуда мы и почерпнули такой взгляд, пролегает граница между просвещенчес-



кой нормой и антипросвещенческой патологией в использовании медиа?

«Культуриндустрия» берёт на себя заботы и по организации масс, и по структурированию нового, свободного от индивидуальности человека, делая это на пути «антипросвещения», «препятствуя образованию автономных, самостоятельных, сознательно судящих и способных принимать решение индивидов». То есть, индустрия культуры, в первую очередь, есть производство пользователей её продуктов; выхолащиванию, инфантилизации и невротизации потребителей служит вся её машинерия. «Стратегия медиаконтекста состоит в том, чтобы развести человеческую способность восприятия по возможности на наибольшее число «каналов рецепции», которые в настоящее время эффективно обрабатываются различными традиционными и новыми медиа (радио, телевидение, пресса, компьютерные базы данных и пр.), растворить «целостность» этой способности, приватизировать её «социальный характер», дефрагментировать, чтобы затем иметь возможность произвольно (естественно, в интересах держателей политического и экономического капитала) формировать контексты восприятия и жизненного мира. Медиаконтекст предлагает реципиентам в качестве своего «продукта № 1» «уже осуществлённый синтез к целому» — способ существования их самих как эффективных производителей и потребителей, помимо собственной воли и сознания получающих знания о том, что есть, было и должно стать»²¹.

Примечания:

¹ Айзенберг А. Imperium. СПб.: Алетейя, 2007. С. 10-11.

² Там же. С. 35.

³ Интерференция - физическое явление, наблюдающееся при наложении нескольких волновых процессов и заключающееся в локальных отклонениях общей интенсивности от суммы интенсивностей входящих волн.

⁴ Тарасенко В.В. Фрактальная семиотика: «слепые пятна», перипетии и узнавания. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. С. 31.

⁵ Тарасенко В.В. Фрактальная семиотика. С. 167.

⁶ Айзенберг А. Imperium. С. 23.

⁷ Там же. С. 54.

⁸ Там же. С. 65-66.

⁹ Там же. С. 28, 31.

¹⁰ Там же. С. 35.

¹¹ Там же. С. 72-73.

¹² Айзенберг А. Узурпаторы. СПб.: Алетейя, 2011.

¹³ Айзенберг А. Imperium. С. 46-47.

¹⁴ Айзенберг А. Страсти. СПб.: Алетейя, 2009. С. 15.

¹⁵ Там же. С. 55.

¹⁶ Там же. С. 204, 208.

¹⁷ Там же. С. 10.

¹⁸ Дальнейшее описание этой сцены: «Пока Фелисите продолжала своё действие, раскладывая в ряд и наугад лицом кверху “отшельника” и “солнце”, “луну” и “дьявола”, “скомороха” и “судилище”, “папессу” и “колесо фортуны”, Кантрель взял стоящую на столе возле лопаточки из слоновой кости круглую металлическую коробочку, наполненную белым порошком, и сказал, что это точно воспроизведённый один из знаменитых “плацетов”-прошений Парацельса, препаратов, предназначенных для получения путём секреции своего рода опотерапевтических лекарств. Он набрал лопаточкой в коробочке порошка и нанёс его лёгким слоем на руку негритянки Силенс, покрыв изрядный участок кожи. После этого метр стал ждать действия своего лекарства, а в это время Люк поднял чехол из чёрной саржи с каким-то крупным плоским предметом, стоявший до этого прислонённым к одной из ножек стола».

¹⁹ Айзенберг А. Страсти. С. 124-125, 131.

²⁰ Никифоров О. Диалектика медиапросвещения // Отечественные записки. 2003. № 4. С. 54.

²¹ Там же. С. 56.

²² Там же. С. 57.

Так возникает «знание без сознания».

К чему же ведёт этот процесс преобразования средств массовой информации в среду массовой коммуникации (СМК)? «1) К децентрализации программ вещания; 2) к наделению каждого пассивного участника процесса распространения информации, её получателя, возможностями активного участия в информационном обмене, к его становлению в качестве отправителя сообщения; 3) к созданию таким образом живого заинтересованного диалога пользователей, в котором бы осуществлялось: 4-5) политическое просвещение и мобилизация самих масс, чья самоорганизация, в свою очередь, должна выразиться в деприватизации и деюрократизации СМИ и в б) становлении СМК как пространства общественного самоконтроля.

Поскольку любой акт информирования, формообразования есть в позитивном смысле акт манипуляции, целеполагающего технического вторжения в имеющийся материал, то эмансипирующее отношение к медиа будет предполагать не изгнание фигуры манипулятора из среды коммуникации, «но, напротив, становление каждого манипулятором» и придание самой этой среде характера неотчуждаемого «коллективно-го самопроизводства»²².

Александр Айзенберг стал сам себе медиа, автономным субъектом, а не объектом, новой олитературенной медийности, что и стало главным метасюжетом Айзенберга как текста.

ББК 84 (4 Укр-4 Оде) 62я45
Ю 195
УДК 821.161.1'06 (477.74) – 94

На 3 стр. обложки:

фото № 1 – Вл. Нарбут. 20-е годы;
фото № 2 – Обложка сборника «Стихи» (1910 г., Санкт-Петербург);
фото № 3 – Г. Нарбут, иллюстрация к стихотворению Вл. Нарбута «Предпасхальное»;
фото № 4 – стихотворение Вл. Нарбута в газете «Бульвар Искусств».

Підписано до друку 08.08.2013 р.
Формат 60x70/8. Гарнітура Garamond Narrow.
Папір офсет. Друк офсет. Ум. друк. арк. ??,??.
Зам. ????. Тираж 500 прим.

Видавництво КП ОМД (свід. ДК № 774 від 17.01.2002 р.)
Надруковано в КП «Одеська міська друкарня»
65012, Одеса, вул. Пантелеймонівська, 17